Алексей Капчер

ДОЛГИ НАШИ

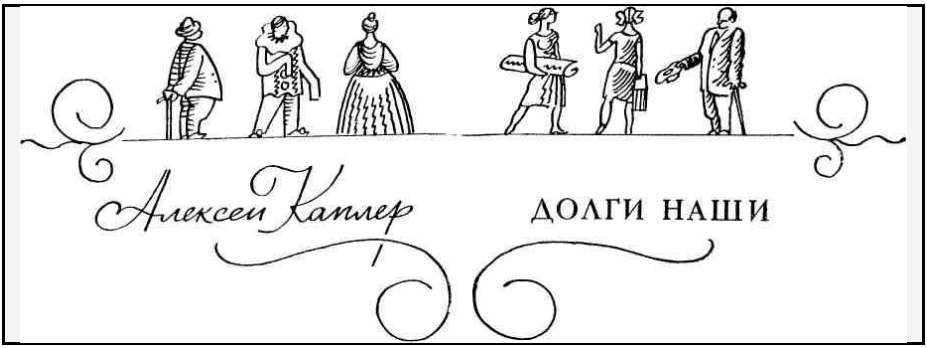
SHOUT
SHARE
IT

Annotation

А. Я. Каплер широко известен как кинодраматург, создавший сценарии «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», «Три товарища», «Шахтеры» и др. Эта книга продиктована художническим долгом черед читателем и поэтому названа «Долги наши». Она состоит из двух частей. Первый составляют киноповести. Второй — воспоминания. У книги единый пафос, общая тема, раскрывающая нравственную силу человека.

- Долги наши
  -
  - ПРИГЛАШЕНИЕ К ВСТРЕЧЕ
  - СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
  - ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
    -
    - ПРОЩАНИЕ
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
  - В РУССКОМ ПАРИЖЕ
    -
    - ВЕСНА 1943 ГОДА. ПАРИЖ
    - ЧЕРЕЗ ГОД, В БЕРЛИНЕ…
  - ЭХО
  - ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО
  - СТРАНСТВИЯ ЖУРНАЛИСТА
  - ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ
    -
    - ХУДОЖНИК
    - ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
    - КИРПИЧИКИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Долги наши



ПРИГЛАШЕНИЕ К ВСТРЕЧЕ

Не знаю как вы, дорогие читатели, но я не люблю предисловий, в которых излагается содержание книги. Поэтому я вскоре оставлю вас наедине с автором — вам с ним будет интересно, за это я ручаюсь.

Но вы вправе задать вопрос, почему же я все-таки позволяю себе несколько оттянуть это свидание. Да только потому, что мне хочется поближе познакомить вас с автором.

Ведь если собеседники лучше узнают друг друга, то тем скорее возникнет между ними доверие, а значит, и дружеский контакт.

Я не беру на себя смелость нарисовать законченный портрет Алексея Каплера, хотя у меня есть для этого некоторые основания — ведь мы вместе начинали наш путь в искусстве, и нас связывает дружба, длящаяся уже полвека.

Впрочем, и без меня автор этой книги уже знаком миллионам советских людей, и прежде всего как кинодраматург, автор первых сценариев о Владимире Ильиче Ленине — «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». Фильмы, поставленные по этим сценариям, давно и прочно не только вошли в классику мирового киноискусства, но и стали неотъемлемой частью духовной жизни нескольких поколений советских людей. А это ли не является высшей наградой для художника?

Я напоминаю об этом не только для того, чтобы воздать должное таланту автора, но и потому, что был свидетелем рождения этих сценариев, а значит, мог в полной мере оценить ту меру подлинного новаторства, гражданской и творческой отваги, которые нужны были таким драматургам, как Каплер и Погодин, когда стали они зачинателями Ленинианы в кино и на сценических подмостках.

Сегодня, когда на экранах появились уже десятки фильмов и пьес, посвященных гениальному вождю революции, вероятно, трудно себе представить, какой гигантской сложности задачи встали перед теми, кто впервые прикоснулись к этому великому образу.

О творчестве Николая Погодина, по счастью, уже много и хорошо написали театроведы.

Сценарии Алексея Каплера еще ждут своего внимательного теоретического анализа. Может быть, это происходит потому, что в нашем киноведении до сих пор бытует инерция — в поле зрения исследователя попадает прежде всего работа режиссера и исполнителей главной роли.

Действительно, и в этих фильмах на долю драматурга выпала большая удача — режиссура Михаила Ромма и игра Бориса Щукина нераздельно слиты в восприятии миллионов зрителей с названиями прославленных фильмов, но не следует забывать, что в основе их груда на самом первом, а поэтому и на самом трудном этапе лежал сценарий, написанный кинодраматургом.

Я не случайно упомянул об этой инерции, так как оказалась она по разным причинам (которые я не смогу здесь перечислить, так как не пишу теоретического исследования) весьма живучей и даже получила за последнее время новое подкрепление в виде так называемой концепции «авторского кино», согласно которой единственным автором фильма является режиссер.

Эта концепция, имеющая много защитников, по-моему, является неправомочной в той своей части, где считает этот признак подлинной кинематографичности единственным и всеобъемлющим.

Спор о природе авторского начала в кино продолжается, и плодотворные выводы будут окончательно сделаны только тогда, когда, преодолевая поверхностное и схематичное описательство фильмов, мы перейдем к глубокому и острому анализу их структур и тем самым раскроем все многообразие творческой практики нашего киноискусства.

Я позволил себе эту реплику о значении кинодраматургии именно потому, что сам являюсь по своей профессии режиссером и, как мне кажется, это дает мне право на объективную оценку того весомого вклада в культуру кинематографа, который внес Алексей Каплер всей своей талантливой и подлинно новаторской творческой практикой.

Напомним, что ведь и до прославленных сценариев о Ленине перу Каплера принадлежал сценарий такого полюбившегося зрителю фильма, как «Три товарища», первого большого фильма о современном рабочем классе — «Шахтеры» (над постановкой которого я имел удовольствие работать), а в годы Великой Отечественной войны по экранам мира прошли такие фильмы, как «Она защищает Родину» и «Котовский», чье авторство также принадлежит Каплеру.

Но если зрители кинотеатров часто не очень внимательно читают заглавные титры фильма и в их памяти больше остаются имена актеров, конкретно и зримо воплощающих замыслы драматурга и режиссера, а фамилии авторов сценария воспринимаются лишь как строчки текста, за которым не возникает образ живого человека, то, по счастью, за последнее время на помощь пришел экран телевизора и сегодня драматург

Алексей Каплер, так талантливо и своеобразно ведущий «Кинопанораму», вошел как желанный гость в квартиры к миллионам телезрителей и его всегда содержательные и увлекательные беседы как бы заново раскрыли и дополнили облик нашего современника-кинодраматурга.

Но за начертанием имени автора на титрах фильма, за экранами телевизоров остаются еще некоторые черты личности автора книги, о которых мне хочется упомянуть, чтобы восприятие ее было бы более полным и подчеркнуло своеобразие и особенности склада творческого мышления писателя.

Здесь я позволю себе мемуарное отступление, что, впрочем, оправдано и характером последних страниц книги, где Алексей Каплер вспоминает о своей юности и где даже в нескольких кадрах мелькает имя и автора этих строк.

Действительно, творческая дружба Алексея Каплера с режиссером Григорием Козинцевым и мною началась в 1919 году, в революционном Киеве, где нас сблизило, помимо личной симпатии и возрастного совпадения, общее, почти фанатическое увлечение чарами театра, что, впрочем, было характерно не только для нас, но и для многих тысяч юношей и девушек того поколения, которое благодаря Октябрьской революции получило невиданные возможности для творческих свершений…

У Алексея Каплера было актерское дарование в особенно редкой его области — комедийно-буффонной. Казалось, в совсем еще незрелом юноше явственно выявилось уже тогда незаурядное и заразительное обаяние, исполненное доброго юмора.

Сам Каплер не придавал своему актерскому таланту особого значения, но с видимым удовольствием исполнял те комические роли, на которые толкали тогда его мы, начинающие театральные режиссеры. А вскоре Григорий Козинцев в первых своих фильмах «Чертово колесо» и «Шинель» использовал дарование Каплера, и исполнение им роли Значительного лица в картине по Гоголю осталось в анналах советского кино как один из примеров выразительного исполнения эпизодического персонажа.

Но свой путь к овладению кинематографическим мастерством Каплер не ограничил работой актера.

Он хотел изнутри изучить весь механизм создания фильма и поэтому прошел образцовую школу в качестве ассистента гениального Александра Довженко и даже попробовал свои силы в режиссуре, но не в пример многим впоследствии излишне самоуверенным драматургам не переоценил свои силы и предпочел использовать все полученные знания в той области, которая казалась ему более близкой.

Лавры кинорежиссера не прельстили его не только потому,

что увидел он сложность этой профессии, требующей, помимо творческой специфики, огромного организационного труда, тех методических и упорных навыков, которые были несколько чужды его быстро воспламеняющемуся и нетерпеливому темпераменту, но и потому, что ранее обнаружилось в нем еще одно качество, составляющее особенность его дарования, — качество, не обязательное для режиссера, но совершенно необходимое для писателя.

Он был блестящим рассказчиком, неистощимым импровизатором, обладал тем редким даром живого слова, расцвет которого мы увидели впоследствии в творчестве Ираклия Андроникова.

Еще имя Каплера было никому неизвестно, но молва привела, например, к событию, которому я был личным свидетелем. Весной 1928 года в Одессу, где Каплер начинал в это время свою кинематографическую деятельность под эгидой Довженко, приехал писатель Бабель специально только для того, чтобы послушать изустные рассказы Каплера.

И вот днем в маленьком полупустом кафе на Дерибасовской улице, опершись локтем на мраморный столик, Исаак Бабель, как бы ввинтившись своим острым и лукавым взглядом в Каплера, чуть оробевшего от присутствия уже тогда знаменитого собеседника, приготовился слушать. Это была юмористическая или, вернее, даже трагикомическая сага о злоключениях некоего, им самим изобретенного, почти мифологического персонажа — старого полуграмотного одессита, с нехитрой шутовской мудростью и библейским спокойствием выпутывающегося из тысячи и одной выдуманных и подлинных бед, которые обрушивала на его седую голову жизнь.

Это было трогательно и забавно, а местами настолько смешно, что весь трясся, заливался беззвучным хохотом Бабель и, потирая запотевшие от смеха и слез свои очки в позолоченной оправе, требовал продолжения рассказов Каплера, неподдельно восхищаясь наблюдательностью и точностью характеристик и той сочностью языка, в котором кто-кто, а Бабель был самым сведущим и тонким знатоком.

Может быть, эти рассказы и благословение такого непререкаемого стилиста, каким был для нас Бабель, и поощрили Каплера на его первые писательские опыты. Несомненно одно — это его свойство рассказчика увлекательных историй расцвело, закрепилось, а впоследствии раскрылось полностью в диалогах его сценариев и, как вы убедитесь, нашло свое продолжение в новом качестве на страницах этой книги.

Итак, вы уже знаете Алексея Каплера — кинодраматурга,

актера, рассказчика, телевизионного собеседника. А теперь вы знакомитесь с Алексеем Каплером — прозаиком.

Но разговор о разных сторонах дарования художника не может ограничиться упоминанием только о «кухне» его профессии. Ведь для полного овладения тайной писательского мастерства необходимо еще самое главное — жизненный опыт, тесное соприкосновение с жизнью. И не только с узким замкнутым кругом ее явлений, но и активное участие в народной жизни. И не путем творческих командировок, но каждодневного сопереживания всех горестей и радостей вместе со своей страной, своим народом — вот верный залог жизнестойкости писательских страниц.

Писатель прежде всего, как принято говорить, бывалый человек, и Алексей Каплер принадлежит к числу таких людей. Не занимать стать ему жизненного опыта — он черпал его сам из гущи наших дней. И в трудные годины войны не случайно нам запомнились его статьи, печатавшиеся в центральных газетах, которые слал он, как военный корреспондент, высаженный, по его собственной просьбе, в далеких и опасных тылах противника, где так славно геройствовали ленинградские партизаны.

К этому опыту военного корреспондента подготовила Каплера и его практика сценариста. Ведь не приступал он ни к одному из своих кинодраматургических произведений, пока не производил глубокую разведку, будь то на фронтах мирного социалистического строительства, будь то экскурсы в историю революции.

И здесь и там требовался меткий глаз, умение отбирать самое важное, самое существенное, ощущать ясность цели и испытывать убеждение в правильности, необходимости выбранного пути.

На страницах этой книги, которая как бы подводит частичные итоги творческой жизни автора, явственно проступает то, что, как мне кажется, составляет особое его обаяние. Алексей Каплер прежде всего советский патриот, художник, взращенный советской действительностью, любящий и знающий ее людей, и главным образом людей труда. Вот почему его повесть «Вера, Надежда и Любовь» — о трех поколениях рабочей семьи — по праву открывает книгу.

И так же правомочно соседствует с этой повестью рассказ о русской эмиграции, где тема советского патриотизма получает новое и неожиданное по материалу раскрытие.

Эхо войны прозвучит трагическим откликом в повести о мирных днях, так же как и на страницах журналистского блокнота повествование о борьбе партизан будет чередоваться с защитой автором и в мирные дни тех основ справедливости и

человечности, которые лежат в самой природе нашего социального строя.

И, наконец, отголоски юности автора как бы вернут нас к истокам той веры и любви к человеку, которые, в моем представлении, сближают облик советского писателя и драматурга с неистощимым жизнелюбцем Кола Брюньоном, созданным творческим воображением великого гуманиста Ромена Роллана.

Кинодраматургическая практика Алексея Каплера наложила отпечаток и на книгу его прозы. Но это совсем не то модное подражание фильму, которое встречается в некоторых образцах западной литературы. Это не кинематографическая повесть «Донгоо-Тонка» Жюля Ромена или эссе двадцатых годов Поля Морана и не современные обесчеловеченные описания «крупных планов» вещей «в новом романе»; у Каплера кинематографичность сказывается прежде всего в ярком и свободном диалоге, что всегда составляло силу его сценариев. Вспомните хотя бы, как точно и в то же время не цитатно воссоздал он характер ленинской речи. В своей прозе он часто избегает подробных описаний, прибегая к тем самым лаконичным ремаркам, которые в фильме получают дальнейшее воплощение в творчестве режиссера и актера, а на страницах книги призывают к воображению читателя, заставляют его быть более активным, подталкивая к творческому соучастию.

Повести Алексея Каплера населены живыми людьми, обладающими различными характерами и речевым своеобразием.

Язык автора нигде нарочито не стилизован, разговорная речь кажется иногда как бы зафиксированной «скрытой камерой», но во всей стилистике писателя господствует качество, которое резко отличает его от тех, кто страдает либо натуралистическим описательством, либо, пытаясь проникнуть в «поток сознания», запутывает читателя и запутывается сам в лабиринте необязательных ассоциаций и метафор; проза Алексея Каплера, будь то повесть или даже только публицистический или журнальный очерк, принципиально д р а м а т и ч н а.

Это свойство отличало Каплера уже и в сценарной работе. Вот почему не коснулась его соблазнившая столь многих пресловутая теория «дедраматизации» и проза его сохранила ту интонацию рассказчика, который сознает свою ответственность перед читателем. Он знает, что обязан, как бы глядя прямо ему в глаза, всегда чувствовать, что тот заинтересован в его рассказе, что не имеет права он, как автор, оборвать ту незримую связь, которая образовалась между ними, связь, составляющую само существо подлинного искусства.

Образ Ленина вдохновил Алексея Каплера на лучшие страницы его кинопроизведений. Свою прозу посвятил он образам советских людей, человеку ленинской эпохи и ленинской закалки. Таким образом, вы, читатели этой книги, — не только бесстрастные свидетели описанных в ней событий, но и их соучастники, и поэтому верю, что придется она вам по сердцу.

Сергей Юткевич

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Кому незнакомо чувство неоплаченного, неисполненного долга. Начиная с досадного ощущения, когда вспоминаешь, что не вернул взятую в долг мелочь, от кольнувшей в сердце боли при мысли о том, что когда-то не исполнил маленькую просьбу матери, а теперь это уже непоправимо, и до стойкого, глубокого чувства неудовлетворенности жизнью, если ты понимаешь, что не делаешь то, что должен делать.

Признаюсь, что вот уже много лет меня терзает мысль о том, что я не плачу долгов — сколько раз я давал себе клятву написать о каком-нибудь замечательном человеке, с которым меня сталкивала жизнь, сколько раз я собирался рассказать о своих друзьях юности, о больших событиях, свидетелем которых я был… и как ничтожно мало исполнил.

А ведь для литератора — это и есть единственное мерило смысла его жизни.

Как часто я ужасаюсь, перелистывая записные книжки и находя в них сотни заметок, относящихся к людям, о которых я просто обязан был рассказать.

И если я не исполню этого, никому на свете короткие записи — иногда одно слово, одно имя — решительно ничего не скажут. Никому, никогда…

В самом деле, что можно узнать из старой записи «Костя Блинов»? А для меня за этими двумя словами целая эпоха, поразительная биография и мужественный характер Константина — драма его любви и все, все, что я знал о нем, и Нина, и шумная компания наших друзей, и их судьбы. И, наконец, подвиг Костика, его смерть и нравственный урок, который он дал нам — своим товарищам.

В этой книге я пытаюсь хоть отчасти, хоть в самой малой мере рассчитаться с долгами.

И вот один из самых неотложных.

Долгое время я жил в Краснопресненском районе Москвы. Слово «Трехгорка» в нашем районе произносилось так же часто, как «хлеб».

Мне казалось неправдоподобным, что вот эти будничные корпуса, видные из моего окна, эти ворота, проходная — сколько тысяч раз я проходил мимо них по Рочдельской улице — это и есть та самая легендарная Трехгорка 905-го года, Трехгорка 17-го года, Трехгорка, куда считал своим долгом приезжать Ленин, отчитываться, искать поддержку рабочего класса…

Сколько знавал я людей — и каких людей! — с Трехгорки.

Какие героические биографии, какие поразительные характеры!

Много раз стоял я перед скромной мемориальной доской — той, что установлена на месте расстрела рабочих в девятьсот пятом, — если вы войдете через проходную, увидите ее слева на кирпичной стене.

Я бродил по цехам — по фабрикам, как теперь называются отделы комбината, — и воображение стирало следы времени, следы перестроек, ремонтов, следы современности, и мне открывалась старая Трехгорка, и я встречал тех, кто некогда жил, радовался и страдал в этих стенах. Я говорил с ними, и они были для меня не менее реальны, чем любой из моих сегодняшних друзей и знакомых.

Я заходил в Театр имени Ленина — Дворец культуры Трехгорки, — и мне казалось, что я стою, стиснутый толпой рабочих, и слушаю Владимира Ильича, приехавшего, чтобы выступить на митинге перед тружениками Трехгорной мануфактуры.

Так образно и так часто мне рассказывали об этом, что я поклялся бы, что сам видел здесь каждое ленинское движение и слышал его голос.

Воображение переносило меня к трехгорцам в тяжелые, голодные годы гражданской войны, я был с ними, когда начинали восстанавливать холодную, мертвую фабрику, и тут уж не воображение, а реальность — я провожал уходивший с Трехгорки отряд народного ополчения в недоброй памяти сорок первом…

А женщины Трехгорки!.. Сколько раз я собирался написать об этих замечательных женщинах, видевших столько горя и умевших с таким достоинством перенести его…

Особенно поразила меня жизнь одной семьи.

Не знаю, сколько поколений этой семьи были кровью связаны с Трехгоркой. Какой-то их еще пра-пра-пра попал в Москву крепостным, оброчным мужиком, да и осел, обосновался на Трехгорке. Потом у них появился и свой дом, так что Филимоновы числились не просто какими-нибудь там, а — не шутите — домовладельцами. Не такими, конечно, домовладельцами, как их хозяин — знаменитый миллионер Прохоров, чей дворец стоял на горе, над всей Пресней — Филимоновы были только их рабами, их фабричными рабами. С незапамятных времен все женщины и мужчины этой семьи просыпались среди ночи, чтобы к трем часам стать к станку. Трудились каторжно, жили впроголодь. И все же по сравнению с теми, кто ютился в смрадных фабричных казармах, они были, так сказать, аристократами…

Историю трех поколений этой семьи, три истории любви я

узнал и вот — написал об этом, стараясь как можно точнее придерживаться того, что мне было рассказано…

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

ПРОЩАНИЕ

Из ворот комбината — влево, вправо, вверх по крутому переулку расходилась рабочая смена. Шли хозяева Трехгорки. Женщины, женщины, женщины…

В проходной вахтер окликнул высокую, светловолосую девушку.

— Вера, тебе замдиректора велел зайти.

Заместитель директора — молодой, совершенно лысый человек, — не переставая подписывать бумаги, поздоровался с Верой.

— Садись, Филимонова, тебе надо будет сейчас со мной поехать в главк… Вот, видишь, отношение: «Художника Филимонову В. А…»

— А я не могу, — отвечала, не садясь, Вера, — я занята.

Замдиректора оторвался от бумаг.

— Дело в том, — сказал он, — что твоя ткань… эта… на худсовете высоко оценили твой рисунок, ну эту…

— «Морская?»

— Да «Морская» получила какую-то там большую премию на Всемирной выставке.

— Спасибо за известие, но вы, кажется, не расслышали — я сейчас занята.

— А что случилось?

— Дом сносят, в котором мы жили.

— Ну, и?..

— Ну и я с родителями туда поеду.

— Дом сносят?

— Да.

— Ну и что?

— В общем, я сейчас не могу. В другой раз. Можно идти?

— Ну и молодежь пошла!.. С ума сойти!..

На круто спускающемся к Москве-реке пресненском переулке по одну сторону стояли маленькие, старые деревянные дома, а по другую возвышались новые современные строения. Окна были раскрыты настежь, и из них далеко разносились веселые детские голоса.

Это было время, когда работницы первой смены забирали своих птенцов в яслях и детских садах. А новые дома были именно этими детскими учреждениями.

Женщины встречали детей, обнимали их и целовали, поднимали на руки, подбрасывали. Удивительным было это зрелище массового материнского счастья.

В соседнем жилом новом доме в одном из окон стоял музыкант и играл на флейте. Несложная, сентиментальная мелодия, которую он повторял, разучивая, вязалась с картинами материнства и, в то же время, казалась странной в сочетании с тем, что творилось по другую сторону улицы, где расчищался район малых домишек и машины совершали разрушительную работу. Один за другим сносились заборы и маленькие домики, а заодно с ними и деревья и кустарники. Бульдозеры подошли уже совсем близко к дряхлому домику, когда такси остановилось невдалеке от него.

Вера помогла матери выйти из машины, а Верин отец подошел к бульдозеристу и что-то, неслышное за грохотом машины, ему сказал. Бульдозерист — молодой малый — согласно кивнул головой, остановил машину и стал ждать.

Верину мать — Любовь Васильевну — всю жизнь называли Любой, и так ее называют и теперь, когда ей лет, видимо, около пятидесяти. О том, что она слепа, можно было догадаться только по тому, что она иногда смотрела мимо собеседника и часто искала рукой руку дочери или мужа.

Дверь оказалась не запертой, и женщины вошли в дом. Вслед за ними вошел Алексей Иванович — отец Веры. Он был очень высок, а потолки в домике — низкие. Так, что седая голова его, посаженная на длинную шею, почти упиралась в потолок. Нескладный — длиннорукий и длинноногий Алексей Иванович часто улыбался застенчиво, как бы извиняясь за эту свою нескладность.

Отстранив руку дочери, Любовь Васильевна пошла вперед, легко прикасаясь пальцами к знакомым стенам. В доме было совсем тихо. Голосок флейты едва проникал сюда. Пальцы Любови Васильевны ощупывали каждый выступ бревенчатой стены, каждый изъян в ней. Рука касалась подоконника, рамы окна… И ясно было, как все тут ей знакомо и дорого, как связана ее жизнь с этим домом. Вот гвоздь в стене…

— И ты еще тут? — удивленно сказала она. — Сколько раз мать говорила отцу: Королев, забей ты этот гвоздь, я опять о него платье порвала…

Она пошла дальше из комнаты в комнату, прикасаясь рукой ко всему на пути, и что-то одной ей понятное попадалось под руку и вызывало горькую усмешку или останавливало ее и заставляло задуматься, погрузиться в воспоминания…

Бульдозерист ждал, поглядывая на дверь домика. Машина грохотала вхолостую.

И вот из дома вышли все трое. Вера бережно поддерживала

мать с одной стороны, Алексей Иванович — с другой. Они сходили с крыльца. Вдруг седая женщина опустилась, села на ступеньку и, закрыв лицо руками, горько заплакала.

Бульдозерист видел это, и на лице его мелькнула тень чужого горя. Он переглянулся с шофером такси, ожидавшим своих пассажиров.

Вера обняла мать.

— Мама, родная, — говорила она, — что делать, это жизнь…

Но чем больше говорила Вера, тем горше рыдала мать. Алексей Иванович закусил губу, с трудом удерживаясь от того, чтобы тоже не заплакать.

— Мама, разве ты не говорила, что счастлива?…

— Да, — сквозь слезы отвечала Любовь Васильевна, — конечно, я счастлива, конечно, я счастлива…

И все плакала.

К ним подошла молоденькая девушка. Стараясь держаться непринужденно, она обратилась к ним.

— Простите, товарищи, — сказала она, — позвольте узнать — вы не жили здесь в этих домах?

— Да, жили, — ответил Алексей Иванович.

— Видите ли, товарищи, у меня задание редакции — написать очерк о жителях этих хибарок Разумеется, с современной точки зрения, в контрасте с новым строительством…

— В контрасте так в контрасте, — сказал Алексей Иванович.

— И желательно — очерк о женщинах Трехгорки. Журнал у нас женский… Простите, а вы не связаны ли с Трехгоркой?

— Связаны.

— Но это же чудо! А вы долго здесь жили?

— Лет сто пятьдесят, — улыбаясь и вытирая платочком глаза, ответила Любовь Васильевна.

— Сто пятьдесят лет? — изумилась девушка и стала доставать блокнот из кармана жакета. — Я очень вас прошу, пожалуйста, расскажите о вашей семье… Вы меня очень выручите. Скажу честно, это первое мое задание…

— Ну, если выручу… — улыбалась Люба. — Что ж, поезжайте тогда с нами — мы тут недалеко, в высотном доме.

Потом все направились к такси.

Алексей Иванович помог Любе сесть в машину.

Вера уселась рядом с матерью. Они не закрывали дверь и ждали.

Алексей Иванович стоял возле машины.

Бульдозер взревел и двинулся вперед.

Дом распадался под его ножом, как игрушечный. Звенели

стекла, падали балки, рушилась крыша, развалилась печь, будто сложена была из детских кубиков. Упал и забор и столбик у калитки, на котором оставалась едва видная вырезанная когда-то надпись: «Верка-шалава. 1905».

— Что ж — поехали, — сказала Люба.

Но в это время к ним подошел водитель бульдозера.

— Вот, вывалилось что-то из печки… — сказал он, протягивая Алексею Ивановичу железную коробку, — гремит… может быть, нужное…

И ушел.

На коробке сохранилась картинка и надпись: «Монпансье Ландрин».

Алексей Иванович потряс коробочку. В ней действительно что-то гремело. С трудом открыл крышку.

— Люба… серьги твои…

Любовь Васильевна протянула руку, взяла из коробочки грубые, «цыганские» серебряные серьги.

— Как я тогда искала их… Ну, конечно, я их в отдушину положила… Возьми себе, Веруша. Или сейчас такие не наденешь?..

— Что ты, мама, самые теперь модные сережки. Девчонки умрут от зависти.

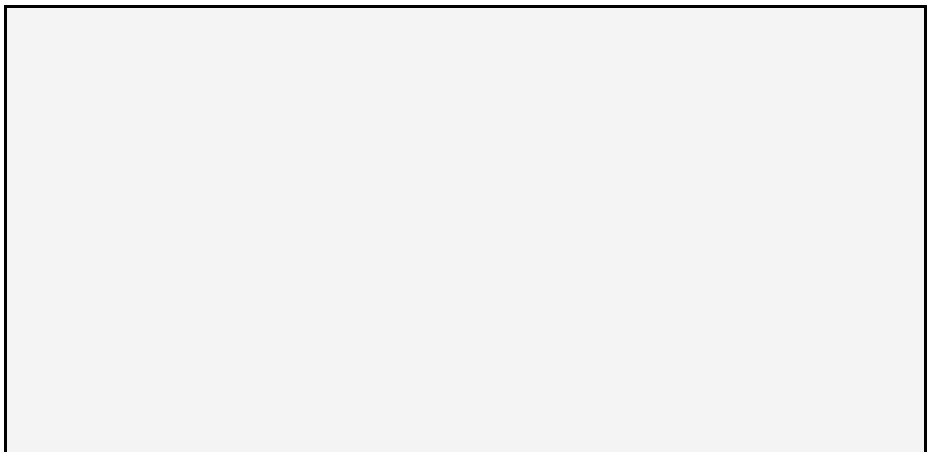
— Неужели?

— Правда, правда. Теперь все старинное стало самым модерновым.

Машина тронулась.

Люба невидящим взглядом смотрела сквозь окно туда, где лежал в развалинах старый дом. И вот эти развалины стали соединяться, складываться, подниматься…

Дом снова стоял на месте — такой же старенький, дряхлый дом Филимоновых… Он теперь был покрыт снегом.



Глава первая
ВЕРА

Год 1905

Круто спускался к Москве-реке этот переулок. Грязный снег лежал на немощеной мостовой. Воробьи копошились в навозе. За унылыми заборами стояли тоскливые деревянные домики.

У калитки домика Филимоновых, на столбе забора были коряво вырезаны слова: «Верка-шалава». Домик стоял в глубине, за палисадником.

При свете свечи, перед мутным зеркалом, с которого наполовину сползла амальгама, наряжалась Вера.

На единственной кровати, под старым лоскутным одеялом, подложив кулачок под толстую щеку, спала маленькая Надя.

Со скрипом открылась дверь, вошел Матвей. Он был небольшого роста, и только ему — единственному — не приходилось нагибаться, входя в эту низкую дверь.

Подойдя к жене, Матвей тихо, без упрека сказал:

— Опять уходишь, Веруша…

Не отвечая, она продолжала вдевать в уши большие «цыганские» серьги.

— Устала, бедняга… — Матвей подошел ближе к ней.

— Не тронь! — взорвалась Вера. — Нужны мне твои жалости… Мало тебе, что я, как каторжная, и ночь и день на фабрике, что домой иду мертвая, так тебе еще надо, чтоб я и вечером нос не высовывала… Хочу гулять и буду гулять.

Она прошла мимо мужа, надела теплую кофту, потом наклонилась, подняла еловую ветку:

— Хоть прибрал бы. А то мать выносили — вон мусору-то оставили… Прощай!

Скрипнула, хлопнула дверь.

Опустив руки, стоял Матвей посреди комнаты. Он и сам только что с работы. Устал, измучен.

Спала, посапывая, Надюшка.

Ночь. Голый до пояса, наполовину скрытый паром, склонился над корытом Матвей, стирая белье.

Жестокие приступы кашля то и дело схватывали его. Кашель бил его, заставляя сгибаться ниже над корытом. Ходуном ходили острые лопатки.

Заскрипела дверь, и, низко наклонясь под притолокой, вошли двое фабричных.

— Здорово, хозяева, — сказал тот, что постарше, и обвел взглядом комнату. — Ты что ж, опять один дома?

Матвей не отвечал. Из его впалой груди рвался густой, хриплый кашель.

— Мы за тобой, Мотя.

Молча обтерев руки, Матвей оделся и стал одевать сонную девочку.

— Не оставлять же одну…

Он одевал ее умело, ловко, видно делал это постоянно, привык.

Девочка терпела, не хныкала, а когда отец взял ее на руки, прижалась к нему и снова заснула.

— Дорого дал бы — поглядеть завтра на господина Прохорова, — говорил один из фабричных, тот, что постарше. — Ну, как, Матвей, готов?

— Да… всполошатся завтра хозяева, — второй фабричный открыл дверь, выходя, — такого они еще не видели: чтоб не одна фабрика, а вся Пресня стала.

Проходя через сени, Матвей достал из-за поленницы дров пачку листовок.

Они разделили ее на три части, припрятали на себе, под одеждой и вышли на улицу.

Матвей прихватил ведерко с кистью.

— Неладно получается, — негромко говорил тот, что постарше, косясь на девочку, которую Матвей нес на руках. — Верка твоя совсем отбилась от рук. Пьет. Гуляет. Пропадет баба.

Матвей молчал.

— Ну, не хочешь говорить — дело твое. Ребенка жалко.

Вдали раздался протяжный свист, крики.

— Живо расходись, — приказал старший.

Прижимая к себе Надюшку, Матвей быстро пошел по крутому переулку в гору.

Молодой юркнул в ближайшую подворотню, старший неторопливым шагом двинулся вниз по улице.

ВЕРКА-ШАЛАВА

Визжала гармошка. Слышались топот, свист, гиканье. В женской казарме пьяная гулянка была в разгаре. Несколько мужчин — все хмельные — расположились кто где. Кто на подоконнике, кто на койке. Гармонист, тупой парень с начесом на

лбу, наяривал изо всей силы, рвал мехи гармони.

Гулянка происходила в закутке, в конце большой спальни. Женщины, не принимающие в ней участие, легли было спать — да какой тут сон. Они зло поглядывали туда, где все громче и громче визжала гармонь, где в проходе между койками плясала с платочком в руке Верка Филимонова.

— Вот шалава, — ворчала старая работница, издали глядя на нее, — вот они, нынешние-то…

И другая работница сердито говорила:

— Нашла время… кругом тревога, обыски идут…

На соседней койке, уткнувшись в подушку, лежала и плакала молоденькая работница. Она всхлипывала и причитала:

— Боженька мой, боженька…

На девочку не обращали внимания — слезы тут были делом обычным. А Верка притоптывала башмаком, разводила руки и вдруг запела:

Ох, какая моя мать,
Не пускает ночию.
А я днем пойду,
Больше наворочаю…

И снова бросалась в пляс. Плечи у нее ходили ходуном по-цыгански, волосы рассыпались по спине, широкая юбка на резких поворотах охватывала стройные ноги.

Пьющая компания — женщины и пришедшие в спальню мужчины — ржали, хлопали в ладоши, подбадривали, кричали:

— Жми, Верка, жми!

— Айда!..

— Ох и стерва! Ай да Верка, ай да цыганское дитё!

— У-ух, баба!.. Ну и баба!

Более всех хлопал в ладоши и громче всех орал смазливый малый — некий Артур из красильного цеха. Усы колечками, галстук бабочкой, волосы блестят, в пробор уложены, громадные запонки на манжетах, стекляшка в галстучной булавке…

— Вер-ка-а!.. — орал он, красный, потный, лоснящийся. — Покажи выходку, Вер-ка-а! Выходку дай!..

И Верка отчаянно вскрикивала, шла «мелким бесом», постукивая каблучками, откинувшись, отбросив назад руки, как крылья… Была она изрядно пьяной и, когда Артур схватил ее за руку и потянул, пошла, хохоча, за ним.

— Вон она… — ворчала старуха, — пошла, шалая… тьфу! Блудница… Еще в церковь ходит… Срам…

Проходя мимо плакавшей девчонки, Вера приостановилась и

хлопнула ее по спине:

— Брось, Маришка, слезы лить. Подумаешь, невинности ее Фомин лишил… ай-ай-ай… Одну тебя, что ли… сколько тут его крестниц… делов-то… А куда бы ты ее девала, невинность-то свою? На базар снесла?

Артур потянул Верку за руку, и она пошла, напевая «жестокий» романс.

Гармонист все наяривал, Пьяное веселье продолжалось.

Дети просыпались, хныкали, плакали. Их тут было превеликое множество и всех возрастов. Они лежали вместе с матерями, в тесноте, на грязных нарах, укрытые тряпьем.

Под лестницей, куда Артур затащил Верку, в полутьме слышался хриплый шепот:

— …Ну чего ты… чего ты… давай погреемся… да не царапайся, дура…

И Веркин смех.

— Лапы убери, ирод. Пусти…

Падал снег. Пустынно было на улицах Пресни в этот ночной час. Слышалась колотушка сторожа, где-то вдали завывал пес.

Черные барашковые шапки и башлыки городовых были залеплены снегом. Они шли не в одиночку, как обычно, а по три человека, оглядываясь тревожно. У женской казармы тройка задержалась, прислушалась к безобразным, пьяным крикам, к взвизгиваниям гармошки.

Старший снял ледышку с усов и сказал:

— Тут порядок…

И они пошли дальше.

Оправляя кофту, из-под лестницы вышла Вера, а за ней — Артур. Он трогал пальцами скулу у глаза и ворчал:

— Ей-богу, карточку испортила… Вот же идиотка… Хуже кошки… — Он достал из кармана газету, оторвал кусочек аккуратным квадратиком и подал Вере:

— На, залепи…

Вера послюнявила бумажку и, смеясь, заклеила Артурову скулу. Потом схватила его под руку, повисла на руке.

— Кавалер, а кавалер, проводи домой…

И они шли по переулкам Пресни… Падал снег. Вера прижималась к Артуру. Время от времени, оторвав ноги от земли, она повисала на его руке и хохотала при этом отчаянно.

На Вере была старенькая вытертая плюшевая кофта, платок откинут с головы назад, и снег падал на ее волосы. Артур же был одет в пальтишко с бархатным воротничком. Котелок нелепо торчал у него на голове.

Падал, падал, падал снег. Большие нанесло на улицах сугробы. Дома были покрыты огромными белыми шапками.

— …Как же ты живешь с ним, с твоим дурачком?

— Не говори, Артур. Другой раз проснусь — думаю: что же я свою женскую долю загубила?

— Конечно, разве это мужчина? Его соплей перешибешь…

— Веришь, Артур, смотрит он на меня как пес, а мне что он, что стена. Вот как я живу, Артурчик, мой амурчик… Сейчас он хоть домой редко заходит. С работы прямо к своим…

В глазах у Артура вспыхнул огонек. Артур насторожился, но спрашивать ни о чем не стал.

— …закатится на всю ночь, а я разлягусь, раскинусь на лежанке… Хорошо, думаю, пускай они хоть всех царей поскидают, мне-то наплевать, а немилого рядом нет… На днях — прямо умора — пришел, цветок мне принес. Легли спать. «Вера, а Вера», — говорит. Ну, думаю, сейчас царапаться придется. «Чего тебе?» — говорю. А он: «Ты, Верочка, никогда не думала, отчего это одни люди бедные, а другие богатые?»

— Ну, и откуда же они берутся, богатые и бедные? — спросил Артур.

— А я и не слушала, спала, — смеясь, ответила Вера, — он говорит, говорит, а я сплю… Ой, Артурчик-амурчик, мы и до дому дошли. Уже и ложиться нечего — в три смена… прощай…

Артур полез в карман, достал монетку, поднес к глазу, удостоверился — какая — и подал Вере.

— Бери, Верка. Пряников, что ли, купишь… чего-нибудь там…

Вера взяла монету, поглядела:

— Пятиалтынный… — сказала как-то медленно, — спасибо…

Попробовала монету на зуб.

— Настоящая… — так же медленно сказала, да вдруг как шмякнет эту монету прямо в морду Артуру. — На! Жри!

И расхохоталась.

— Ой, уморил! Пятиалтынный!.. Уморил! Да я, может, все сто рублев стою!.. Ах ты, сукин кот… да я тебе не так всю рожу раскровяню…

И Вера действительно бросилась на Артура. Тот не успел податься назад, и Верины ногти процарапали Артурову физиономию сверху донизу.

— Да ты… да ты… сумасшедшая… Люди, караул!..

— Двигай, зараза, пока цел! — кричала Вера. — Беги, не то зашибу до смерти…

И Артур, схватив на лету свой котелок, бросился бежать со всех ног. Он несся вниз, по переулку, а Вера задумчиво глядела

вслед.

Вдруг ночную тишину прорезал свисток, другой, третий. Послышался конский топот. Переливались, перекликались свистки. По улице, в которую упирался переулок, проскакал отряд жандармов, послышались выстрелы.

Вера стояла, прислушивалась.

Быстро шел Матвей, держа в руке ведерко с клеем, на той же руке он нес девочку. Она уткнулась в плечо отца и сладко спала.

Ночь все еще длилась. Матвей расклеивал листовки, стучал в окна бараков, вызывал нужного человека и шепотом:

— Велено передать, завтра в двенадцать начинаем. Митинг на Большой кухне…

Торопливо шел дальше. Доставал листовку, наклеивал то на стену, то на афишную тумбу.

Снова будил кого-то и передавал ему известие о завтрашнем дне.

И где-то по другим улочкам Пресни — всюду поспешно шли гонцы, расклеивали листовки и передавали приказ Московского Совета — бастовать. Загорался свет в окнах, вставали люди, будили соседей. Поднималась рабочая Пресня.

А Матвей все шел и шел торопливо дальше — от дома к дому, от барака к бараку.

Только наклеил он очередную листовку, смачно прилепив ее прямо на царский манифест, который начинался словами: «Мы, Николай вторый…», только отошел за угол, как раздался окрик:

— Стой!..

Из-за противоположного угла показались городовые. Их было трое. Матвей успел отбросить ведерко с клеем и оказался прямо перед ними. Бежать было невозможно.

— Что за фигура? Кто такой? Куда в ночь собрался?..

Старшой был классическим городовым — хоть памятник с него лепи: грозный, бровастый, большеусый — страж порядка!

— Отвечай, когда начальство спрашивает, — толкнул Матвея в бок ножнами сабли другой страж.

— Забрать его? — спросил третий.

Матвей казался испуганным до того, что не мог вразумительно отвечать. Он бормотал только:

— То есть я… ваша милость… хотел…

— Ну, чего трясешься, не съем, — снизошел старшой, — говори толком — куда бежал?

— …ваша милость… в околоток… ребенок… девочка вот захворала… горит…

— Гм… — произнес старшой и взглянул на Надю. Она

проснулась и ответила ему взглядом своих ясных глаз.

— А в околотке-то сейчас никого и нету… — подозрительно высказался второй страж.

— И правда. Господина фельдшера ведь нету в околотке…

— Они как явятся — господин фершал, а мы с дочкой уже тут, у двери дожидаемся…

— Ну иди, черт с тобой. Иди.

Свернув за угол, Матвей бросился бежать со всех ног.

Между тем городовые, отпустив его, через десяток шагов обнаружили валяющееся на земле ведерко, из которого все еще потихоньку выливался клей, и свежую листовку, наклеенную прямо на царский манифест.

— Провел, подлец! — освирепел старшой. — А ну, давайте за ним! И с пустыми руками не возвращаться!

Бросились в погоню городовые, вырывая наганы из кобуры, засвистели в свистки.

Старшой злобно отдирал листовку, а с нею вместе нечаянно отодрал и кусок царева манифеста. Оторвал и испуганно оглянулся. Нет, вроде бы никто не видел.

А Матвей, прижимая к себе Надюшку, бежал и бежал, петляя, ныряя в подворотни проходных дворов. Свистки переливались отчаянно где-то вдали.

Утром Вера входила в полутемную церковь. Шла ранняя обедня. Множество женщин, молодых и старых, усердно молились, клали земные поклоны. Горели свечи в светильниках перед образами. Маслянистый туман стоял в воздухе.

Регент, позевывая, дирижировал полдюжиной певчих на клиросе. Священник с дьяконом правили службу.

Вера купила свечечку, понесла к образу Богородицы, зажгла, поставила.

Молитва Веры была особая, отдельная от всех. Она стала, на колени и, глядя на Богородицу, державшую на руках младенца, зашептала. Глубокая вера отражалась в ее глазах, губы шевелились беззвучно. Вера крестилась редко — не так, как другие женщины, механически обмахивающие себя крестом, но всякий раз ее крестное знамение было полно чувства и значения.

Посмотрев на Веру, заглянув в ее глаза, невозможно было усомниться в искренности, в глубине ее религиозности.

Вошла в церковь толстая, неповоротливая Глаша. Наспех перекрестившись, она отыскала взглядом Веру, приблизилась к подружке, что-то шепнула на ухо.

Куда исчезло мгновенно Верино религиозное настроение! В глазах заискрилось озорство, забегали смешинки. Поднявшись,

она вышла вместе с подругой, оставив за собой песнопения и дым ладана.

Невдалеке от церкви, на улице несколько рабочих окружили Артура. Доносился смех, восклицания.

Артур казался ослепительным, как всегда — в котелке, при галстуке, в пальто с бархатным воротничком. Но его физиономия была залеплена несколькими «пластырями» из полосок газетной бумаги. Молодой рабочий водил пальцем по строчкам и старался прочесть текст, оттиснутый на этих «пластырях». Это доставляло большую радость остальным.

Артур пытался выйти из окружения, но ребята стояли плотным кольцом.

— …«если вы хотите иметь роскошный бюст»… — читал парень, — «выписывайте пилюли доктора Питу».

Ребята ржали. А парень читал дальше:

— …«удалось задержать международного авантюриста, который совершил наглое ограбление банка…»

— Эй, Артур, это не ты, часом, банк ограбил?

— «Триппер вылечиваю травами в две недели…» — прочел парень, и тут веселье достигло высшей степени.

Артура подталкивали, шептали ему что-то на ухо, снимали с него и снова напяливали котелок.

Раздался фабричный гудок, и ребята, смеясь, пошли по направлению к проходной.

Артур заметил Веру, стоявшую с Глашей на его пути, метнул в нее ненавидящий взгляд и прошел мимо.

— Шваль, — беззлобно сказала ему вслед Вера и пошла обратно, по направлению к церкви.

Глаша поплелась за ней следом.

— Эх, девка, — Вера взяла из руки Глаши маленькое зеркальце, погляделась в него, вернула, — если б ты могла понять, какая скука бывает жить на свете… ни души кругом, ни единой души…

Вера вошла в церковь, перекрестилась, стала на колени.

БАСТОВАТЬ!

Яркий дневной свет заливал ткацкий цех. Грохотали станки — каждый в своем ритме, как бы догоняя, опережая друг друга и вместе с тем сливаясь в общий могучий гул.

Вера внимательно следила за своим станком.

Резко распахнув обитую цинковым листом дверь, вбежала, припадая на правую ногу, юркая бабенка.

— Вы чего работу не бросаете? Вся фабрика стала!

Из-за грохочущих станков выглядывали ткачихи. Вера, ближе других стоявшая к бабенке, перекрывая грохот, закричала:

— А ну, вали откуда пришла!

Пожилая ткачиха со второй линии крикнула:

— А кормить наших детей кто будет? Ты, что ли?

Вера схватила пришедшую за плечи, повернула, подтолкнула к двери.

— Кати, кати, пока тебе вторую ногу не переломали… забастовщица.

Но тут раздался звон разбитого стекла. В цех влетел камень, за ним другой, третий.

Визжа, ткачихи прятались за станками.

Несколько работниц, взобравшиеся на крышу отбельного цеха, продолжали бросать камни в окна ткацкой.

Ткачихи остановили станки и, одеваясь на ходу, кутаясь в платки, стали спускаться по лестнице. Бесконечно усталые лица, измученные нуждой и тяжелой работой. У молодых женщин такие же, как у старых, потухшие взгляды.

Верка была среди них каким-то посторонним существом. Сев на перила, свистя и крича, как извозчик: «Эй-эй! Па-аберегись», она съезжала вниз.

— Дура шальная! — кричали ей вслед. — Малахольная!..

Внизу Верка чуть не сшибла с ног пожилую работницу.

— Тьфу, дуреха! Не стыдно тебе? Мать-то схоронили?

— Ага. Еще позавчерась схоронили, — беззаботно отвечала Верка и тянула за собой за руку медлительную Глашу.

Они вышли во двор, до краев заполненный тысячами людей изо всех цехов. Уже поднимались то здесь, то там красные флаги. На сложенной наскоро трибуне — оратор.

— …Товарищи, — вколачивая кулаком слова, выкрикивал он, — сегодня мы объявляем забастовку политическую! Против царя! Против самодержавия!

Криком одобрения отвечали оратору рабочие.

Вера оглянулась — в стороне конторы, в раздвинувшейся толпе, в глубине образовавшегося прохода было видно, как усаживали в тачку насмерть испуганного усатого человека.

— Фомин! — радостно закричала Вера и бросилась туда, к этой тачке. Глаша вперевалку бежала следом за ней. — Фомин! Голубчик! — точно встретив родного человека, кричала Вера. — Вот счастье-то! Фоминушка… Пустите, ребята, это я его прокачу. Я! Я! Он у нас по женской части, мы его и прокатим. Усатенького… Лапушку нашего…

— Изверг! Гадина! Зверь! Убить его! — кричали женщины,

прорываясь к тачке.

Фомин сидел, вжав голову в плечи, и только вращал своими рачьими, навыкате, глазами. Одной из женщин удалось просунуть руку между стоящими вокруг рабочими и с силой рвануть Фомина за ус.

— Что ж ты его только за один… несправедливо делаешь… — И Вера изо всей силы рванула его за другой ус.

Потом схватилась за рукоятки тачки.

— А ну, ребята, расступись! Бабы своего хахаля везут!..

И Вера, смеясь, покатила тачку по укатанному снегу. Женщины бежали по обеим сторонам тачки, грозя Фомину, пытаясь ударить его.

— Ирод! Душегуб… Кровопийца…

Верка катила тачку все быстрее и быстрее, тяжеловесная Глаша, пыхтя, едва поспевала за ней. Позади уже катили другие тачки с другими ненавистными начальниками. Рабочие широко развели в стороны половины железных ворот. Выкатив тачку на улицу, Вера с размаху опрокинула ее, подняв кверху рукоятки, и Фомин полетел головой в снежный сугроб. Только ноги в глубоких галошах торчали из сугроба.

А рабочие везли и везли другие тачки и вываливали из них седоков. Одни после этого бросались бежать, другие барахтались, как Фомин, в снежных сугробах. Смеялись рабочие.

Сияло солнце. Все было веселым, праздничным в это утро. И густая колонна выходивших из ворот людей с красными флагами, и лица их, объединенные радостным возбуждением.

Но самым счастливым среди этих женщин и мужчин был Матвей. Он шел в колонне и улыбался. И его незаметное лицо, одухотворенное великой радостью, казалось прекрасным.

Колонна была гигантской, она тянулась и тянулась, занимая сплошь улицу — от дома до дома. Полоскались в воздухе полотнища красных флагов. То в одном, то в другом месте возникали песни. Они не были очень стройными и иногда сталкивались, сбивая друг друга. И Матвей, высоко подняв голову, тоже запел высоким голосом:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами…

Как-то так получилось, что рядом никто не подхватывал Матвеево пение. Но он даже и не замечал этого и упоенно, счастливо продолжал:

Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело…

И вот кто-то позади подтянул:

Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу…

Десятки голосов запели:

На бой кровавый, святой и правый,
Марш, марш вперед, рабочий народ…

И уже могуче, стоголосо звучало:

С битвой великой не сгинут бесследно,
Павшие с честью во имя идей.
Их имена с нашей песнью победной
Станут священны мильонам людей…
На бой кровавый…

Вдруг Матвей увидел Веру, она стояла вместе с подругой, с Глашей, на крыльце какого-то дома и грызла семечки.

Вера с удивлением смотрела на веселого, поющего Матвея. Таким она его никогда не видела…

— Вера, Верочка! — счастливо крикнул ей Матвей. — Свобода, Вера, свобода!..

И женщина, которая шла рядом с Матвеем, закричала:

— Верка! Эй, Верка! Что ж ты мужа бросила? Его бабы и обидеть могут…

Засмеялись вокруг. Вера, не обращая на это никакого внимания, изумленно смотрела вслед Матвею, растворившемуся в бесконечной льющейся демонстрации трехгорцев.

Но вот где-то далеко впереди раздались крики «ура». Они росли, разрастались, приближались… Это произошла встреча вступивших на площадь трехгорцев с колоннами рабочих сахарного завода, с мамонтовцами, грачевцами, шмидтовцами…

Если посмотреть с высоты — эти темные извивающиеся линии шли сквозь всю Пресню и пересекались где-то в центре ее, и повсюду видны были большие точки горящих костров.

У костров грелись, встречались, разговаривали, шутили. Толкали друг друга, согреваясь. Обнимались, счастливые. Пели, плясали. У костров было весело — здесь был для людей сейчас их дом на несколько минут, пока не шли дальше к следующему костру.

Из окон особняков глядели испуганные хозяева, за ставнями прятались чьи-то злобные глаза… Нервно вращались ручки телефонных аппаратов, звонили без конца телефоны в полиции, в градоначальстве. Выезжали из казарм казаки. Подводили лошадей к орудийным упряжкам. Торопливо строились городовые — власть готовила отпор взбунтовавшейся «черни».

А на Пресню въезжала извозчичья пролетка с нарочным из Московского Совета. Кучер нахлестывал лошаденку. Рабочие расступились, пропуская к зданию Большой кухни.

Когда нарочный взбежал по ступенькам и за ним захлопнулась дверь, на площади стало тихо. Толпа замерла.

И вот появился на крыльце Большой кухни человек — один из тех, что вели за собой рабочую Пресню.

— Товарищи! — сказал он, митингово отделяя слово от слова. — На Чистых прудах только что совершена кровавая расправа над дружинниками…

Площадь загудела. Радиорепродуктора в те времена еще не было, и всякое известие передавалось волной от центра к периферии.

— Получен приказ Московского Совета, товарищи: строить баррикады! Поднимать восстание!..

Каким-то чудесным образом эти слова были мгновенно поняты всей площадью.

На афишной тумбе были наклеены рекламные объявления: «Компания Зингера», «Коньяк Шустова», «Угрин от прыщей», «Пилюли Ара». Вперемешку — театральные афиши.

— Беритесь, беритесь, братцы, она легкая, — высоким голосом кричал Матвей и вместе с другими дружинниками наваливался на тумбу.

Качнувшись, она падала, и ее подкатывали к строящейся баррикаде. Мужчины и женщины, старики, дети — дружно строили баррикаду. Сюда сваливали скамьи, колеса, железные решетки, бочки, ящики, бревна.

— А ну, взяли!

Валили трамвайные столбы.

Работали весело, со счастливым чувством свободы.

— Сумасшедшие! Что вы вытворяете! — кричал в ужасе продавец газетного киоска.

Рабочие плечи нажали на киоск, продавец вывалился из него, а киоск тоже покатили к баррикаде, рассыпая по пути «Биржевку» и «Русские ведомости».

Снимали с петель узорчатые чугунные ворота угрюмого особняка. Седобородый швейцар, выбежав на улицу, безуспешно пытался остановить рабочих, преградить дорогу… Куда там!

Смотрели сквозь зеркальные окна на происходящее и сами хозяева особняка.

Матвей помогал опутывать баррикаду проволокой.

Баррикаду обливали дымящейся на морозе водой, которую передавали ведрами по длинной цепочке из рук в руки.

— Хлебушка… — Матвей достал из кармана и протянул кусок хлеба жалкому старику, который тоже помогал строить баррикаду.

— Матвей! Сбегай-ка в «парламент»…

Ему дали пакет, и Матвей так же весело, как строил баррикаду, побежал передавать пакет в штаб, на Малую кухню.

Матвей бежал по улице, а навстречу вели пойманных и разоруженных городовых.

Он проходил мимо плаца, а на плацу шли учения — рабочие поспешно овладевали винтовкой.

Он сворачивал в переулок, а у булочной устанавливали дежурство вооруженных дружинников.

Впервые в жизни Матвей чувствовал себя счастливым. Он был частичкой, песчинкой революционного вихря и, кажется, только и жил для этих минут, для этих дней…

Это ощущение счастья, свободы, вдохновения охватило всю рабочую Пресню.

Рабочая власть. Совет, большевики — вот кто стал хозяином жизни!

Она формировалась — рабочая власть. Распределялись наиважнейшие, самые первоочередные дела: кому вести в бой отряды, боевые дружины, кому заботиться об их питании, кому ведать охраной штаба, кому быть казначеем, кому заботиться о населении, о работе булочных, кому войти в состав трибунала, который будет вести борьбу с врагами, с предателями и шпионами…

Поднялась вся рабочая Москва, но Пресня была главной крепостью восстания, а на Пресне главными были трехгорцы, они стали основной силой восставших рабочих.

Матвей вошел в здание Малой кухни.

В «парламенте» стоял густой махорочный дым. Здесь получали задание и уходили, а на смену являлись новые и новые отряды.

Тот человек, что произносил речь перед толпой на площади у Большой кухни, взял у Матвея пакет и, распечатав, стал читать.

В это мгновение послышался первый орудийный выстрел. Люди беспокойно переглядывались. Послышался второй, третий выстрелы…

— Начали!.. Все товарищи по своим местам. Передайте приказ держаться во что бы то ни стало.

Отряды расходились.

Матвей, не зная что ему делать, стоял, ожидая распоряжений.

— А вы, товарищ Матвей, можете возвращаться на свой пост…

Баррикада теперь совсем не походила на ту, что оставил Матвей уходя.

Она была уже окутана дымом взрывов. Относили к ближайшему дому первых раненых. Люди сменяли друг друга, передавая оружие — на каждую винтовку, на каждый револьвер были десятки безоружных.

Баррикада эта находилась рядом с зоологическим садом, и в перерывах между стрельбой слышался испуганный рев зверей.

Матвей переходил от одного дружинника к другому — где попросит ружье и, не обидевшись на отказ, отойдет, где и так постоит, просто потопчется — не дадут ли?

— Матвей! — раздался окрик со стороны баррикады. — Мотька! Ты что без дела стоишь? Давай камни тащи! Не видишь — пробоину заделывать надо…

И Матвей, радостный от того, что снова стал нужен, тащил камни к месту, где баррикада была разрушена взрывом.

Он носил и носил, беззаветно, самозабвенно, эти камни, и доброе его лицо светилось улыбкой — нужен Матвей людям, нужен…

А в сторону Пресни шли царские войска.

Выгружались из вагонов на Николаевском вокзале свежие воинские части, присланные из Петербурга. По скользким доскам трапов сводили из теплушек лошадей. Скатывали орудия с платформ.

И шли, шли по Москве, по пустым улицам, под испуганными взглядами обывателей, смотревших сквозь щели ставень, шли на усмирение солдаты. Устанавливали орудия, наводили прицелы. Готовились к прорыву.

Вот ударила первая пушка. И — пошло, пошло…

…Отходили на Пресню разбитые царскими войсками боевые дружины других районов…

Били орудия. Снаряды рвались на улицах, в корпусах фабрик, рвались на баррикадах, посылаемые туда прямой наводкой.

Все больше становилось раненых, все труднее было заделывать под огнем пробоины.

Дружинникам иной раз удавалось пробраться по дворам и закоулкам, по крышам и чердакам и, неожиданно свалившись на противника с тыла, обратить его в бегство. Но ненадолго. Получив подкрепление, солдаты снова наступали.

На баррикадах убитых становилось все больше и больше, их уже не успевали уносить.

Артиллерия била, била, била по Пресне… Спрятанная за массивами домов, ждала приказа конница. И вот — опущены казачьи пики, выхвачены из ножен и подняты сабли… Сигнал — и конница ринулась вперед…

И, когда дальнейшее сопротивление восставших рабочих стало невозможным, по призыву Московского комитета большевиков и Московского Совета, в трагическую ночь с 18 на 19 декабря 1905 года, была прекращена борьба. Нужно было сохранить жизни, сохранить силы для будущей борьбы.

В ту страшную ночь Пресненский штаб боевых дружин выпустил воззвание — «мы начали, мы кончаем. Кровь, насилие и смерть будут следовать по нашим пяткам, но будущее за рабочим классом».

Пресня была охвачена огнем. Пылали деревянные постройки Трехгорки, горела фабрика Шмидта, завод Мамонтова, Бирюковские бани. Горели дома, рабочие казармы… По улицам мчались отряды семеновцев. Выли звери в зоопарке.

Уходили по Москве-реке отряды дружинников.

В домах прятали оружие.

И СНОВА ГОРЕЛИ КОСТРЫ НА ПРЕСНЕ

Какими мрачными были теперь костры Пресни!.. У их огня в угрюмом молчании грелись солдаты-каратели. Грелись покрытые снегом городовые. Из дома в дом шли с обысками, хватали сонных, полураздетых, выволакивали на снег… Сваливали в кучу изъятое оружие.

И вот знакомый нам крутой переулок…

Жандарм сапогом распахнул калитку, ножнами постучал в дверь. За спиной его еще четверо жандармов и человек в штатском, в котелке… Он вошел вслед за жандармами, остановился у двери.

Вера укладывала девочку спать. Она повернулась — увидела жандармов и стоящего у дверей Артура.

— Этого забирайте, — указал Артур на Матвея, — он вам расскажет, откуда богатые берутся… Баба говорила — он интересно рассказывает…

Жандармы обыскивали дом.

Матвей стоял рядом с Верой.

— Прощай, Вера, — тихо сказал он, — ты меня никогда не любила, так хоть за Надюшкой теперь присмотри…

Жандармы грубо схватили его, толкнули к двери и вывели.

— Адью… — Артур приподнял котелок, вышел вслед за жандармами.

Некоторое время Вера стояла, окаменев. Потом сказала недоуменно:

— Как же так… ведь они его убьют…

И вдруг, схватившись за голову, закричала изо всех сил:

— Мотя! Мотя! Мотенька!..

Бросилась к иконе, упала на колени:

— Боже! Что делать?.. Боже… я без него жить не буду… убьют они его, боже, боже…

В незакрытую дверь медленно вваливались по полу волны морозного пара. Из пара этого возникла фигура короткого, широкого человека в зимнем пальто, в барашковой шапке.

Он переступил порог, остановился. Это был мастер Фомин — тот самый, которого Вера выкатывала на тачке с фабрики.

Молча, злорадствуя, смотрел он на стоящую на коленях Веру.

— …боже мой, боже… — повторяла она, — спаси его, боже… накажи меня, проклятую, а его спаси…

Фомин кашлянул. Обернулась Вера, увидела его, встала.

— Ну, чего пришел, подлец! На горе мое любоваться? Мало ты горя людского видал? Мало обижал людей? Вали вон отсюда!

Но не уходил Фомин. Смотрел на Веру, и ее отчаяние, ее горе, может быть, впервые в жизни тронули его. Он смотрел на Веру растерянно, даже жалко как-то.

— Послушай, Филимонова… — произнес он наконец.

— Что Филимонова, что Филимонова? Уходи, не до тебя.

Фомин прокашливался: не сразу произнесешь то, что хотел сказать.

Он полез в карман, достал бумажник, вынул «красненькую» — десять царских рублей.

— На вот… — мрачно сказал он, кладя деньги на стол, — на, возьми… может, сунешь — отпустят его… бог знает — может, отпустят…

И, молча повернувшись, вышел.

Потрясенная, смотрела Вера ему вслед. Потом схватила деньги, схватила серьги с подоконника, накинула платок, выбежала из дома.

Горели мрачные костры на Пресне, выхватывая из тьмы то заиндевевшую лошадиную морду, то топочущих от холода, размахивающих по-извозчичьи руками городовых, то проезжающее, грохоча, орудие. Вталкивали арестованных в тюремную карету. Вдали слышалась еще стрельба.

Жандармы вели Матвея в большой группе арестованных. Шли по четыре в ряд, и только последний ряд состоял из двоих — Матвея и молодого парнишки лет шестнадцати. Он был насмерть напуган и все оглядывался на револьвер в руке идущего за ним жандарма.

Матвей старался привлечь внимание парнишки, и наконец это ему удалось, Парнишка с ожиданием уставился на него.

Не разжимая губ, Матвей тихо сказал:

— Как я упаду, бросайся влево и беги, понял?.. Я вправо, ты влево…

Парнишка моргнул — мол, понял. Группа сворачивала за угол зоопарка.

Парк отделялся от улицы высоким забором: каменные столбы, а в промежутках железные решетки с остроконечными пиками. Почти у самого угла в заборе виднелась калитка служебного входа.

И вот, когда группа уже почти полностью свернула за угол, Матвей вдруг споткнулся и упал прямо под ноги идущего сзади жандарма. Чертыхнувшись, жандарм полетел на землю.

А Матвей, вскочив на ноги, вбежал в служебную калитку и понесся по аллее зоопарка.

Раздались выстрелы, затрещали свистки.

Матвей оглянулся на бегу — что за чертовщина! — парнишка бежал следом за ним. Вместо того чтобы броситься в противоположную сторону и тем спутать, затруднить преследование, он бежал вслед за Матвеем.

— Сволочь! — закричал ему Матвей. — Куда бежишь!..

Здесь не было света газовых фонарей, не было костров, но, к несчастью, все вокруг было ярко освещено вышедшей из-за тучи луной.

Матвей бежал изо всех сил, размахивая руками, задыхаясь.

Как на грех, он попал в прямую аллею, сжатую с обеих сторон звериными вольерами. Волки и медведи молча провожали глазами эти странные фигуры бегущих людей, возникших тут среди ночи.

Свистки переливались сзади и где-то сбоку. Показались преследователи — одни жандармы тяжело бежали прямо за беглецами, другие забирали в обход вправо.

Уловив это, Матвей юркнул налево в узкий проход.

Здесь нужно было перебраться через невысокий забор. Матвей легко перебросил тело через него и понял, что спасен — за забором начиналась роща, до нее оставалось всего шагов двадцать. За спиной вдруг раздался стон, и, оглянувшись, Матвей увидел, что парнишка тоже попытался перебросить через забор, но упал и сейчас с трудом поднимался на ноги.

— Зачем за мной бежишь! — крикнул с отчаянием Матвей и увидел, что парень чуть не упал снова, пытаясь встать. Он не то сломал ногу, не то вывихнул ее.

Свистки раздавались вес ближе и ближе.

Одно только мгновение Матвей колебался, но затем бросился назад, подхватил парнишку и кинулся с ним к роще.

Было слишком поздно. Жандармы налетели на них сразу сзади и сбоку, повалили, скрутили руки… ожесточенно били сапогами…

У ворот Трехгорки стояли женщины. Сотни женщин, у которых забрали мужей, сыновей, отцов… В тишине слышалось только потрескивание костров, разожженных городовыми, да прорывался иной раз плач. По временам появлялась новая партия арестованных. Жандармы разгоняли толпу и открывали ворота.

За воротами стояла цепь солдат. Они расступались, пропускали колонну арестованных и смыкались. Жандармы снова закрывали ворота.

Вера стояла среди женщин. Как и у всех других, ее плечи и голова были покрыты толстым слоем снега.

В руке зажат вытянутый из-под одежды крестик на натянувшейся посеребренной цепочке.

Едва шевеля губами, Вера шептала:

— Спаси… спаси его… спаси… спаси, спаси… слышишь, спаси его, господи…

А лица вокруг… жестокая картина боли, любви, ужаса, горя.

Рядом с Верой стояла маленькая сгорбленная старушечка с лубяной кошелкой в руке.

— Хоть бы отдали ему кошелочку-то… тут яичек две штуки, да лука головка, да хлебушко… Он бы, Витенька, хоть яичко

облупил… О, господи, господи, пресвятой боже наш…

Из проходной появился околоточный надзиратель и закричал:

— Эт-та что тут за митинг? А ну, вон отсюда все бабы, как одна…

Старушечка оказалась ближе всех к околоточному.

— Батюшка, отец родной… сыночек тут мой… Витюшка Семенов… отдай ему, батюшка… тут яичек две штучки, да хлебушко…

Околоточный хмуро оттолкнул ее руку.

— Никаких передач. — И, криво усмехнувшись, добавил: — Скоро их всех накормят.

Из проходной вышел офицер и строго сказал околоточному:

— Почему они до сих пор здесь?

И прошел дальше.

Сразу же, по сигналу околоточного, городовые стали оттеснять женщин от ворот фабрики.

На помощь им вышли солдаты и пустили в ход приклады.

— Верка, а Верка, — зашептала Вере на ухо толстая Глаша.

Она только что явилась откуда-то с задворков фабрики и была вся в снегу — видимо, проползала где-то под забором.

— Твой-то, Матвей… — шептала она, — он с самыми опасными…

Вера слушала вся напружинившись, схватив Глашу за руку.

— Кто сказал? Откуда узнала?..

— Не сомневайся. В подвале они их держат. Вон в те окошки, верно, и видать их…

Глаша указала на зарешеченные окна, выходившие верхней полоской на улицу, на тротуар. Вера бросилась туда, перебежала улицу, упала на землю, схватилась за решетку, прильнула к мутному стеклу. Ничего, ровно ничего нельзя было разглядеть за ним. Сильный удар плеткой заставил Веру оторваться от окна. Жандарм продолжал бить ее, пинал ногой.

— Вон пошла, сука! Вон!

Переулок был пуст.

— Идет… — оглянувшись назад, шепнул рабочий, притаившийся у выхода из подъезда. Прямо от двери вниз в подвал вела крутая, темная лестница. Еще двое ожидавших стояли в подъезде не шелохнувшись, вжавшись в стену.

Артур шел по улице без опаски, покручивая трость, посвистывая. Железная рука схватила его, когда он проходил мимо двери, и втащила внутрь. Все трое навалились на него.

Артур судорожно вырывался и вдруг освободился, отчаянно крикнул:

— Караул!..

Ничем не ответила пустая улица.

Трое снова навалились. А когда поднялись — Артур уже не шевелился. Один из рабочих толкнул его ногой. Тело Артура полетело вниз, ударяясь о ступеньки лестницы.

К Трехгорке подкатили дрожки. Полицейский пристав, соскочив с них, прошел на фабрику. И почти сразу же после этого со двора отчетливо донеслась команда.

Высокий резкий офицерский голос крикнул:

— Выводи!..

Женщины, оттиснутые от фабрики, сломали строй солдат и всей толпой побежали к воротам. Новая команда заставила их замереть:

— Приготовились!..

Вера рванула крестик, сжав его так, что он врезался в ладонь. Цепочка оборвалась и висела прямо из сжатого кулака. Вера поднесла крестик ко рту, прижалась к нему губами.

— Спаси его, господи…

Во дворе фабрики высокий, рыжеусый офицер стоял рядом с цепью солдат. Их ружья были направлены на группу рабочих, поставленных к кирпичной стене.

Матвей был крайним, рядом с ним стоял тот парнишка, с которым они вместе бежали. Парнишка, дрожа от страха, прижался к Матвею, и Матвей обнял его по-отцовски.

Солдаты смотрели на поставленных к стене людей с ужасом и жалостью. Линия винтовок дрожала.

— Пли! — скомандовал офицер.

Раздался нестройный залп. Все приговоренные продолжали стоять. Рыжеусый злобно повернулся к солдатам:

— Вы что, сволочи, сами под расстрел захотели? Второй взвод, занять места! Приготовились! Пли!..

Падали расстрелянные. Матвей отпустил парнишку, и они упали рядом — один возле другого.

— Палачи! — кричали женщины на улице. — Изверги!..

Рыдали жены, матери, сестры, вздымали в отчаянии руки.

Серое зимнее утро поднялось над Пресней.

Вера шла к полицейскому околотку — туда, говорят, свезли трупы расстрелянных.

У церкви толпились женщины — не всем удалось попасть внутрь. Пение хора смешивалось с рыданиями.

Вера прошла мимо, кажется, и не заметив церкви.

Она подошла к околотку. Поднялась по каменным ступенькам лестницы. Угрюмый полицейский выслушал ее, глядя куда-то в сторону, в окно, на улицу.

— Тела не выдаются. Нет, не выдаются…

Случайно переведя взгляд, он увидел лежащие на столе десять рублей и серебряные серьги.

— Гм…

Взял красненькую, поглядел на свет, сунул в карман. Серьги отодвинул, и Вера забрала их.

— Разрешения на выдачу тел не поступало… — уже не так твердо произнес он, встал и пошел к двери.

Во дворе Вера вслед за полицейским подошла к сараю. Открывая его, полицейский сказал:

— Смотри… если найдешь…

В сарае лежали изувеченные тела. Вера переходила от одного к другому. Матвея среди них не было.

Полицейский терпеливо пошел к другому сараю, открыл.

Войдя, Вера сразу увидела среди трупов окровавленное лицо Матвея. Подошла ближе. Он был без шапки, босой…

— Ладно уж, забирай, — сказал полицейский.

Матвей лежал в гробу, прибранный, умытый, одетый. Бесконечной вереницей шли люди поклониться убитому. Звякали медяки, опускаемые в кружку. Скорбной чередой проходили рабочие.

Шли женщины, мужчины, вели детей.

Вера стояла у гроба — строгая, без единой слезинки. Рядом с ней Надюшка. У девочки игрушка в руке — крестик с оборванной цепочкой.

А ночью, когда ушли люди, Вера билась, рыдая, у гроба целовала без конца руки Матвея:

— …никогда мне не искупить вину перед тобой… Матюшенька… поздно я поняла тебя, поздно полюбила…

И были похороны. Рабочие несли гробы по улицам непокоренной Пресни. Безмолвными, немыми были эти похороны.

Они проходили мимо разбитых корпусов Трехгорной мануфактуры, мимо сгоревших, обугленных зданий.

Шли женщины Красной Пресни за гробами своих близких.

Шла строгая — без слезинки — Вера за гробом любимого. Покачивались в такт шагу серебряные серьги в ушах.

Обыватели — теперь уже не из-за занавесок, а открыто стоя

за окнами и на крылечках подъездов, — смотрели на молчаливую процессию.

Конные городовые, как грозное предупреждение, были расставлены по всему пути следования похоронного шествия.

Но испуганными были глаза победителей, провожавшие молчащую и оттого еще более страшную толпу рабочих и покачивающиеся на ее руках гробы.

— Тпру… — осаживал лошадей прохоровский кучер: пароконным саням преграждала путь идущая толпа.

Толстозадый, краснорожий кучер, обернувшись к сидящему в санях хозяину, сказал:

— Ишь… молчат… Им приказ вышел: хоронить молчком. Нет, не больно попоют теперь.

Под злобными взглядами проходящих рабочих Прохоров снял бобровую шапку, обнажил голову.

Стояли хозяйские сани, а рабочая Пресня, вся рабочая Пресня проходила в молчании мимо.

Рядом с Верой, держась за руку матери, шла маленькая Надя, дочь погибшего Матвея.

Глава вторая
НАДЕЖДА

Год 1919

Зима девятнадцатого года была очень тяжелой.

Стояли на морозе голодные очереди у хлебных лавок. Одни, выходя со своими осьмушками, тут же и съедали их, иные бережно припрятывали, несли домой.

Тяжко пыхтя, медленно тащились перегруженные поезда. А на крышах теплушек мешочники, мешочники…

Другие поезда двигались к фронту. На платформах стояли орудия, красноармейцы, свесив ноги, сидели в открытых дверях теплушек и пели.

И еще шли поезда в обратном направлении — поезда с ранеными бойцами, краснокрестные, скорбные поезда.

Уже год, как остановилась Трехгорка… Много рабочих ушло в добровольцы, на фронт, другие уехали в деревню, спасая от голода детей… А те, что остались, охраняли фабрику. Они не получали ни гроша, жили на голодном пайке, но это была теперь их фабрика, и они охраняли ее холодные, замерзшие цеха.

В партийной ячейке топилась «буржуйка». Едкий дым сочился из сочленений жестяных труб, и от этого дыма все кашляли.

По временам открывалась дверь, и тогда в комнату врывались клубы морозного пара.

Некоторые из рабочих были вооружены — кто винтовкой, кто наганом.

Суровая женщина, которая вела собрание — товарищ Таисия Павловна Белозерова, — стоя на фоне плаката «Все на борьбу с Колчаком», гневно говорила:

— …что же это такое, если не контрреволюция? Ежели каждый из нас станет выносить по полену дров?.. Сегодня полено, завтра станок…

У дверей, понурив голову, стоял старый человек — тот, кому адресованы были слова председательницы.

— …пускай трибунал наказывает тебя по всем законам революционной совести и социалистического сознания… Да ты хоть понимаешь свою вину, Кузьмич?

— Сознаю, Таисия Павловна, очень даже болезненно сознаю. Глубоко виноват… Из-за внучков… единственно из-за внучков. Смотреть не могу. Хотел согреть хотя разок…

— Ладно, — сурово сдвинув брови, говорила Таисия, — не жалоби меня, ради бога, не железная. Кто за то, чтобы дело о хищении пяти поленьев осиновых дров сочувствующим РКП сторожем Кутейкиным передать в трибунал, прошу поднять руки. Против? Воздержался? Пиши, Надежда. При двух воздержавшихся. Не взыщи, Кузьмич, время строгое, никому нет пощады. Я возьму — меня казните. Фабрика теперь наша, народная, пусть никто к ней руки не тянет. А теперь, товарищи, могу вам сообщить великую новость — есть решение восстановить нашу Трехгорку и пустить в самое короткое время…

— Ура-а-а!.. — закричали, вскакивая, рабочие. Некоторые из них поднимали кверху винтовки и потрясала ими.

Люди улыбались, обнимались, поздравляя друг друга.

— Тихо, тихо, товарищи, — старалась перекричать их Таисия Павловна, — не радуйтесь так сильно. Не думайте, что нам все с неба свалится… Сами будем фабрику поднимать. Своим горбом, своими руками. Завтра наметим план, распределим обязанности. Управление выберем из своей среды, и за дело… Пошлем за суровьем на Ярцевскую и на Яхромскую фабрики. Вот так… В общем, поздравляю вас с таким праздником, а пока — текущие дела. Первое слово имеет Надежда. Давай, Надя, докладывайся.

Отложив секретарское перо, откинув за спину светлую косу, встала Надежда Филимонова. Встала и молчит.

— Говори, Надежда, не стесняйся, — подбадривала ее Таисия, — приучайся, скоро будем тебе доклады поручать.

— А я и не думаю стесняться, Таисия Павловна, просто собираюсь с мыслями. У меня, конечно, сообщение будет не такое хорошее. Товарищи! Комиссия, по поручению ячейки, провела обследование условий, в которых живут дети наших рабочих. Мы установили, что среди них возросла смертность, дети живут в холоде, голодают. Комиссия считает такое положение нетерпимым…

— Что предлагаете? — спросила с места пожилая работница.

— Ясли организовать и детский садик.

— А помещение?

— Реквизируем особняки Прохорова и другие.

Наступила некоторая пауза.

— Что ж, — сказала пожилая работница, — это справедливо. Попользовались, и будет. А вот кормить, кормить-то чем?

Тут поднялась Таисия.

— Комиссия верно рассудила. Важнее этого, пожалуй, ничего и нет. Надо спасать детишек. Продукты дадут. Не дадут, из горла вырвем. Так как? Поручим Надежде организацию яслей и детского сада? Нет возражений? Надежда, ни о чем и думать не

смей, никуда не пустим. Выполнишь поручение — тогда посмотрим. Подбирай себе помощников и действуй. Следующий вопрос…

Но в это время открылась дверь, и из клубов морозного пара возник человек. Видавшая многие виды шинель свободно висела на худом теле, в левой руке человек держал тощий вещевой мешок. На месте правой руки пустой рукав, заправленный в карман шинели. Черное от ветров, солнца и мороза лицо. На щеке шрам.

Видно было, что человек держится на ногах из последних сил.

— Здоровы, братцы, — сказал человек.

Все повернулись и молча смотрели на него.

— Не узнаете? — усмехнувшись, сказал солдат, и оттого, что одна щека была стянута шрамом, улыбка получилась кривой.

И все еще молчали люди, пока председательница, забыв о своей партийности, не воскликнула вдруг:

— Свят, свят, свят… Ты ли это, Вася?

И тогда стало очень шумно. Все вставали и подходили к Василию, и каждый хотел сказать ему слово.

— Эк, тебя как, Королев, — говорил один.

— Да… Отец-то не дождался, не дожил, — сказал другой.

— А фабрика уже год как стоит…

— Ни топлива, ни сырья…

— Где ж тебя так?..

А Таисия Павловна спросила:

— Надолго, Королев?

— Насовсем, Таисия Павловна. Как видно, отвоевался.

— Ну, и хорошо. Ну, и хорошо. Нам фабрику восстанавливать, а людей совсем не стало. Кто в деревню от голодухи, кто на фронт. Сегодня опять добровольцев провожаем… Вот у нас какие дела.

Самой последней подошла Надя.

— Ну, здравствуй, Королев!

— Здравствуй, Филимонова.

— Вот тебе сразу и задание, — сказала Таисия, — станешь на ноги, отойдешь немного и поступай пока в распоряжение Надежды. Возьмете решение в райсовете и занимайте особняки. Потом тебе работа поважней будет… А пока — покажи ему, Надя, фабрику. Пусть посмотрит…

Надежда вышла на заснеженный двор. Заложив руки за спину, она пошла к фабрике. Василий шагал рядом.

— А я ведь тебе, Надежда, письмо привез. От матери.

— Ну да? Где ты ее видел?

— В лазарете встретиться пришлось.

Надежда остановилась.

— Что с мамой?

— Ничего. Была раненная, да выписалась раньше меня.

— Не сильно? Ранена не сильно?

— Нет. Рана пустячная, плечо задело. Ну, и контузия была… Теперь здорова. Вот письмо-то… И еще возьми — в платочке тут сахару немного…

Они вошли в цех. Надежда развернула письмо и на ходу стала читать.

Ветер и снег, ветер и снег врывались в окна. У станков намело сугробы. Василий печально оглядывал мертвый цех.

Надежда читала и слышала — будто издалека — голос матери.

— …пишет твоя мать Вера Степановна Филимонова. Здравствуй, моя родная девочка Надюша. Не удивляйся, что такой у меня вдруг хороший почерк стал. Пишут за меня умные люди. Пишет комиссар госпиталя товарищ Лазарев Евгений Сергеевич, а мне тут пришлось побыть немного. Руку задело чуточку. Надюша, горько, конечно, сознавать, что пришлось тебя оставить, но выхода нам другого враги не дали. Нет, мы на позволим им вернуться, будем драться до последнего. Не забывай, моя кровиночка, как по фабричному двору идешь, погляди на ту стену, у которой эти звери твоего отца убили. Четырнадцать лет прошло, а я как сейчас слышу залпы и крики мучеников наших…

Из цеха в цех, из цеха в цех идут по мертвой фабрике Надежда и Василий. И всюду холодная тишина. Стоящие станки. Ветер, снег…

— …Как-то там наш ткацкий? Как мой Платушка поживает, веселый мой станочек? Я ведь, что греха таить, тяготилась работою, только ради хлеба трудилась. А сейчас, как вспомню… до того хотела бы стать на свое место, пустить станок… Ах, как весело шумел наш цех, как хорошо бегал челнок… Какое счастье бы там у вас оказаться! Кто же теперь на моем Платушке работает? Не обижает ли его? Хорошо ли за ним ухаживает? Мы читали в газете, что к вам приезжал товарищ Ленин и выступал на Большой кухне. Счастливые вы. А как дом наш старенький? Береги его, Надюша, ты там родилась и все твои родные тут жизнь прожили. До свиданья, доченька моя. Посылаю тебе две глудки сахару. Честно тебе скажу — буду ли жива — не знаю. Очень жестокие идут у нас бои. Но все равно, наш верх будет и завоюем для вас жизнь такую хорошую… Обнимаю тебя, мое

дитятко, целую несчетно раз. Никогда не забывай своего отца. Я очень перед ним виновата и до сего часа все искупаю грех. Твоя мать — Филимонова Вера Степановна.

Опустила Надежда письмо, остановилась, задумалась глубоко. И Василий поодаль несколько стал, не желая мешать.

Тишина. Только ветер посвистывает по цеху.

— Что же делать? Что делать? — сказала с отчаянием Надя. — Где только я не была… Таисия мне все портит…

— На фронт просилась?

— Она в райкоме сказала… и все. Подумаешь, фабрика без меня обойтись может. Просто эгоизм какой-то. Она привыкла, что я под рукой…

— Надя, — сказал Василий. — Надежда…

— Что, Королев?

— Неужели ты все забыла?..

— Ты о чем?.. А… ну, как ты не понимаешь, Королев… Разве такое время…

— Или честно скажи, то, что я калека…

— Не смей болтать глупости, — оборвала его Надя. — Никакой ты не калека, Королев, человек как человек. Запомни. И никогда о себе не смей думать иначе.

— Тогда что же случилось?

— Понимаешь, Королев, столько со всех сторон тяжелого… мне кажется, я за все в ответе, мне кажется, во мне просто физически все отзывается: голодные глаза у людей, дети замерзающие… вот эта наша мертвая фабрика… наверно, у меня нервы слабые… Каждый должен сейчас все свои силы мобилизовать — иначе мы не победим. А что я слышу, например, когда захожу в общежитие к девчатам звать на субботник, о чем, ты думаешь, они болтают? О любви они болтают. Другой темы у них нету. Сами голодные, жрать нечего, в общежитии вода замерзла, фабрика стоит, родные на фронте, а эти идиотки высунули красные носы из-под одеяла и рассуждают. Только слышно: «любовь», «любовь»… Я прямо убить их готова. Пошлость и мещанство. Разве ты не согласен, Королев? Ну, скажи, скажи — ты согласен? Я хочу, чтобы ты думал как я.

Вздохнув, Василий не ответил.

— Мы должны быть выше разных там переживаний, — сказала Надежда. — Ты понимаешь?

— Понимаю, что разлюбила. Вот и все… Ошиблась… Вот и все…

На этот раз Надя не ответила, промолчала.

Снег, снег, холодные цеха, мертвая фабрика. Пар изо рта говорящих.

— Неужели нам удастся все это когда-нибудь поднять, восстановить?..

Они остановились, смотрели на то, что было когда-то весело шумящими станками, а теперь стало мертвым железом.

Надежда повернулась лицом к Василию, протянула руку, прикоснулась пальцем к шраму на его лице.

— Чем это тебя, Королев?

— Сабля.

— Расскажи.

— Вот еще, ерунда, в общем и целом. Лучше скажи — ты помнишь, как мы на Ваганьковом кладбище ночью заплутались?

— Еще бы! До сих пор мне это снится.

— А как ты тогда закричала…

— Закричишь. Если тебя кто-то на кладбище в темноте хватает за косу…

— И как только ты умудрилась зацепиться за эту чертову ограду?..

— Кажется, с тех пор века прошли…

Надя положила в карман письмо и достала сложенный вчетверо листок.

— Не потерять бы…

— А что это?

— Бумага важная. Ордер на кожанку мне дали.

— Ну да?

— Будешь мне говорить «товарищ комиссар».

Они остановились перед дверью, из-под которой выбивался слабый свет.

— Тут есть кто-то…

Василий толкнул дверь, и они вошли в подвальную каморку, освещенную «моргаликом».

У верстака сидел старик, закутанный поверх разного тряпья в рваный женский платок, и мастерил зажигалку из винтовочного патрона. На столе, поблескивая медью, лежали несколько готовых зажигалок.

— Здравствуйте, дедушка Зеленцов, — сказала Надя.

— А… Надежда… Коса у тебя еще вроде бы подлиннее выросла… Кого это привела?

— Королев это, дедушка. Сын Павла Семеновича.

— Васька, ты, что ли?.. Где пропадал?

— Воевал, дедушка. Вы меня все пацаном считаете, а я уже большой.

— Вижу. Куришь небось?

— Когда есть…

— Тогда бери подарок. Я их на продажу, по три миллиона

между прочим… а тебе — так…

Старик протянул Василию зажигалку, сделанную из патрона.

— Бери, бери…

— Благодарствую, — сказал тот, взяв и рассматривая зажигалку, — красивая вещь. Вот бы хорошо, дедушка, все патроны, какие только есть на земле, пустить на зажигалки. Верно?

— Э, нет… Не надейтесь. Теперь надолго… Теперь воевать и вам, и детям вашим, и внукам, и правнукам. Разве они сдадутся?.. Я это еще тогда, в пятом годе сказал, когда мы поднялись, когда вот ее отца во дворе здесь расстреливали… Матвея… Ну, и что ж ты теперь, Василий, будешь делать?

— Учиться буду. А пока — назначили вот под ее начальство. Идем сегодня особняк отбирать у хозяина — для детей.

— Я и говорю — разве они сдадутся когда-нибудь? Да быть этого не может…

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Белый особняк — дворец — стоял на горе, он был виден издалека со всех сторон. Его окружал обширный сад. Иней покрывал деревья, и они сверкали при свете низкого, зимнего солнца.

Василий и Надя стояли в огромном вестибюле. Надя была в новой кожаной тужурке.

Слева от них возвышалось гигантских размеров чучело медведя, стоящего на задних лапах и держащего в передних лапах поднос для визитных карточек. Позади чучела — вешалка и стойка для зонтов и тростей. Справа — во всю стену зеркало, в котором отражались такие странные в этой обстановке фигуры Нади и Василия в его заштопанной шинели, в обмотках и папахе. А перед ними — сам хозяин особняка — Прохоров, держа в руке врученный Надей ордер райсовета.

Стояла тишина. Поправляя пенсне, хозяин читал ордер.

Молчали за его спиной женщины, молчали выглядывающие из дальних дверей горничные и лакеи.

Ордер в руке Прохорова дрожал, но когда он обратился к Надежде, то казался спокойным и ироничным.

— Ну, а если я не подчинюсь этому ордеру?

— Вы человек не глупый… — начала Надя.

— Благодарствуйте, — саркастически усмехнулся он, поклонившись.

— …ваш дом будет занят силой, — закончил вместо Нади

Василий.

— Гм…

— Вы в этом сомневаетесь?

— Нет, нет, что вы, — так же саркастически произнес хозяин, — у меня ни малейших сомнений. Когда товарищи комиссары прикажут нам «выметаться», как у вас говорят?

— Сегодня. Вы можете забрать все свое личное имущество. А дом с настоящего момента является собственностью Советского государства. Где тут у вас что расположено?

— Ну, что ж… Пройдемте, я покажу вам вашу новую, благоприобретенную собственность… прошу…

Он двинулся вперед, Надя и Василий следом. Слуги прятались по мере их приближения. Мелькнула голова повара в высоком накрахмаленном колпаке.

Плачущую хозяйку горничные увели во внутренние покои — готовить к отъезду.

— Это вот малая гостиная, здесь курительный салон… — говорил теперь уже бывший хозяин особняка, проходя по дому. — Это столовая, буфетная, здесь зал, за ним еще одна малая гостиная… мебель ранний чепендель… прадед мой привез.

За полураскрытыми дверями, мимо которых они проходили, мелькали еще разные помещения — обложенная белым мрамором ванная комната, бассейн, лакейская…

— Осторожно, лестница, не споткнитесь… это спальные комнаты детей… Здесь переход — секретарская, кабинет мой…

Пол огромного, двусветного кабинета был затянут зеленым бобриком.

В глубине комнаты возвышался могучий сейф. Обтянутые кожей стулья стояли у стен и в промежутках между книжными шкафами. Перед столом — глубокие кожаные кресла.

На столе поверх бювара — видно, забытый хозяином — матово поблескивал вороненый браунинг.

— Скажите, молодой человек, и вы, барышня… извините — гражданка… Я просто хочу понять вас. — Глаза хозяина поблескивали, щека дергалась в тике. — Неужели вы думаете, что можно так, безнаказанно грабить людей, отбирать их дома, их фабрики, то, что создано нашими силами?..

— Ну, положим, — сказал Василий, — некоторое участие в создании ваших фабрик и домов принимали и рабочие…

— Не думайте, не надейтесь, что это пойдет вам впрок… — дрожа, говорил Прохоров.

— Странно, — сказала Надежда Василию, — нам говорили, что хозяин Трехгорки человек умный, просвещенный.

— Был, был, был… был когда-то, — повернувшись к Надежде

и ощетинясь, говорил хозяин, — был… Это вы меня таким сделали.

Василий между тем взял браунинг со стола:

— Игрушку придется изъять. Мы ее в опись включим…

Зло сверкнул взглядом Прохоров в сторону Василия.

И вот — ночь. Опустевший дом. Щелкая зажигалкой, Василий запирал изнутри массивную входную дверь.

В доме стало холодно. Окна покрылись льдом, сквозь который пробивался лунный свет.

Василий шел по дому, в котором остались только опустошенный сейф с раскрытой дверкой, рояль в гостиной да большое стенное зеркало.

Он трогал холодные радиаторы парового отопления.

Надежда, стоя в гостиной у рояля, прикасалась пальцами то к одной клавише, то к другой. Кажется, ей даже удавалось подобрать нечто похожее на первые такты какого-то вальса.

Силуэт Надежды был четко вырезан на фоне большого зеркального окна.

— Может быть, пойдешь домой, Надежда?.. Я бы тут один посторожил… замерзнешь…

На светлом фоне окна было видно, как Надя покачала головой и маятником качнулась ее тяжелая коса.

Василий зажег свечу, воткнул ее в пустую бутылку и поставил на подоконник.

При ее мигающем свете Надя рассматривала свое изображение в зеркале.

— Ты мои драгоценности видел? — спросила она, достав из кармана и показывая на ладошке две большие, «цыганские» серьги.

— Знаю я их, материнские… — ответил Василий, — ты в них еще девчонкой другой раз бегала.

Надежда вдела серьги в уши и, помотав головой так, чтобы они раскачивались, стала сама себе строить перед зеркалом рожицы.

— Не надо, — сказал Василий, — они вправду очень идут тебе… И как тебе хорошо в этой кожанке…

Он осторожно положил руку на плечо Надежды, но тут же отлетел в сторону.

— Что ты, что ты, ошалела… Я же так… по-хорошему…

— И я по-хорошему. — Надя сняла серьги. — Лучше бы ты в деревню подался, Королев. Мужики на фронте. Ты бы там первым женихом был… А если по-хорошему — пойми, Королев, женщину унижают все эти глупости…

— Надежда… клянусь тебе…

— Ты ведь не хочешь меня унижать?

— Ни за что на свете.

— Ну так вот, запомни. Мы с тобой товарищи, и все. Ясно? А теперь давай как-то устраиваться. Собачий холод в этом дворце…

Луна ярко освещала холодный белый дом на горе. Ветер свистел и раскачивал оголенные деревья в саду. Ветер гнал снег вдоль дорожек. Он выл в холодных печных трубах.

На полу в гостиной, укрывшись шинелью и кожанкой поверх нее, «валетом» лежали Надежда и Василий. Лунный свет образовал на паркете большие голубые прямоугольники.

Надежде было холодно, она хмурилась, стараясь сдержать озноб. Василий лежал, заложив руки под голову, широко открыв глаза.

— Ты не спишь, Надежда?

— Не сплю.

— Куда ты днем сегодня исчезала?

— На занятиях была. На курсы медсестер записалась. Краткосрочные.

— Но ведь тебя не отпустят с фабрики все равно.

— Чепуха. Вот только это задание выполню и в тот же день на фронт. Неужели ты меня так плохо знаешь, Королев?

— Эх, война, война, проклятая…

Наступила пауза.

— Королев, ты не спишь?

— Да нет, где там…

— А как ты думаешь, Королев, как все это будет… тогда, после войны… Неужели когда-нибудь все люди, все до одного будут довольными, счастливыми?.. Может это быть, по-твоему?

— Да, — твердо сказал Василий, — я верю, что так будет и очень в скором времени, совсем скоро.

— И все люди будут равны, все будут честными, — уже не спрашивая, а утверждая, говорила Надежда, — никто не будет командовать другим, никто не будет говорить неправду, не будет заискивать, лицемерить… Ведь это все от того только, что жизнь уродует людей… Совсем другая будет жизнь, и ради этого умереть не жалко… Королев, а чего бы ты больше всего хотел в жизни?

— Очень многого и для себя и для тебя…

— Королев, ты опять за свое…

— Нет, ты не поняла. Я говорю просто так, по-товарищески. Больше всего в жизни я хочу иметь волшебную палочку. Я бы тогда все смог: прекратить войну, накормить голодных…

— Ужас, Королев, какой же ты марксист? Это же сплошной

идеализм, что ты мелешь?

— А знаешь, Надежда, что я видел в жизни самое, самое красивое?

— Опять какую-нибудь глупость сморозишь?

— Твои волосы…

— Королев! Я тебя предупреждаю последний раз…

И тут раздался оглушительный звон разбитого стекла.

Василий и Надя вскочили на ноги, стояли, прислушиваясь. Из соседнего помещения доносился шум.

Вытащив левой рукой из кармана прохоровский браунинг, Василий сунул его Надежде, достал наган из кобуры, стараясь ступать бесшумно, двинулся к белой, двустворчатой двери, которая вела из гостиной в соседнюю комнату.

Василий остановился возле нее, приложил ухо. Послышались приглушенные голоса, шаги. Ударом плеча Василий настежь распахнул дверь и закричал:

— Стой! Руки вверх!

В тот же миг какая-то фигура выпрыгнула в окно. Василий выстрелил, следом выстрелила Надя. Василий бросился к окну и чуть не упал, наткнувшись на другую, скорченную фигуру, — кто-то спрятался, пригнувшись у подоконника. Схваченная и вытащенная к лунному свету, эта вторая фигура оказалась грязным, оборванным беспризорником.

— Кто такой?..

— Пусти… клифт порвешь… ой… дяденька, задушишь.

— Говори, зачем лез? Кто такой?

— Бло… Блоха… звать Блоха… отпустите, дядечка, я все скажу…

Но как только Василий отпустил его, Блоха отскочил в темный угол комнаты и закричал оттуда:

— Хрен скажу!.. Ребенка душить… Плеваю на тебе…

— Надежда, заходи с той стороны…

Когда Василий и Надя приблизились к нему, Блоха пригнулся к полу и тенью проскочил у них под руками.

— Окно… не давай ему выскочить в окно.

В темной комнате шла погоня за мальчишкой. Иногда кто-нибудь на миг появлялся в полосе лунного света и снова исчезал в темноте.

— Падла! — выкрикивал Блоха. — Плевал на вас! Тьфу, тьфу, тьфу… У меня слюна заразная! Тьфу, тьфу…

— Ой, — вскрикнула Надежда, — ты кусаться…

Вдруг Блоха оказался снова схваченным железной рукой Василия. И тотчас же без всяких переходов из уст мальчишки послышались жалобные стоны и мольбы:

— Дядечка, хорошенький, миленький… Ой, плохо мне, ой, упаду, я же припадочный, тетечка, заступитесь за меня, нехай меня отпустит… А!.. — вдруг дико завопил он. — А!.. Больно!..

— Последний раз — зачем лез?

— Нанялся я, дядечка, дорогой, нанялся… ведра подавать…

— Какие ведра? Говори!

— Честное босяцкое, я только подавать нанялся… дядечка, я поджигать не нанимался… только ведра… ой!.. с кирасином ведра…

— Ты что, гад, дом поджигал?

— Не я, честное босяцкое… три лимона… только ведра.

— Кто нанимал?

— Ой, товарищи, отпустите вы меня… Я круглая сирота…

— Будешь говорить?

— Буду, буду. Дворник он, дядечка, с самого этого дома…

— И это он в окно сиганул?

— Ага.

— А керосин где?

— Под окном, дядечка, хороший… Два ведра под окном.

— Ну, лезь туда, подай мне ведра и имей в виду: в случае чего — застрелю как собаку. Подашь и ползи обратно.

Блоха вылез сквозь разбитое окно. Василий, перегнувшись, следил за ним.

Показалось ведро, до краев наполненное маслянистой жидкостью. Василий принял его.

— Давай другое…

Теперь все трое сидели на кухне и пили кипяток. Весело потрескивал самодельный фитиль в самодельной лампе.

— Перестань чесаться… — говорила Надежда Блохе, — до чего же ты зарос грязью… согрелся?

— Ага. Хотите, тетенька Надежда, я вам нашу спою…

И, не дожидаясь ответа, Блоха вскочил с места, выхватил из кармана своего «клифта» две деревянные ложки, заколотил в них, выбивая мудреный ритм, прошелся какими-то странными прыжками по кухне и вдруг завопил дурным голосом:

У мине нет фигуры,
У мине нет лица,
Мине мама родила
Без посредством отца…

И снова пробежка по кругу с приседаниями под удары ложек, и снова «пение»:

Иссушил мине голод,
И мороз иссушил.
Ну, а я еще молод
И на все положил!

Трах, трах, трах — ложками, и поклон в сторону «публики».

— Ты где же выступаешь? — спросил Василий. — На барахолке, что ли?

— Не. Я по вагонам. Ездишь, понимаете, воля.

— Может быть, ты уже наездился? — сказала Надежда. — Иди жить ко мне. Дом у нас маленький есть. Пустой. Тебя вымыть хорошенько да на фабрику устроить…

— Ой, за что это меня на фабрику? Смотрите, дядечка, смотрите!

Блоха вращал колесико в углублении стены, и там появилась сверху площадка кухонного лифта, которая, видимо, осталась между кухней и столовой.

На площадке стоял большой поднос, на нем… блюдо, а на блюде, окруженная гарниром, целая, нетронутая, жареная курица…

НОВЫЕ ХОЗЯЕВА

Во дворе бывшего особняка и в самом доме было великое оживление. Одни женщины разгружали с подвод маленькие кроватки и столики, другие мыли полы в помещениях, готовых к приему детей, поварихи в белых халатах (где только удалось их достать) приводили в порядок кухню.

Светило зимнее солнышко, и оттого все в доме казалось радостным.

Надя надевала старую свою кофту.

— Опять насчет дров, Надежда? — обернулась к ней мужеподобная женщина, распоряжавшаяся разгрузкой.

— Да, Глафира Ивановна, без дров не вернусь.

Глафира взяла в руку Надину косу.

— Тяжело небось эдакую красоту носить? Но до чего ж хороша.

— Я ее, Глафира Ивановна, и не чувствую, — улыбнулась Надя, накрылась платком и пошла к выходу.

Но, не дойдя до двери, вдруг остановилась, схватившись рукой за стену.

— Ты что, Надя?

Надежда молчала, стояла, прислонясь к стене, закрыв глаза.

Глафира подошла к ней.

— Водички дать?.. Что с тобой?..

Надежда медленно открыла глаза.

— Ничего… Голова как-то странно… Смешно, чуть не упала… Ничего, прошло.

И она вышла из дома.

Навстречу по дорожке шел Василий с вещевым мешком в руке.

— Где пропадаешь, Королев?

— В деревню посылают… возвращать рабочих, звать на фабрику… Вот попрощаться к тебе пришел… А где кожанка? Что случилось? Неужели… неужели Блоха?

Надежда кивнула головой.

— И сам исчез.

— Вот так перевоспитала… кажется, столько возилась с ним…

— Самое тяжелое было отмыть да отстирать его… — улыбнулась Надежда.

Они вышли за ворота, остановились.

— Что-то голова у меня сегодня прямо раскалывается… — сказала Надежда. — Ну, что ж, Королев, поезжай. Дело нужное. Без мастеров фабрику не пустим…

Она подала Василию руку.

— Вернешься — заходи, Королев.

И Надежда пошла вдоль улицы, а Василий смотрел ей долго вслед, и был миг, когда он тревожно нахмурился, ибо ему почудилось, что Надежда пошатнулась.

— Сегодня приема нет, — сказала секретарша, не отрываясь от книги, лежавшей в полураскрытом ящике стола, — начальник не принимает… Позвольте, куда вы…

Секретарша вскочила со стула, пытаясь преградить дорогу к двери, на которой было написано: «Нач. управления».

Оттолкнув секретаршу, Надежда распахнула дверь, вошла и захлопнула ее за собой.

— Это что такое? Что вы делаете? — удивленно спросил начальник, видя, как Надежда повернула в дверном замке ключ, вынула его и сунула в карман своей кофты.

Снаружи барабанила в дверь секретарша и визжала: «Я не пускала ее! Михаил Михайлович, я ее не пускала!»

До появления Надежды начальник читал газету. Она и сейчас еще была у него в руках.

На начальнике был новый френч, галифе и мягкие сапоги.

Бритоголовый, что называется, «размордевший» человек был этот начальник. Очки казались чем-то чужеродным на его широкоскулом, грубом лице.

— Почему врываетесь? Что вам угодно? — сказал он, обращаясь к Надежде.

— Мне угодно, чтобы ты подписал ордер на дрова… Мне угодно… довольно меня мурыжить… две недели хожу…

— Извините, на каком основании вы мне тыкаете? Мы, кажется, вместе свиней не пасли.

В глазах Надежды мелькали искорки безумия. Она приближалась к столу начальника.

— …у меня дети… — говорила она, — без ордера не уйду… не уйду…

— Попрошу вас прежде всего оставить мой кабинет…

— «Мой», «мой», — бормотала Надежда, — я тебе покажу «мой»… окопались… враги… бюрократы проклятые…

Начальник пытался снять телефонную трубку, нажимал на разные звонки.

— Я вам принципиально ничего не дам, понимаете — принципиально… Стойте, стойте… Ты что, с ума сошла!

С криком «Засели, сволочи!» Надежда схватила со стола чернильницу и запустила ее в начальника.

Ее глаза блуждали, на губах выступила пена.

Она пошла прямо на застывшего в кресле, облитого чернилами начальника.

— Я тебе сейчас глаза выцарапаю… — шипела она.

И начальник машинальным движением снял с носа очки, но в следующее мгновение он вскочил с кресла, побежал от Надежды крича:

— Спасите! Сумасшедшая!

Надежда гналась за ним.

Они бежали по кабинету, опрокидывая мебель, срывая портьеры с окон. Надежда кричала: «Убью… засели… мерзавцы… дети… холодные»…

Начальник выказывал незаурядную прыть, увертываясь, прячась за стульями, подпрыгивая.

Он уже кричал не слова, а просто вопил одно только «а-а-а»… И вдруг Надежда остановилась. Остановилась и рухнула на пол.

В то же мгновение распахнулась под натиском сотрудников дверь. Они ворвались и стали, видя лежащее на полу тело.

Тяжелая, прекрасная коса разметалась на полу, как бы продолжая движение, как бы еще летя за Надеждой.

ТИФ

Иногда сухие цифры бывают трагичнее всяких слов. Сотни и сотни тысяч погибали от тифа. Ослабленный голодом, холодом, человеческий организм не мог сопротивляться… Страшные, черные цифры…

Больничные бараки, палаты, палаты… Вот кому-то закрыли лицо простыней, вот санитары с завязанными лицами — только глаза видны — несли трупы, складывали трупы на телеги. Вот упал врач в коридоре больницы, и его понесли в палату. Спала за столиком, положив голову на руки, измученная медицинская сестра; кричал в бреду и рвался из рук санитаров худой, как сама смерть, больной… Детские гробы стояли в ряд на снегу.

Забиты были трупами морги.

Братские могилы, бесконечные братские могилы засыпали мерзлой землей, над ними ставили беспомощные фанерные дощечки, выгружали трупы из вагонов, несли на носилках… Билась в истерике женщина над мертвецом. Стояли недвижимо осиротевшие дети.

Больничный коридор был так забит тифозными, что персоналу приходилось продвигаться между койками и топчанами зигзагом, переступать через людей, лежащих на тюфяках, брошенных прямо на пол.

В палатах было не лучше. Койки стояли впритык одна к другой. В проходах, у простенков — всюду лежали больные на полу, на худых соломенных тюфячках.

Окна были затянуты наледями. С одной из коек уносили умершую женщину. На соседней лежала Надежда.

Нужно было внимательно присмотреться, чтобы узнать ее. Наголо обрита голова, закрыты глубоко ввалившиеся глаза. Лихорадочный румянец на заострившихся скулах.

Надежда не видела ни как унесли ее соседку, ни как положили другую женщину на ее место.

— Довольно я навалялась по вашим коридорам — ворчливо говорила эта новая женщина санитарам. — Вам только дай человека уморить… хлебом не корми…

И, когда шатающиеся от усталости, с воспаленными бессонницей глазами санитары отошли, женщина стала бойко шарить взглядом по палате.

— Ох, и стянуло тебя, мать, — говорила она, обращаясь к старой женщине, что лежала у окна. — Я хоть тебя прежде не знала, а вижу — стянуло, одни кости остались… Да на ихнем питании разве поправишься?.. Нет, не жилец ты, мать, не жилец…

Надежда все так же лежала, закрыв глаза, мучительно сжав брови, перекатывая голову из стороны в сторону. По временам с ее губ срывался стон.

Вдруг она заговорила, да так ясно, ясно, как бы и не в бреду:

— …крысы… съедят нас, товарищи, смотрите, сколько…

Врач, обходя больных, остановился, покачал головой.

— Бредить… — покачала головой новая соседка Надежды, — нехорошо бредить… не жилец она… нет, не жилец…

А Надежда поджимала ноги, дрожа, натягивала одеяло к подбородку.

— …товарищ Ленин… смотрите, крысы, страшные… всюду, всюду… съедят нас.

Таисия Павловна, со сверточком в руке, стояла перед начальником госпиталя.

— Нет, — отвечал он ей, — мы никого не пускаем. Никаких исключений.

— Хоть скажите, как она — поправится?

Смертельно усталый начальник потер рукой лоб, посмотрел каким-то тусклым взглядом в сторону, забыв о собеседнице.

— Доктор, дорогой, надежда хоть есть у вас?.. — еще раз спросила Таисия.

Начальник взглянул на нее, вспомнил, о чем речь.

— Что я могу вам ответить? Что я могу знать?… Посылочку вашу положим ей, но прямо говорю — зря, зря… без сознания ведь…

За спиной врача пронесли носилки с покойником.

— Простите, мадам, я, кажется, немного устал… черт вас побери, — сказал врач.

Он пошатнулся, и Таисия Павловна едва успела подхватить его, усадить на скамейку.

Он сидел, откинувшись к стене, с закрытыми глазами.

— Товарищи! Скорее на помощь, скорее… — звала Таисия Павловна молодого врача, проходившего невдалеке.

Врач поспешно подошел, посмотрел на начальника госпиталя и сказал:

— Заснул… Десять суток на ногах, не прилег ни на минуту, пусть спит…

Медицинская сестра прошла по палате и остановилась у койки, на которой металась в бреду Надежда. Сестра покачала головой и, приподняв подушку, положила под нее сверточек — тот самый, что был в руках у Таисии Павловны.

— Сестрица, сестрица, плохо мне, — стонал кто-то в другом конце палаты.

— Водички испить… — звал другой голос.

Как только она отошла, соседка Надежды, посмотрев сестре вслед, осторожно протянула руку, оглянулась по сторонам и

вытащила сверточек из-под Надеждиной подушки.

Затем она накрылась с головой своим суровым одеялом, после чего одеяло ходуном заходило, видимо оттого, что женщина разворачивала сверток и поспешно поедала его содержимое.

Неожиданно Надежда заговорила, и соседка замерла под своим одеялом. Но это был снова бред, и под одеялом возобновилась возня.

— …с детства еще люблю… самый мой близкий… дорогой… — шептала Надежда. — Не знала раньше, что можно просто взмахнуть крыльями и лететь…

А на соседней койке под одеялом все возилась и возилась соседка Надежды.

Прошло две недели с того дня, как заболела Надежда.

Светило зимнее солнышко. К воротам Трехгорки, грохоча, подкатил и остановился старый, едва живой грузовик, который был когда-то добротным «паккардом». Сейчас это было движущееся нечто, сцепленное из самых различных частей.

Вместе с Василием из кузова, опираясь ногой о лысую покрышку, вылезали вернувшиеся из деревни с семьями рабочие. Пока шла разгрузка, Василий пробежал через проходную и, крикнув на ходу дежурному: «Леоныч, принимай людей», оказался во дворе фабрики…

Двора не узнать — сотни людей заняты были различными делами, перевозили грузы, очищали двор от снега и мусора, стеклили рамы цеховых зданий, ссыпали уголь в ямы котельной…

Кажется, все пришло здесь в движение.

Василий остановился, любуясь этим зрелищем, освещенным ярким солнцем, сдвинул от удовольствия папаху на затылок.

— Ну как, Королев, успешно съездил? — спросила его, подойдя, Таисия Павловна.

Вместо ответа Василий, улыбаясь, показал большой палец.

— Вот и хорошо. А мы договорились в райкоме — выдвигаем тебя, будешь большим человеком. Смотри, брат, не заважничай… А что это у тебя за мешок? Не поросенок, часом?

— Это… — несколько смутившись, отвечал Василий, — валенки для Нади… для Надежды Филимоновой.

— Беда ведь у нас, Королев… Надя-то… в тифу лежит… совсем плохая…

Василий, уронив мешок, схватил ее за руку:

— Где? Где?

— Да в больнице во Второй лежит.

Василий резко повернулся, побежал к проходной.

Огорченно покачав головой, Таисия Павловна подняла

мешок, пошла к конторе.

А Василий бежал вверх по крутой пресненской улице, заставляя себя останавливаться, и, передохнув, бежал дальше.

Редкие прохожие спешили по своим делам. Иногда проезжали крестьянские розвальни, влекомые тощей лошаденкой. Из тулупа едва выглядывал кончик носа возницы.

У ворот какого-то завода замерзшие музыканты нестройно играли марш. Уходили на фронт отряды добровольцев.

— Нет, нет, вы шутите, молодой человек, — говорил Василию все тот же начальник госпиталя, — у нас строжайший карантин.

— Но, товарищ начальник…

— Не может быть и речи. Тут уже приходили к ней с фабрики, но мы даже официальных представителей не впустили.

Василий загородил собою дверь, куда собирался выйти начальник.

— Доктор… неужели вы не понимаете?.. Я прошу вас… ну, просто по-человечески.

— Милый мой молодой человек, — отвечал начальник, положив руку на плечо Василию, — я понимаю вас, поверьте, но и вы поймите меня… Я уже стар, и мне хочется всем делать добро… Но на это я просто не имею права… И я на буду от вас скрывать — Филимонова в крайне, крайне тяжелом состоянии… Перенесет ли кризис?.. Будьте готовы к худшему…

Василий молча повернулся и вышел.

Он постоял перед больницей, глядя на окна второго этажа, потом направился в воротам. Остановился на полпути и пошел обратно.

Обогнув здание, Василий обнаружил со стороны двора входную дверь с надписью «Завхоз» и открыл ее.

Среди гор белья сидела за столом седенькая старушечка в белом халате.

— Товарищ завхоз, вам не нужны санитары?

— Санитары?.. — переспросила она. — Как так не нужны?.. Да мы, голубчик, просто погибаем, так нам людей не хватает.

— Вот возьмите меня, пожалуйста, я хочу к вам… санитаром.

— С радостью, голубчик мой, но как ты, извини меня, с одной рукой управишься? Ведь у нас работа тяжелая… и грязная работа. Судна таскать, больных носить, полы мыть… и ведь мы заразные…

— Я справлюсь, не беспокойтесь.

Ночью в мужской палате было еще беспокойнее, чем днем. Кто-то кричал в бреду, кто-то рвался бежать.

Василий мыл пол, ползая, передвигая койки и тюфяки. По временам он прерывал это занятие, идя на зов какого-нибудь больного, помогал повернуться, носил судна, подавал поильники, успокаивал того, что рвался и хотел бежать… И снова брался за ведро и тряпку.

Василию удавалось переворачивать больных единственной рукой не хуже, чем двумя.

Под утро в палате стало тихо. Уснули даже самые беспокойные больные. И Василий, оставив свой пост, прошел по коридору между лежащими на полу больными и поднялся на второй этаж, в женское отделение.

Он шел из одной палаты в другую, вглядываясь в лица спящих женщин. Дежурная медсестра спала за столом.

Она подняла на миг голову, посмотрела на Василия и снова уснула. Он прошел в следующую палату.

Здесь все спали. Надежда лежала неподвижно на спине, голова откинута назад, подбородок слегка поднят.

Василий смотрел на нее с нарастающим страхом. Казалось, Надежда не дышит, казалось, черты лица ее заострились, как у мертвой.

С ужасом бросился к ней Василий, рванул рубашку, приложил ухо к груди. Страх мешал ему слушать, он дрожал, как в лихорадке. Наконец ему удалось взять себя в руки, он плотно прижал ухо к телу.

По широко раскрытым глазам Василия можно было все узнать. Можно было видеть, как напряженное ожидание сменилось надеждой — ему почудилось, что он услышал что-то… потом удар, еще удар сердца услышал он, еще, еще… Оно билось слабо, слабо, но билось.

Надя спала.

Василий отодвинулся, закрыл рубахой обнажившуюся девичью грудь, завязал тесемки, подтянул одеяло.

Он встал, отер рукавом взмокший лоб и смотрел на Надежду, на измученное ее лицо, обритую головку, прозрачную руку, лежащую на одеяле.

Долго стоял Василий и смотрел на Надежду.

МАТЬ

— Спасибо, товарищ комдив, — сказала Вера Филимонова, пожимая руку седому военному и выходя из машины, — я не опоздаю. К шести буду у эшелона.

Остановился этот «бенц» на высоких колесах со спицами на

крутой улочке, у калитки дома Филимоновых.

«Бенц» укатил, а Вера Степановна подошла к забору, положила руку на калитку, да и стояла так, не спеша открыть ее.

Была она в кожаной фуражке со звездочкой, в кожаной тужурке, перепоясанной поясом и портупеей, с кобурой нагана на одном боку и полевой сумкой — на другом. Из-под юбки видны были грубые солдатские сапоги.

Постояв немного, Вера Степановна вошла в палисадник и подошла к дому. На снегу, на дорожке видны были следы чьих-то ног.

Привычным движением Вера Степановна протянула руку и достала из-за наличника ключ. Однако дверь оказалась не запертой. Вера Степановна вошла и остановилась. Из комнаты доносились голоса.

— Сука позорная, клади крести на стол…

— Да нема у меня крестей… На, смотри, есть у меня крести?

— Затолкал? Гнедой, погляди, не затолкал этот чмур карту под стол?

Вера Степановна открыла внутреннюю дверь.

Комната была полна густого табачного дыма. Несколько грязных беспризорников расположились кто как. Четверо резались за столом в карты, двое валялись на кровати, пытались сыграть на гребешках какой-то мотив. Один, сидя у стенки на корточках, искал вшей в рубахе.

Появление Веры Степановны не вызвало никакого переполоха, каждый продолжал заниматься своим делом.

— Между прочим, здравствуйте, — сказала Вера Степановна.

— Здорово, тетка, — сплюнув и затушив ногой окурок, ответил один из игравших в карты, по кличке Гнедой. — Чего тебе тут требуется?

— Это я вас могу поспрошать, чего вы тут делаете. Это мой дом, между прочим.

Однако и это заявление не произвело никакого впечатления.

Тогда Вера Степановна подошла к столу и резким движением смахнула с него на пол карты и деньги.

— Ты что? Ты что? Всю игру поломала, мы два дня дуемся…

Вера Степановна схватила за шиворот Гнедого. Да так схватила, что Гнедой присел.

— А ну отвечай, Надежда где? Где моя дочь?..

Видя решительность военной тетки, беспризорники всполошились. Те, что валялись на кровати, соскочили с нее. Остальные сгрудились вокруг Веры Степановны, заговорили наперебой:

— Нас Блоха сюда завел… мы не сами…

— Какая блоха? Что вы мелете?

— Блоху тетя Надя взяла к себе жить…

— А Блоха у ей кожанку стырил…

— А потом Блоху тифом скрутило, он нам велел кожанку тете Наде вернуть — вон она, кожанка…

— А Блоха помер. Его когда карета забирала, он уже жмурик был… холодный.

— А нам велел дом сторожить и тете Наде что надо помочь, ежели она живая вернется…

— Что? Что ты говоришь? Откуда вернется? Где она? Ну, говорите же, говорите… ради бога, говорите…

— В тифу лежит…

— Тиф у нее, у тети Нади…

— Тиф!.. Господи, господи, боже мой… Наденька…

И снова, в третий раз начальнику госпиталя пришлось отвечать.

— Не могу, — говорил он Вере Степановне, — даже несмотря на то, что вы сегодня возвращаетесь на фронт… Но, позвольте, я же вам не разрешил… — удивленно говорил он вслед Вере Степановне, в то время как она, не обращая на него больше внимания, распахивала дверь, входя в госпиталь.

Врач безнадежно махнул рукой и поплелся следом за ней.

Первым же, кого увидела Вера Степановна в коридоре больницы, был Василий.

— Королев?.. Ты тут?.. Почему?..

— Пойдемте, Вера Степановна, проведу вас… — сказал Василий, но, увидев подошедшего начальника, вдруг нагнулся, как бы ища что-то под ближайшей койкой.

Врач уловил этот маневр, приблизился к Вере Степановне и стал ждать.

Пришлось Василию подняться.

— Так, так, — произнес врач, — оказывается, вы, молодой человек, все-таки проникли в госпиталь…

— Он у нас самый старательный санитар, Николай Михайлович, — сказала медсестра, собиравшая у больных термометры.

— Гм… гм… санитар… Ну, что ж делать… пройдемте к больной.

И все трое — врач, за ним Вера Степановна, потом Королев — стали подниматься по лестнице на второй этаж.

Надежде, видимо, было трудно дышать — она жадно, коротким вздохом хватала воздух. Щеки ярко горели. Взгляд блуждал из стороны в сторону.

— Кризис приближается, — сказал врач, — посмотрим, посмотрим…

— Доктор, — стонала женщина у окна, — помогите, доктор…

И врач отошел к ней.

— Не жилица она, — раздался за спиной у Веры Степановны голос, — нет, не жилица…

Вера Степановна, окаменев, стояла над постелью Надежды.

Она — Вера Степановна — странно выглядела здесь в своем военном виде, с портупеями и наганом.

— Товарищ комиссар, — обращалась к ней все та же Надина соседка, — не жилица эта девушка… Я столько видела, сразу узнаю — кто одюжает тиф, а кто не одюжает…

Василий повернулся и так посмотрел на женщину, что она вдруг умолкла и юркнула под одеяло.

Вера Степановна наклонилась, нежно провела рукой по Надиной головке, сказала тихо:

— Коса…

Погладила по щеке, сказала еще — «доченька моя», взяла тоненькую руку, поцеловала. Потом поднялась, не глядя на Василия, сказала:

— Беда какая, Вася… А мне уезжать. Через час состав… Беда какая…

Вера Степановна достала из кармана куртки нечто, плотно завернутое, развернула, показала Василию.

— Вот… сала кусочек.

— Положите под подушку, Вера Степановна. Поправляться станет, поест…

И Вера Степановна снова завернула сало в тряпочку и сунула дочери под подушку.

Поцеловала. Ушла.

И была ночь. Ночь кризиса. Луна ярко освещала палату. Бело-голубые полотнища лунного света рассекали ее на несколько частей.

Надежда металась и кричала. То это был просто крик ужаса, то с уст ее срывались слова:

— Спасите!.. Огонь!.. Все горит… Вот идут… скорее…

Воровато оглянувшись по сторонам, соседка протянула руку к Надиной подушке. И вдруг застыла в страхе — прямо перед ней за окном появилось чье-то лицо… Замерла соседка, так и замерла с протянутой рукой.

Но вот лицо исчезло. Почудилось, что ли?.. Подождав насколько и настороженно поглядывая на окно, соседка все же руку сунула под подушку, достала сверточек, оставленный

матерью, и убрала к себе, накрывшись с головой одеялом.

Надежда пыталась подняться, но у нее не хватило сил. Василий вошел в палату, бросился к Надежде в то мгновение, когда она, скинув одеяло, все же вставала с койки.

Он с трудом уложил ее, укрыл.

Но Надежда все металась в жару, все звала на помощь и вдруг затихла и так ясно-ясно сказала:

— Как страшно. Остаешься перед смертью один… никого вокруг, ты и смерть… ты и смерть…

И ВСЕ-ТАКИ НАДЕЖДА ВЫЖИЛА

Было раннее утро. За окнами светило солнышко, падал снежок. Надежда открыла глаза. Открыла и смотрела прямо вверх, на потолок. Потом во взгляде мелькнуло что-то, какая-то мысль, недоумение… Чуть сдвинула брови. Старалась вспомнить, где она, что произошло с ней.

Медленно перевела взгляд ниже, увидела палату, койки, больных… потом увидела окно, снег за окном, солнце…

И вдруг во всю мощь медных труб, литавр и барабанов ударила музыка.

По улице шла воинская часть. Оркестр играл марш — один из тех, что в те великие годы вел за собой раздетую, голодную армию победителей. Но это был не просто марш. Это была победная, торжествующая, счастливая музыка жизни, жизни!

Слабая улыбка появилась в глазах Надежды. Она подняла похудевшую руку, поглядела на нее и снова улыбнулась.

Гремела, гремела музыка.

Вдали, в глубине палаты, оставаясь незаметным для Надежды, стоял Королев и издали смотрел на нее…

А по улице проходил полк. Женщины провожали мужей, сыновей и отцов. Рядом с красноармейцами торопливо шли они, говоря последние слова напутствия и прощания.

И дети бежали рядом, с трудом поспевая за шагом отцов и братьев. Лица уходящих на фронт были суровыми и отрешенными, люди чувствовали себя уже там, далеко отсюда…

По водосточной трубе спускался с крыши ко второму этажу беспризорник Гнедой.

Он осторожно ступил на карниз и, держась за стену, за каждый малейший выступ, пошел по карнизу, добираясь до третьего окна от угла.

Внизу во дворе стояли пятеро беспризорников и переживали все перипетии опасного путешествия Гнедого.

Добравшись до нужного окна, Гнедой прижался к стеклу и, расплюснув нос, заглянул в палату.

Видимо, его появление было уже не первым и стало привычным. Надежда улыбнулась, помахала рукой. Голова Надежды была теперь повязана марлевой косынкой.

Гнедой ловко подтянулся к открытой форточке и забросил прямо на одеяло Надежде сверток.

— Спасибо, Гнедой.

— Ни хрена. Ну, я пошел.

Гнедой осторожно стал эвакуироваться.

Надежда развернула сверток — в нем было целое богатство: краюха хлеба, кусок колбасы, две воблы.

У окна лежала девочка-подросток лет двенадцати — видимо, тоже выздоравливающая. Она неотрывно наблюдала за тем, как Надежда разворачивала сверток.

— Половина твоя, — сказала Надежда. И это тоже, видимо, было привычно. Девчонка вскочила, подбежала. Но Надежда сама не начинала есть и девчонке ничего не давала.

Подошли санитары и стали убирать покрытый простыней труп женщины с соседней койки, той самой, что добывала сверточки из-под чужих подушек.

Надежда и девочка смотрели вслед носилкам.

И НАСТУПИЛ ДЕНЬ!..

Звенела капель. Солнце ослепляюще отражалось в лужах, в окнах домов, в окнах бегущих трамваев.

Повязанная платочком, похудевшая Надежда выходила из больницы. В ушах ее висели «цыганские» серьги. Она их, видимо, стеснялась и оттого неловко улыбалась.

Василий ждал на улице. Он бросился к Надежде, обнял левой рукой, и Надежда прижалась к нему.

— Как же ты пришел… ведь сегодня фабрику пускают…

Оказывается, и такой текст может звучать как признание в любви, если так смотреть в глаза, как смотрела Надя, если с такой радостью улыбаться.

— Боже мой, какой же я была идиоткой!

— Не смей ругать мою любимую женщину, — строго говорил Королев.

— Нет, ты подумай, подумай только! Так бы и умерла, ничего тебе не сказав.

— А я сам знал.

— Что ты знал?

— Все знал.

— И все-таки, я хочу тебе сказать, Королев, я тебя люблю, слышишь? Я тебя люблю, Королев.

— И я люблю тебя. Ты это знаешь.

— Королев…

— Что?

— Ничего. Просто хочу говорить: Королев, Вася, Василий, Королев. Ты Королев, и я тебя люблю. Какое счастье, что ты есть на свете, Королев. Дура, дура, дура я. Дура, набитая дура. А ты Королев, и я тебя люблю. Ты, может быть, возражаешь?

— Нет, я не возражаю. Я согласен. Люби меня, я согласен.

— Ничего, что я серьги надела?

— Не «ничего», а прекрасно.

— Это я для тебя. Сейчас сниму, а то увидят — засмеют — комсомолка с серьгами… правда, исключат еще чего доброго…

Они пошли по улице, и все, что видели вокруг, было прекрасно.

Прекрасна была бойкая извозчичья лошадка, заехавшая, испугавшись автомобиля, на тротуар.

Прекрасны были деревенские ходоки, недоуменно оглядывающие городские дома и вывески.

Прекрасен был слон, настоящий слон, шлепающий по весенним лужам. И плакаты на боках слона, кричащие о новом цирковом представлении, тоже были прекрасны.

И собачонка, истинная Моська, лающая на слона, и мальчишки, пускающие извечный кораблик по синим лужам, отражающим небо, и старенькая бабуся, что сурово грозила забравшимся на дерево мальчишкам, и тележечник, въехавший с размаху в лужу и обдавший водой важную даму… Все было прекрасно в этот прекрасный день.

— Все равно, Королев, ты меня разлюбишь… Вот смотри…

Надя остановилась и, сдернув с головы платочек, улыбнулась. У нее были только чуть-чуть отросшие, коротенькие волосы, как у стриженного недавно мальчишки.

На взгляд автора, она была прекрасна.

И на взгляд Василия — тоже.

— Ты самая красивая на свете, — сказал он, — ты похожа на ангела, честное слово!

— Ты не марксист, Королев, а идеалист, что ты только мелешь! Какие ангелы! — смеялась она. — Ты не марксист!

Они подошли между тем к Прохоровскому особняку. За оградой и в самом доме теперь бегали, кричали, смеялись дети, и крик их разносился по всему саду, по всей улице.

Вдруг из дверей, как рой пчел из улья, вылетела стая

детворы.

Звон их голосков, хохот, оклики нянечек, крики взлетевшей стаи птиц, напуганной этим буйным нашествием детворы, — все слилось в радостный весенний гомон.

— Твои… — сказал Василий.

— Наши, — ответила она, — особняк мы вместе реквизировали.

Мужеподобная женщина — Глафира Ивановна, заметив Надежду, бросилась к ней.

— Наденька! Родная! Слава тебе, господи! Воскресла! Воскресла наша Надечка! Пойдем, принимай дом, посмотришь, что сделали…

Но Надежда, расцеловавшись с ней, сказала:

— После, Глафира Ивановна, я сейчас на фабрику. Ведь пускают ее сегодня. Праздник какой…

И вот снова шли Надежда и Василий — веселые, счастливые, то и дело переглядывались.

Шли и вдруг, завернув за угол, остановились.

Перед ними была Трехгорка.

Надежда стояла и смотрела, как в ворота фабрики въезжали грузовики, как шла смена, входили в проходную рабочие…

Потом Надежда подняла голову и увидала, что из труб Трехгорки поднимается дым.

И тогда она заплакала.

Василий не тревожил ее.

Вытирая глаза кончиком платка, Надежда сказала:

— Посмотрела бы мама…

Они пошли дальше.

— Когда же кончится эта война проклятая, когда они нас оставят в покое…

Надежда стояла в цеху, среди других ткачих.

— Товарищи, — говорила Таисия Павловна, секретарь комячейки, — большой у нас сегодня праздник. Своими руками восстановили мы Трехгорку, и сейчас она начнет жить не как Прохоровская, а впервые как наша собственная, народная, советская Трехгорка. А ну, товарищи, включайте!

И заработали, загрохотали ткацкие станки.

По лицам женщин можно было понять, какое это для них событие, сколько страданий, сколько горя оставлено позади, какое счастье этот сегодняшний день.

Работницы обнимали друг друга. Кто плакал, кто смеялся.

А Надежда и Василий стояли рядышком счастливые, и не видели они, как в цех вошел молоденький красноармеец с

узелком в руке и обратился к старой ткачихе, стоявшей у дверей.

— А кто тут будет у вас Филимонова Надежда? — спросил он.

Старая женщина показала ему туда, где стояла Надя, но, что-то заподозрив, спросила:

— Ты зачем это? Что за дело?

— Товарищ Филимонова — комиссар наш, а мать ихняя — в бою убита… Вот узелок велено отдать…

И он пошел по направлению к Надежде.

А она стояла счастливая, рядом с Василием, среди веселых женщин, радующихся празднику, не видя, как приближается к ней молоденький боец с узелком в руке.

Глава третья
ЛЮБОВЬ

Год 1941

Во дворе Трехгорки собирались ополченцы.

Надежда и Королев стояли несколько в стороне.

Прошедшие двадцать два года прорезали морщинки в уголках Надиных глаз, и волосы ее немного поседели. Но с такой же любовью смотрела она на своего Королева. С любовью и тревогой.

Она поправляла на нем телогрейку, заправила пустой рукав за пояс.

В левой руке Королев держал свой вещевой мешок.

Вдали кадровый офицер проверял списки уходящих с отрядом народного ополчения на фронт.

— Мне было хорошо с тобой… — тихо сказала Надежда.

— Почему «было»? Почему в прошлом времени? Главное ведь впереди, лучшая часть нашей жизни, Надя, еще впереди…

— Да, да, конечно. Но я хочу, чтобы ты знал, родной, я была счастлива.

— Мы были счастливы. И будем счастливы. И будем вспоминать войну как эпизод, как прошлое… вот только ужасно, что я не смог проститься с Любой. Ты объясни ей, скажи, что очень люблю ее, что скоро вернусь к вам…

Послышалась команда: «Становись!»

Надежда обняла Королева, поцеловала его, и он ушел, стал в строй.

— Шагом марш! — скомандовал офицер, и отряд двинулся в путь.

Две работницы, тоже проводившие мужей, стояли рядом с Надеждой.

— Как же так… — сказала одна из них, — ведь не брали Королева из-за руки.

— А он вот в ополчение политруком… А Люба где же? Надежда, где дочь-то?

— Не знаю, девочки, ничего не знаю… — Надежда отвернулась, вытирая слезы.

«Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!»

Выли сирены. Дежурные ПВО торопили прохожих, заставляя

их спускаться в бомбоубежище. Машины пришвартовывались к тротуарам. Водители, пассажиры входили в подъезды и в подворотни домов. Женщины с детьми спускались в подземные станции метро.

Пустели улицы Москвы.

Алеша — длинноногий, нескладный парень — пилотка набекрень, два «кубаря» в петлицах — держал за руку Любу, которая внешне была совершенным повторением матери. Они перебегали от дома к дому, прячась от дежурных ПВО.

Все казалось им смешным. И то, что сердитый дежурный кричал им что-то грозное вслед, размахивая руками, и то, что у фонарного столба стоял небольшой пес, подняв ногу. И то, что запоздавшая крохотная старушенция крупными, мужскими шагами переходила улицу. А то и просто так они начинали смеяться.

Иногда, вдруг став серьезными, они смотрели друг на друга тем счастливым взглядом, в значении которого невозможно ошибиться.

Окна домов были заклеены накрест полосками бумаги.

Проходя мимо подъездов и подворотен, Алеша заглядывал в них — нет ли тут укромного уголка, чтобы спрятаться с Любой на миг от взглядов прохожих.

Вот, кажется, подходящий подъезд…

Они вошли, но Люба оттолкнула Алешу, и он увидел такую же парочку — солдата с девушкой, которые уже «заняли площадку» — стояли в углу и целовались.

Выскочили Алеша с Любой на улицу, рассмеялись и пошли дальше, держась, как дети, за руку.

Они проходили мимо аптеки, булочной, отделения милиции… все места не подходящие для них…

Наконец какая-то, казалось бы, нейтральная подворотня.

Но только они ступили за ворота, как раздался окрик:

— Стой, кто идет!

Пулей выскочили они и из этого «объекта» и пошли дальше.

Но снова завыли сирены.

«Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!».

Опустели улицы Москвы.

Алеша и Люба, держась за руку, перебегали от дома к дому.

Но вот — свисток решительного милиционера, и им пришлось войти в подъезд.

— Ни души! — закричала радостно Люба и бросилась к Алеше.

Теперь они смеялись от того, что милиционер устроил для

них удобное место, где можно было наконец спокойно обнять друг друга.

Когда послышались первые залпы зенитной артиллерии, они целовались. Люба стояла на лестничную ступеньку выше, чтобы быть ростом вровень с Алешей. Они продолжали целоваться, слыша, а может быть, и не слыша оглушительный гром орудий. И уж во всяком случае не замечая компанию мальчишек, которая появилась снизу, из подвального этажа.

— …какой же это осколок… — говорил один из них, — вот у меня — гляди… видал?

— Вот это да… — значит, помните, мужики, как отбой — рассыпаетесь, ищите. И — смотрите — осколки горячие бывают…

Вдруг, заметив целующихся, он подал знак остановиться.

Мальчишки шикали друг на друга, подмигивали один другому, указывая на обнимающуюся парочку, прикладывали руку к сердцу, кривлялись. Ушастый пацан обнял стоящего рядом приятеля и продекламировал знаменитое мальчишечье:

Я вас люблю и обожаю,
За хвост беру и провожаю.

Ребята заржали.

Люба и Алексей кинулись было к выходу, но выйти было невозможно: прямо за дверью на улице стоял дежурный.

А пока что пацаны «пели» хором, как бы не замечая влюбленных, не обращаясь к ним:

Я вас люблю, вы мне поверьте,
Я вам пришлю свинью в конверте.

— Черти полосатые… — смеялся Алеша.

Один из пацанов присматривался к Любе:

— Стой, стой, это же наша, трехгорская… Любка Филимонова это. Я ее знаю. Матка моя у них уборщицей в цехе… смотри какая…

Выглянув еще раз на улицу и увидев, что дежурный отошел, Алеша сказал:

— Давай перебежим? Тут недалеко.

— Двинули, — ответила Люба.

И снова они бежали, по пустым улицам, под грохот зениток.

Сделав несколько перебежек, молодые люди взбежали по ступенькам и вошли в дверь, над которой была вывеска: «Краснопресненский исполком Совета депутатов трудящихся.

Отдел регистрации актов гражданского состояния».

У порога Алеша споткнулся, чуть не упав.

— Дурной признак, — улыбнулась Люба, — если б я не знала, какой ты неловкий, решила бы, что дурной признак.

СВАДЬБА

В помещении загса не было ни души, и это тоже показалось Любе и Алеше смешным. Таблички над столами извещали, какие именно гражданские состояния здесь регистрируются.

«Регистрация рождений», «Регистрация браков и разводов», «Регистрация смертей». Вся жизнь была уложена в эти разделы, и толстые книги отмечали этапы путей человеческих «от» и «до».

— Ушастик, давай сбежим, пока не поздно, — предложила Люба. — Зачем нам бумажка?

— Затем. Я иначе не смогу оформить на тебя аттестат.

— Да на что мне твой аттестат? Смешно.

— А я не для тебя, я для себя…

— Дурачок ты, дурачок. Как был всегда дурачком, так и остался.

Люба юркнула за стол браков и разводов, надела оставленные кем-то очки, строго взглянула на Алешу и густым басом спросила:

— Вы ко мне, гражданин? Разводиться? Па-азвольте, па-азвольте, я вас за последний месяц уже пять раз разводил…

На этом слове Люба осеклась, ибо в комнату входили сотрудники, а из репродукторов с улицы доносилось: «Угроза воздушного нападения миновала, отбой. Угроза воздушного нападения миновала…»

Высокая худая женщина, видимо, так до своих 50 лет не нашедшая счастья в любви, строго и недоуменно смотрела на девчонку, которая осмелилась сесть на ее служебное место и надеть на нос ее очки…

— Это что означает? — придя наконец в себя, спросила заведующая столом. Голос у нее был тонкий, от волнения срывающийся на фальцет.

Алеша с превеликим трудом удерживался от смеха, отворачиваясь, закусив губу. Любе ситуация не казалась такой уж смешной — ей было неловко. Она сняла очки, вышла из-за стола под недоуменными и недружелюбными взглядами служащих, сердито посмотрела на Алешу:

— Абсолютно ничего смешного.

Однако когда Алеша взглянул на нее, не удержалась и сама прыснула.

— Извините, — обратился Алеша к строгой заведующей, — мы зарегистрироваться.

— Но… — произнесла заведующая.

— Завтра мой эшелон… — уже серьезно и умоляюще негромко сказал Алеша.

Строгая старая дева посмотрела на него, на Любу и неожиданно улыбнулась доброй, умной улыбкой. Она села на свое место, сказала: «Подойдите к столу, граждане», — надела очки и обмакнула перо в чернильницу.

Алеша взял Любу за руку. Они подошли к столу и остановились. Заведующая взглянула на них поверх очков. Алеша был чуть не на две головы выше Любы.

Из бомбоубежища, вслед за служащими загса, поднимались посетители — те, кого здесь застала воздушная тревога. Они выстраивались в очередь у стола регистрации смертей и у стола регистрации рождений.

В загс вошли двое, оба в военной форме — совсем юная девчушка и такой же юный паренек. Они прочли надписи и направились было к столу регистрации браков.

Увидев, что заведующая занята, остановились, ожидая.

А заведующая спрашивала Любу:

— Какую фамилию оставляете?

— Свою, конечно, — Филимонова.

Заведующая заполнила последние графы. Приложила печати и протянула удостоверение.

— Поздравляю со вступлением в брак, — сказала она официально и добавила другим, «частным», голосом: — Ох, ребятушки, время-то какое… Ну, желаю, чтобы все хорошо… Следующие брачующиеся, подойдите к столу…

На спинке стула висела новенькая гимнастерка с двумя «кубарями» в петлицах, а поверх нее лежало ситцевое платьице.

В комнате филимоновского домика было полутемно. Слабый свет проникал только из прихожей — сквозь стекло над дверью.

У окна стояла чертежная доска. К ней был прикреплен незаконченный чертеж ткацкого станка. Рядом висела рейсшина.

Обнявшись, сладко, счастливо спали Люба и Алеша.

Черная тарелка репродуктора негромко передавала сводку.

Первым проснулся Алеша. Он улыбнулся, глядя на Любу.

Он долго смотрел, пока и Люба не открыла глаза. А, открыв, она изумленно поглядела на Алешу и, вдруг все осознав, бросилась, обняла, прижалась к нему.

Громкоговоритель все сообщал и сообщал грозные вести с фронта.

Горел свет — лампочка под матерчатым абажуром.

Люба и Алеша, уже одетые, стояли посреди комнаты, держась за руки. Они молчали. Разговор вели их сияющие глаза.

Потом Алеша спросил:

— О чем ты сейчас думаешь?

— О том, как мы вечно спорили с девчонками — что такое любовь? И никто не мог ответить.

— А теперь? Ты ответила бы?

— Конечно. Это когда просыпаешься и вдруг оказывается, что весь мир, все на свете сжалось, стало совсем маленьким — это просто один глупый человечишка. И ты думаешь: товарищи, да что же это такое происходит?..

Алеша обнял ее и шепнул на ухо:

— Навсегда?

— Навсегда… — тоже шепотом ответила Люба, — а ты?

— На всю жизнь.

— Послушай, — взяв Алешу за уши, сказала Люба, — ведь когда ты был маленьким, у тебя были громадные уши. Прямо лопухи какие-то. Куда же они девались?

Алеша пожал плечами.

— А сейчас… — продолжала Люба, отпустив его уши и рассматривая их, — нет, сейчас у тебя даже симпатичные уши. Смешно. Как тебе удалось их так уменьшить?

— Наверное, голова росла, а уши не поспевали. Теперь мое прозвище уже не актуально.

— Все равно — ты ушастик. Слушай, а почему у тебя вечером был такой испуганный вид?

— Боялся, что твоя мама или отец вернется.

— Но я же тебе сказала, что они на казарменном положении.

— Все равно, я боялся.

— Ты трус?

— Трус. А у тебя фотокарточка есть?

— Ой, нет… как жалко. Теперь ты без карточки забудешь какая я и, когда вернешься, кинешься к другой девчонке…

Люба заметила, что Алеша смотрит на чертежную доску.

— Ничего? — спросила она.

— Мгм… — утвердительно промычал Алеша, — по-моему, здорово.

— Это я должна в четверг сдать. У нас на заочном строго… Что же все-таки дать тебе на память?

Люба выдвинула ящик комода, достала большие, «цыганские» серебряные серьги.

— Мама подарила. Еще бабкины. А бабке — ее мама — она

цыганка была настоящая. Держи. Одна тебе. Другая мне. Когда вернешься, отдашь — я их надену и буду цыганочку плясать. Не потеряй.

— Не потеряю.

— Что ж, пора.

Они вышли из комнаты, и при этом неловкий Алеша ухитрился споткнуться о порог и чуть не упасть.

На улице было еще совсем темно.

У перрона затемненного вокзала стоял состав теплушек. Огоньки папирос, вспышки спичек и лучики карманных фонарей выхватывали из темноты встревоженные, нежные и печальные взгляды.

Слова прощания, последние объятия, лихие переборы гармошки…

А Люба и Алеша все еще были веселы.

— …Помнишь, ушастик, как ты меня от индюка защищал…

— Вот какой я храбрый был в молодости… Он меня, подлец, всего исклевал…

— По вагонам! — слышалась команда. — По вагонам!..

— Не забудешь, что ты теперь моя жена?

— Ну, как же, — смеялась Люба, — у меня даже бумажка есть… А ты?

— А я как моряк — в каждом порту по жене…

Звякнули буфера вагонов. Поезд трогался.

— Передавай привет девчатам в ткацкой. И Надежде Матвеевне кланяйся. Скажи хоть, что замуж вышла…

— Скажу, скажу, пусть мать гонит подарок…

Вагоны двигались уже быстрее…

— Ну… — вдруг став серьезным, сказал Алеша.

Люба бросилась к нему, обняла, прижалась изо всех сил.

Алеша оторвался от нее, крикнул:

— Все будет в порядке!

Он побежал вслед за проходящим вагоном, оглянулся на бегу, чтобы посмотреть туда, где осталась Люба, споткнулся и неизбежно попал бы под колеса, если б не солдаты — они подхватили его, втащили в теплушку.

Силуэты вагонов все быстрее двигались на фоне начинающего светлеть неба.

Никто из провожавших не уходил, смотрели поезду вслед.

Люба стояла среди женщин, среди вздыхающих, утирающих слезы матерей и жен.

Потом она возвращалась домой по светлеющим улицам

утренней Москвы.

В стеклах окон, накрест заклеенных бумажными полосами, отражалось встающее над домами солнце.

Улицы заполнялись идущими на работу людьми. Позванивали трамваи.

Люба свернула за угол, и вдруг черная кошка, выскочив из подвального, окна, побежала через дорогу.

Не раздумывая, Люба бросилась влево на мостовую, чтобы опередить кошку. Та ускорила бег.

Они неслись на параллельных курсах — Люба и кошка, — и вся улица, все прохожие замерли, ожидая исхода странного состязания.

Вероятно, в той отчаянности, с какой бежала Люба, было что-то не допускавшее смеха и шутливых замечаний.

И вот из последних сил, последним рывком Люба обогнала проклятую кошку, и та испуганно метнулась обратно.

А Люба прислонилась спиной к стене дома, тяжело дыша, едва держась на ногах.

Теперь раздался смех. Прохожие обступили Любу.

— Ты что — на пари с ней бегала?

— Пушкин сказал: суеверие — поэзия жизни.

Люди расходились. Из репродуктора слышалось:

— «Сегодня ночью немецкие самолеты в количестве ста пятидесяти вновь пытались совершить массированный налет на Москву»…

Возле разрушенного бомбой углового дома стояли грузовики и санитарные машины. С тротуара убирали битое стекло и кирпич. Из-под развалин пожарные выносили носилки. За носилками молча шла старая женщина. На стене комнаты, разрезанной взрывом, висели ходики. Их маятник раскачивался — часы продолжали идти.

«Заградительный огонь зенитных батарей и ночные истребители не допустили основные силы противника к Москве. К городу прорвались только отдельные самолеты. Есть убитые и раненые среди гражданского населения. Сбито пять самолетов противника». Медленно спускались аэростаты. У булочной, витрина которой была закрыта мешками с песком, выстраивалась очередь.

Возле проходной Трехгорки стояла вооруженная охрана.

Люба предъявила пропуск, прошла. Остановилась привычно на миг у мемориальной доски, пошла дальше.

Группа добровольцев занималась строевым учением. Рабочие-пожарники разматывали шланг.

— Здравствуй, Любушка, — сказала, проходя мимо Любы,

пожилая работница. — К матери зайди — тревожится.

МАТЬ И ДОЧЬ

В углу в кабинете главного инженера ткацкой фабрики стояла аккуратно застеленная раскладушка. На стене висела сумка с противогазом.

— Мамы нет? — спросила Люба у девушки, вернее, девочки лет шестнадцати, которая дежурила у телефона.

— Надежда Матвеевна с военпредами в цеху… Столько дел с этим переходом на военные заказы, ужас… Любочка, а это у вас шарфик заграничный?

Люба сняла с шеи цветной платочек, положила на стол.

— А вот и нет. Самый нашинский платок. Нравится? Бери.

— Ну, что вы, Люба, я не затем…

— Ладно, ладно, Дают — бери, бьют — беги.

Надежда Матвеевна была все той же Надей и в то же время уже другой — появилось в ней что-то мужское, резкое. Она много курила, хмурила брови, задумавшись.

Увидев Любу, извинилась перед военными, подошла к дочери.

— Где же ты была? Ведь ушел отец… ушел наш Королев.

— Как ушел? Ведь его не брали из-за руки?

— В армию не брали. Он в ополчение. В ночь ушел, сегодня… Я уж не знала, где искать тебя…

Люба положила руку на плечо матери. Они смотрели друг другу в глаза.

— Надежда Матвеевна, — окликнул ее один из военных — высокий, седой человек с тремя шпалами в петлицах, — можно вас на минутку…

— Да, да, сейчас…

— Я, мама, в цех пойду. У нас ведь сегодня пересменка.

— Да, хорошо, конечно, конечно… Иду, товарищи…

Она пошла было к военным.

— Я, мама, между прочим, замуж вышла, — сказала Люба.

— Да, да, хорошо, хорошо, — машинально ответила Надежда Матвеевна, уходя, но вдруг остановилась.

— Что ты сказала? Замуж?

— Да, мама.

— За ушастика?

— За ушастика.

Надежда Матвеевна была ошеломлена.

— Но ведь вы дети… Он мальчик, ребенок…

— Ребенок, между прочим тоже сегодня ушел на фронт.

Надежда Матвеевна обняла Любу.

Не было на Трехгорке времени труднее, чем сентябрь и октябрь сорок первого. Народ ушел кто в армию, кто в ополчение, кто на оборонительные рубежи. А надо было давать и давать — перевязочную марлю, и миткаль, и ткань для обмундирования, и перкаль. Программа огромная. Работать некому, люди вконец истощены, фашисты рядом — под Москвой…

В ткацком цехе вдоль стен прямо на полу спали сменившиеся работницы. Окна были плотно закрыты светомаскировочными шторами. Оглушительный грохот станков не мешал женщинам.

В цех вошел старик вахтер. Держа в руке бумажку — сложенный вдвое листок ученической тетради, он подошел к ближайшей работнице и, наклонясь к уху, что-то прокричал.

Женщина — у нее слипались воспаленные глаза — указала ему на спящих. Старик подошел к ним и, заглядывая в лица, стал кого-то искать. Он шел — рассматривал одну за другой этих женщин и девочек, совсем еще юных и совсем уже старых, спящих тяжелым сном после тяжелой работы.

В углу, накрывшись телогрейкой, лежала Люба. Губы ее были полуоткрыты, худенькая рука по-детски подложена под щеку. Старик остановился над нею, нахмурил густые брови — жаль будить девчонку, жаль… Однако тронул за плечо. Люба не просыпалась. Старик — как ему не хотелось этого — потряс Любины плечи сильнее.

Люба крепко, крепко спала.

Тогда старик наклонился и сказал Любе на ухо: «Раненых привезли в госпиталь. Шефов зовут». Люба открыла глаза, потерла их кулаками, взяла бумажку, прочла. Потом быстро поднялась и пошла будить своих товарок.

Бесконечно трудно было поднять их. Люба будила самых молодых, но и они были обессилены, вставали с великим трудом.

В слесарном цехе работали женщины и «фабзайчата». Командовал ими Зеленцов. Он сгорбился, стал совсем стареньким. Сейчас Зеленцов приспосабливал подставку под ноги новому слесарю — маленькому, лет тринадцати, мальчику. Это был Перепелкин — озорной парень, вихрастый, косой. Встав на подставку, он первым долгом начал отбивать чечетку.

Раздался смех.

— Срам какой, — сказал Зеленцов. — Ведь ты, Перепелкин, теперь рабочий человек… А, Люба, — увидел он входившую

девушку. — Готово, можешь забирать.

Он подал ей стоявшие у шкафа две пары носилок.

— Сделали как могли… Видишь, с какими богатырями приходится работать…

Девчата перехватили у Любы носилки и все вместе вышли на лестницу.

— К подшефным? Эшелоны разгружать? — спросила старая женщина, которая поднималась им навстречу.

— Да, раненых привезли.

В темном дворе Люба увидела мать. Вместе с другими работницами Надежда Матвеевна переносила тюки суровья, снимая их с грузовой машины.

— Ну, что от отца? — спросила Люба.

Надежда Матвеевна покачала головой, подошла к Любе.

— А ты помнишь, какой сегодня день?

— Сегодня?.. А… наши именины… Смешно…

Вдруг загудели сирены, затем подключились гудки заводов.

И голос репродукторов: «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!»

Люба повернулась к девчатам:

— Пробирайтесь, девочки, в госпиталь, а мне на дежурство…

— Ты там поосторожнее на крыше… — сказала Надежда Матвеевна.

— Ну, что ты, мать, ерунда…

НАЛЕТ НА МОСКВУ

Пожарные, торопясь, подсоединяли во дворе комбината гидропульт, разматывали шланги.

Люба поднялась по крутой лестнице на чердак — ее пост был на крыше ткацкой фабрики.

Двое рабочих — пожарники — раздавали брезентовые рукавицы, совки и лопаты.

Через слуховое окно Люба вышла на крышу. Ночь была звездной и безлунной. Город угадывался внизу. На фоне неба вырисовывались громады ближайших корпусов, дальше была только темнота.

Люба сидела, прижавшись спиной к трубе, поджав ноги, запахнув телогрейку. Было очень тихо. Звездное небо казалось совсем мирным.

Рядом с Любой на покатом склоне крыши лежала совковая лопата и брезентовые рукавицы. Невдалеке стоял ящик с песком.

Из-за конька крыши показалась физиономия девушки,

которая дежурила на противоположном скате.

— Люб, а Люб, нет у тебя чего пожевать?

— Хлеба кусочек.

— Давай. Я все время знаешь какая голодная. Можешь представить, вчера ночью от голода проснулась и даже заревела.

Люба достала из кармана телогрейки завернутый в газету кусок хлеба, протянула.

— Держи, Нинка.

Нина быстро развернула, отломила, стала жевать.

— Люб, а Люб, — зашептала она, — никому не скажешь, про чего я тебе скажу… Страшно мне… боюсь я…

— Чего? — удивленно спросила Люба.

— Всего. Как даст «он» сюда… Крыши этой чертовой боюсь…

— Я от тебя умру, Нинка, крыша как крыша… Чего тебе бояться?

— Любовь, ты не слыхала — говорят по рабочей карточке будут к празднику чего-то давать? — сказала Нина и тихо завизжала: — Мамочка, сейчас съеду, съеду… съезжаю, съезжаю…

Люба, смеясь, протянула ей руку.

— Давай, пересаживайся ко мне.

Нина перебралась на ее сторону.

— Будем песни петь, хочешь? — сказала Люба. — Тихонько, тихонько…

И они тихо запели на два голоса:

Жаркою страстью пылаю,
Сердцу тревожно в груди,
Кто ты — тебя я не знаю,
Но наша любовь впереди…

— А это ведь не с начала, — сказала Нина.

— Не важно… Давай дальше…

Далека ты, путь-дорога.
Выйди, милая, встречай.
Мы простимся с тобой у порога,
Ты мне счастья пожелай…

— Нинка, ты врешь мотив безбожно… Тут надо так…

Нинка ахнула — вдали вдруг зажегся столб света. Прожектор уставился в небо. Затем вспыхнул другой, и в то же время послышался шум моторов.

— Ну, вот — явились не запылились, — сказала Нина. —

Сейчас начнется кадриль… Как даст по нас…

Теперь уже множество прожекторов шарили по небу, и на их фоне видна была изломанная линия городских домов. Загремели зенитки. Один из прожекторных лучей нашел вражеский самолет. Тотчас же и второй прожектор осветил его, и теперь они вместе «вели» этот самолет, не давая ему скрыться. Все ближе к самолету вспыхивали взрывы. И вдруг он задымился, стал падать.

Прожектора не поспевали за падением, потеряли его невдалеке от земли. Раздался оглушительный взрыв, взлетело пламя.

— Ура-а-а! — восторженно закричала Нина.

Над городом повисли две осветительные ракеты. Бушевал заградительный огонь. Вдруг где-то совсем близко разорвалась бомба.

— Ой, мамочка, пропали! — завопила Нина. Переходы от восторга к отчаянию были у нее мгновенными.

Новый взрыв — еще сильнее и ближе. Девушки ухватились за трубу — казалось, взрывная волна сейчас снесет их с крыши.

Посыпались «зажигалки». Одна из них упала на другом конце крыши. Схватив лопату, Люба бросилась туда. Нина побежала за ней. Железо грохотало под их ногами.

Но зажигалка была уже сброшена рабочим-пожарником.

— Ну вот, — разочарованно сказала Нина, — только разогнались воевать.

Против Трехгорки горел чердак жилого дома. На фоне ярко освещенных чердачных окон видны были силуэты людей, боровшихся с огнем. Поднималась раздвижная пожарная лестница, тянули кверху шланг.

Девушки возвращались на свои места.

Теперь, когда опасность миновала, каждый шаг по крыше стоил Нине великих усилий, она то и дело хватала Любу за руку.

— Ладно, ладно, не притворяйся, — говорила ей Люба, — только что как коза бежала…

Место у трубы казалось обжитым, своим. Девушки уселись по-прежнему. Зенитный огонь ослабел — видно, немецкие самолеты были отогнаны.

— На чем мы с тобой остановились? — сказала Люба. — Как там начало?

Тучи над городом встали…

Нина подхватила:

В воздухе пахнет грозой.

За далекою Нарвской заста-авой
Парень идет молодой…

— Люба, — сказала Нина, — вот мне рассказывали про художников. Скажи, это правда, что некоторые рисуют из головы? Как это может быть? Ничего не было — и вдруг что-то есть…

— Ну, а ты? Разве у тебя не то же самое? Стоишь у станка и делаешь ткань, которой раньше не было. Вот того куска, который ты соткала, тоже ведь никогда не было?

— Э, нет… У меня пряжа, основа… Хотя я… Постой… а ведь… верно. Я не думала про это. Интересно: не было — и вдруг стало…

Раздались выстрелы зениток с той стороны, где было тихо, где город был погружен в темноту.

Девушки оглянулись. Загорелись прожектора. Красные линии трассирующих пуль прочерчивали небо — очевидно, самолет шел на небольшой высоте. Слышалось гудение его моторов.

И вдруг прямо перед девушками одна за другой ударились о крышу две зажигалки.

Люба вскочила. В тот же миг лопата, лежавшая рядом с ней, заскользила по крыше и упала вниз. Ближняя зажигательная бомба угрожающе шипела, разгораясь.

Люба натянула брезентовые рукавицы, схватила зажигалку за стабилизатор и перебросила через карниз крыши.

Нина между тем застыла на месте от страха, вжала голову в плечи и только смотрела, вытаращив глаза, на Любу.

Теперь зенитки гремели вовсю. Послышался оглушительный разрыв фугасной бомбы.

Ко второй зажигалке было гораздо труднее добраться — Любе пришлось пролезать под какой-то проволокой, перебираться через железную балку. Когда девушка оказалась возле зажигалки, та уже прожгла кровлю. Яркое пламя било из бомбы.

Любе пришлось обойти горящую зажигалку — стабилизатор ее был с противоположной стороны. Отклоняясь от огня, Люба ухватила шипящую, горящую, брызжащую пламенем бомбу. Пламя, вспыхнув вдруг сильнее, ударило Любе в лицо. Она зажмурилась, отвела голову в сторону. Неловким движением отбросила бомбу от себя…

Ударившись ниже о крышу, зажигалка подпрыгнула и перелетела через карниз.

Люба застонала, закрыв руками лицо.

Нина видела, как пошатнулась Люба, слышала, как она крикнула:

— Глаза!..

Как упала и заскользила вниз, к краю крыши.

Вскочив, Нина бросилась на помощь. Она ловко нырнула под проволоку и стала перебираться через железную балку.

А Люба соскальзывала все ближе и ближе к краю крыши. Лицо она все еще закрывала руками, даже не пытаясь удержаться.

И в последнее мгновение, когда Люба была уже на самом краю и неизбежно должна была упасть, Нина вцепилась ей в волосы левой рукой, а правой схватилась за проволоку, под которой они проползали. Любины ноги были уже за карнизом, Нина тоже скользила и едва удерживала рукой тяжесть обоих тел.

— А-а-а!.. — вопила Нина. — Спа-сите!.. А-а-а-а!..

С дальнего конца крыши спешили на помощь несколько человек. Все было ярко освещено ракетой, спущенной с фашистского самолета. С крыши соседнего фабричного корпуса кричали что-то вниз, указывая на ту крышу, где были девушки. Внизу, во дворе, рабочие поспешно растягивали брезент.

Подбежав, пожарники легли на крышу, поддерживая один другого, и подобрались к девушкам. Любу опасно было трогать, от малейшего неосторожного движения она неизбежно упала бы. Ее подхватили одновременно двое, с двух сторон, и в тот же миг третий пожарник взял за руку и подтянул вверх Нину.

ПИСЬМА УШАСТИКА

Надежда Матвеевна сидела в кабинете профессора офтальмолога и слушала приговор дочери.

Профессор был старенький — бородка клинышком, руки трясутся — он отводил взгляд, не смотрел на Надежду Матвеевну. А она держалась ровно, подтянуто. Лицо замкнуто, помертвело.

— …К сожалению, — говорил профессор, снимая халат, — я могу только подтвердить диагноз больницы Гельмгольца, диагноз профессора Филатова и профессора Авербаха. Помочь вашей девочке я бессилен. Зрение не восстановимо.

Профессор снял халат и оказался военно-медицинским генералом. Он был в гимнастерке, со звездами в петлицах.

Подойдя к Надежде Матвеевне, профессор сел рядом.

— Что делать, родная, мне вас нечем утешить. Не могу сказать, как хотел бы помочь. Кроме всего прочего, еще и потому, что я ведь ваш, с Трехгорки… В пятом году я уже раклистом был. А восстание… вот он, на лбу след нагайки до сих пор… да что я, в самом деле… если б только мог…

Люба стояла у окна. Глаза ее были открыты. Те же, что и раньше, глаза. Те же, но и не те…

За окном шел проливной дождь. Черная тарелка репродуктора сообщала о положении на фронтах.

Люба смотрела в окно, но не видела вошедшую в калитку Нину — ту самую, что дежурила с ней на крыше. Рядом с Ниной шел мальчик лет двенадцати и нес в руках нечто прикрытое тряпкой.

Люба тревожно оглянулась на стук в дверь.

— Войдите. Кто это?

— Я, Любанька, Нина. — И, как была — мокрая, бросилась к подруге, обняла, спросила: — Ну, что? Не было еще письма?

Люба промолчала.

— Ни от отца, ни от Алеши?

— Нет. Ничего.

— А я говорю — не беспокойся, жди. Знаешь, как другой раз с фронта письма идут?..

Движением руки Нина подозвала мальчика, стоявшего у двери.

— Тут Колька — братишка мой — подарок тебе приволок…

Коля снял тряпку. Под ней оказалась клетка с зябликом.

Как только в клетке стало светло, зяблик оживился, почистил клюв о жердочку и запел.

— Ой, что это!..

— Яшка это. Зяблик. Люба взяла в руки клетку.

Достав из кармана молоток и гвоздь, Колька взгромоздился на стул и пристроил клетку у окна.

Как бы признав, что он наконец попал на свое место, зяблик пел самозабвенно. Если попытаться определить «тему» его песни — это была песня о счастье жизни.

Теперь Люба была в комнате одна. Она сидела, подняв голову, и слушала пение птицы. По щекам Любы медленно, медленно катились слезы.

— Есть тут кто-нибудь? — послышался из прихожей старческий голос. — Эй, хозяева, отзовитесь! Зеленцов это, дедушка Зеленцов.

Люба наскоро вытерла слезы, встала.

— Здравствуйте, Яков Фомич, заходите, пожалуйста. Только мамы нет. Она в райкоме.

— А я не к маме, я к дочке, — усаживаясь на стул, сказал Зеленцов.

— Ко мне?

— К тебе, к тебе, Люба. Садись и слушай. Время, дочка,

строгое. Если я на девятом десятке с пенсии вернулся, да еще цехом командую… Дома нынче не усидишь. У нас теперь цех военный. Делаем одну деталь к боеприпасам. Так что к нам без особого пропуска даже не проберешься. Вот я какой генерал!

— Яков Фомич, чай поставить?

— Нет, нет. Сейчас убегу. Так вот, Люба, иди ко мне в цех работать.

— Я?..

— Ты, дочка, ты. Все уже для тебя приготовлено. И место оборудовано, чтобы ты работать могла… Совсем операция простая.

Горе и радость, как облачка, пробегали по Любиному лицу.

— И я смогу, вы думаете?

— Сможешь, не сомневайся. Будем с тобой вместе фашистов бить…

Люба протянула руку мимо старика. Он поймал руку, погладил Любу по плечу.

— Вот и договорились. Завтра приходи. Дисциплина у меня железная — сама знаешь.

В этом цехе работали женщины и подростки.

У верстаков в ряд стояли мальчишки. У каждого из них под ногами была деревянная подставка, и благодаря ей ребята оказывались одного роста со взрослыми рабочими.

За одним из верстаков работал косой паренек — Перепелкин. Не останавливая работы, он внимательно смотрел за тем, как старик Зеленцов показывал Любе, что ей надо делать.

Это была предельно простая операция — нужно было взять слева из стопки короткую медную трубочку, вставить в нее другую, более тонкую, загнуть ее конец и переложить деталь направо.

И снова — трубочка потолще, в нее другая — потоньше, загнуть конец, положить направо.

— Ну, вот и все, вот и отлично, — говорил Зеленцов, — пошло, пошло…

Любины пальцы делали эту простую работу все ловче и ловче.

— Жизнь требует от тебя терпения, — говорил Зеленцов, наклонившись к Любе. — Придут письма, девонька, все еще будет, родная… Ну, работай, работай. У тебя хорошо получается.

Люба прибирала комнату. Она передвигалась довольно уверенно среди знакомых предметов и, если что-нибудь было сдвинуто, ставила на место.

В клетке заливался зяблик.

Прислушавшись к чему-то, Люба подняла голову. Она тревожно нахмурилась и вдруг бросилась к двери, вытянув вперед руки, чтобы не натолкнуться на что-нибудь.

— Филимоновы тут живут? Это дом восемь?

Обязанности почтальона исполняла рыженькая девчонка лет пятнадцати.

Она протягивала Любе треугольничком сложенное письмо, а Люба тянула руки мимо письма.

— Вот оно, вот… — почтальонша вложила письмо ей в руку. — Что, дома никого? Хочешь, я почитаю…

Они уселись на диван, и девочка стала читать:

— «Дорогая, родная моя, наконец-то у меня есть возможность написать тебе и сообщить номер нашей полевой почты. Запиши: двадцать пять дробь триста восемьдесят пять. Не объясняю, почему долго не писал — нельзя было. Теперь буду писать часто. Я постыдно здоров. Ни одной царапины. И только бесконечно беспокоюсь о тебе. Как ты там? Как мама? Как отец? Помню, как он переживал, что из-за руки не берут в армию. Представь себе, моя знаменитая неловкость неожиданно пригодилась. Вчера я споткнулся у входа в блиндаж и упал. Ты, конечно, помнишь, как я это красиво делаю? А если бы не упал… В общем, это был очень удачный номер. Сколько я написал бы тебе ласковых слов, если б не военная цензура. Не хочу доставлять им развлечение. Обнимаю тебя. Сегодня у нас большой день: наша часть наконец пошла вперед. Знала бы ты, какая всех охватила радость! Мы застоялись в обороне, и накопилось столько ненависти, что не дай ей выхода — кажется, разорвемся на куски. До свидания, родная. Твой Алеша».

За окном сияло солнце. Нина — Любина подружка — читала ей другое, новое письмо:

— «Любушка, родная, теперь, когда мы наступаем, когда гоним с советской земли этих убийц, этих зверей, теперь все тяготы войны воспринимаются совсем по-иному. Великая это сила — сознание своей правоты, справедливости, сознание, что ты песчинка того урагана, что сметает прочь всю эту нечисть. Моя бесконечно любимая, от тебя еще нет писем. Жду с нетерпением. Если б ты только знала, как тяжко мне быть командиром. Хоть маленьким, но командиром. Не знаю, есть ли на свете человек более неприспособленный к тому, чтобы приказывать, распоряжаться людьми и, что самое страшное, чужими жизнями. И только сознание того, что мы охраняем Родину, вас, своих родных, только это сознание дает мне силу и право делать то, что

я делаю. Да, Любушка, слыхала ли ты новую песню «Землянка»? Какая хорошая песня! Кто сочинил, не знаю. За душу берет…»

Сев рядом с Любой и свободной рукой обняв ее, читала новое письмо мать — Надежда Матвеевна. За окном теперь шел снег.

— «Когда я получил вчера твое первое письмо, когда взял в руки этот хрупкий конверт, я почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. И вдруг — чужой, не твой почерк, потом это известие… Что сказать тебе, моя любимая?.. Я не верю, что ничего нельзя сделать, я уверен, голову даю наотрез, что тебя вылечат и твои родные глаза будут так же все видеть, как прежде. Ну, а если бы это было, к несчастью, не так, я отдам тебе свои. Я буду с тобой всегда, каждое мгновение. Я буду твоими глазами. Я буду твоим рабом. Я люблю тебя, бесконечно люблю. Если это было бы возможно, я сказал бы, что после этого несчастья люблю тебя в тысячи раз сильнее. Но это было бы неправдой. Любить сильнее невозможно. Какая все-таки несправедливость, какая чудовищная нелепость: я здесь, на фронте вот уже третий год и здоров, как бык — ни царапины, а тебя, бедненькую, война настигла дома, в Москве… Только из твоего письма узнал, что отец ушел в ополчение и от него нет известий. Как жаль, что я не могу объяснить тебе и маме, сколько на фронте таких положений, когда отправить письмо невозможно. Будьте терпеливы, верьте в хорошее. Твой муж, твой брат Алешка». Приписка: «Мы в Германии! Представь себе это счастье — враг разбит, мы перешли границу Германии. Целую тебя».

Закончила чтение Надежда Матвеевна. Молчала Люба, молчала и мать. Потом, не поворачиваясь к дочери, пересиливая себя, она произнесла:

— Девочка, я должна тебе что-то сказать…

— Папа? — встревоженно спросила Люба.

— Наш папка, наш Королев погиб… Вот уже год, как пришла похоронная…

— Мамочка! — закричала Люба. — Мамочка!

И они бросились друг к другу в объятия, заплакали. И горе Надежды Матвеевны, так долго скрываемое, вырвалось громким криком.

— Умер, умер, нет Васи, нет нашего Королева, девочка моя, нету его больше…

Падал снег за окном и, как всегда, беззаботно пел зяблик.

Теперь окно было открыто. Сияло солнце, и тяжелая ветка цветущей сирени то и дело заглядывала в окно.

Маленькая письмоносица читала Любе новое письмо:

— «…Вот он уже виден, конец войны. Уже недолго ждать. Ты меня, наверно, не узнаешь — я стал сильным и, кажется, даже ловким. Наша армия нацелена прямо на Берлин. Мы считаем это большим счастьем. Конечно, все делают одно и то же дело, и нисколько не меньше заслуга тех, кто добивает врага где-нибудь в глухом уголке Прибалтики. Но — Берлин! Разбить фашистов, как пишут в газетах, в их логове — это потрясающе! Итак — на Берлин!»

В цеху Зеленцова по-прежнему работали женщины и подростки.

Старик Зеленцов сидел у верстака, низко наклонясь над тисочками.

Люба по-прежнему брала слева короткую медную трубочку, вставляла в нее другую, более тонкую, загибала ее конец и перекладывала деталь направо. И снова — трубочка потолще, в нее другая — потоньше, загнуть конец, положить направо. Пальцы давно привыкли к этой работе и очень быстро проделывали несложную операцию.

В застекленной кабинке начальника цеха раздался телефонный звонок. Зеленцов побежал к себе в кабинку.

— Але! Откуда? Проходная? Кому пропуск?.. Конечно, выписывайте. Чего? Вот же перестраховщики вы, друзья! Пожалуйста, можете писать на корешке, что под мою ответственность. Вот же люди… — вздыхал Яков Фомич, вешая трубку.

Возвратясь в цех, он хитро поглядывал в ту сторону, где работала Люба.

Когда хлопнула тяжелая дверь и кто-то вошел, все замолчали. Люба насторожилась, удивленная этой непривычной тишиной.

Она повернула голову в ту сторону, откуда звучали гулко отдающиеся в цеху шаги.

Алеша шел по проходу — офицер, капитан Козлов — возмужавший Алеша, но все такой же длинноногий и длиннорукий.

Он смотрел по сторонам, поворачивая голову на тонкой шее то влево, то вправо, и вдруг увидел Любу.

Он бросился вперед, но тут же споткнулся и упал.

Женщины, стоявшие рядом, кинулись поднимать его. Алеша встал, смущенный до крайности.

— Спасибо, — сказал, он, отряхивая коленки.

— Настало время женщинам мужчин поддерживать, — шутливо сказала одна из тех, кто помог ему подняться.

Алеша пошел дальше, высоко поднимая ноги, похожий на цаплю.

Встревоженно ожидала Люба, еще не поверив, еще не осознав…

Алеша подошел и молча обнял ее.

И вдруг Перепелкин — косой паренек, работавший рядом, — заорал «ура» и пошел крутить «колесо» на своей деревянной подставке. Он вертел «колесо» виртуозно, на одном месте, с бешеной скоростью. В воздухе так и мелькали, как спицы, его руки и ноги.

В доме Филимоновых на комоде стояла небольшая любительская фотография Василия Королева — такого, каким он был, когда уходил в ополчение: в кепке, в телогрейке, подпоясанный ремнем…

За накрытым столом сидели Надежда Матвеевна, Люба с Алексеем и трое ткачих — подруги Надежды Матвеевны.

Водка разлита по стаканам, открыта банка тушенки.

За раскрытым окном, все на той же круто спускающейся к Москве-реке улочке, гулял, радовался, шумно праздновал Победу народ. То баян слышался, то гитара, то все покрывал смех и радостные крики.

— Что же, женщины, — сказала старшая из ткачих, тетя Катя, — с Победой.

Чокнулись. Люба только поднесла стакан к губам и поставила его на место. Едва заметным движением Алексей отодвинул стакан от края стола.

— Эй, Филимоновы, — кричали с улицы, — чего дома засели! Гулять выходите!

Тетя Катя затянула было печальную вдовью песню, но оборвала ее и обратилась к Надежде:

— Послушайте, дорогие мои — ты, Надежда, хоть и стала большим человеком, но, поскольку не зазналась, мы тебя по-прежнему подружкой считаем — ты это знаешь. Так вот, слушай, ты и Люба — обе слушайте, что я скажу. Ваше горе великое — это все понимают. И Василия мы забыть не можем и Любочку все жалеем — вы это знаете, но вспомните, дорогие, от скольких русских семей даже тепла не осталось. Все-таки и вы живы и вот Алеша вернулся. Правда же… горе — ведь его какой меркой мерять… все-таки ты, Любочка, счастливая…

Люба сидела, прикусив губу, с трудом сдерживая слезы.

— Давайте мы выпьем за то, — говорила тетя Катя, — что наши трехгорские бабы все на свете способны перенести…

Она выпила водку.

Люба вскочила с места, и ее стул со стуком упал. Протянув вперед руки, она бросилась из комнаты.

Алеша выбежал вслед за ней на крыльцо. Обнял.

Люба, плача, уткнулась в его плечо.

— Оставь меня, оставь. Уходи от нас… — говорила она сквозь слезы.

— Я люблю тебя.

— Уходи, ушастик. Это счастье, что ты вернулся, но уходи!

— Куда? Куда я от тебя уйду? Я люблю тебя.

— Я, конечно, эгоистка, но не настолько, чтобы ради себя погубить твою жизнь.

— Ответишь мне правду? — спросил Алеша.

— О чем?

— О том, о чем я сейчас тебя спрошу.

— Конечно, отвечу.

— Правду?

— Правду.

— Поклянись.

— Клянусь, отвечу правду.

— Ты бросила бы меня, если б со мной такая беда?

Люба молчала.

— Ну, отвечай. Только честно.

Люба протянула руки, и Алексей обнял ее. Они молчали.

Затем, после паузы, Алеша сказал:

— Ну, вот и договорились. Куда же тебе от меня и куда мне от тебя.

— А знаешь, почему ты вернулся живым? — уже улыбаясь, спросила Люба. — Потому что я кошку обогнала.

— Какую кошку?

— Черную… Что это?

Люба почувствовала, что Алеша положил ей в раскрытую ладонь серьгу.

— Ты сберег ее… подумать только… моя тоже целая. Можно теперь покрасоваться…

Горько усмехаясь, она приложила серьгу к уху.

Раздался гром военного оркестра, Вверх по переулку бежали люди.

Их радостные крики смешивались со звоном труб.

Там, по верхней улице шли воины и их забрасывали цветами. Нарушая строй, обнимали солдат и, вдруг вытащив одного солдата из рядов, подбрасывали, вверх, «качали».

И Люба, Алексей, Надежда Матвеевна и их гости были здесь, среди ликующего народа. На лицо Алексея по временам набегало облачко, когда он смотрел на улыбающуюся, повеселевшую Любу.

Гремели трубы самого большого в мире оркестра — сводного оркестра на Красной площади.

Люба и Алеша, мокрые, поливаемые дождем, стояли на гранитных трибунах среди таких же мокрых и таких же счастливых людей.

На площади шел парад Победы. Проходили сводные полки всех фронтов, артиллерия, танки, пронеслась кавалерия. Развевались орденские ленты на древках знамен.

И Алеша — он был теперь ее глазами — говорил Любе на ухо обо всем, что происходило в великий день на Красной площади Москвы. Говоря, протягивал руку, указывая на что-нибудь, как если бы она могла это видеть.

Трепетно слушала Люба, и выражение его лица тотчас же появлялось на ее лице, переливалась улыбка от него к ней, когда он показывал что-то забавное, переходило от него к ней удивление, ожидание — и кажется, она действительно видела все, что происходило там, внизу перед ними, на Красной площади.

Внезапно смолкли трубы, наступила тишина.

Все, стоявшие на трибунах, тянулись вперед, чтобы лучше увидеть то главное, великое событие, что должно было сейчас произойти…

И Алеша потянулся вперед, а Люба, удивленная тишиной, недоуменно подняла к нему лицо. Шепнув ей что-то на ухо, он указал рукой влево, и тогда Люба вместе со всеми потянулась влево и стала смотреть туда, откуда шли, со стуком печатая в тишине шаг о брусчатку, бойцы.

Дождь продолжал хлестать, но теперь никто не замечал его.

Солдаты несли фашистские знамена.

Они несли эти знамена опущенными к земле.

Мелькали черные свастики, оскаленные черепа.

Поравнявшись с трибунами, солдаты с силой швыряли эти знамена, одно за другим на землю, к подножию Мавзолея. Аплодировали трибуны. И Люба, улыбаясь, не замечая, что плачет, аплодировала вместе со всеми.

И снова — наши дни.

К воротам Трехгорки стекалась со всех сторон рабочая смена. Шли женщины, множество женщин — хозяева Трехгорки. И среди них — Вера Филимонова, тоненькая, высокая, светловолосая. В ушах ее покачивались «цыганские» сережки — подарок матери.

К ней, к Вере, пробиралась сквозь толпу идущих на работу та самая застенчивая девчушка — начинающая журналистка,

которая просила Филимоновых рассказать об их семье. Она догнала Веру, пошла рядом с ней и, сияя от счастья, раскрыла тонкий журнал.

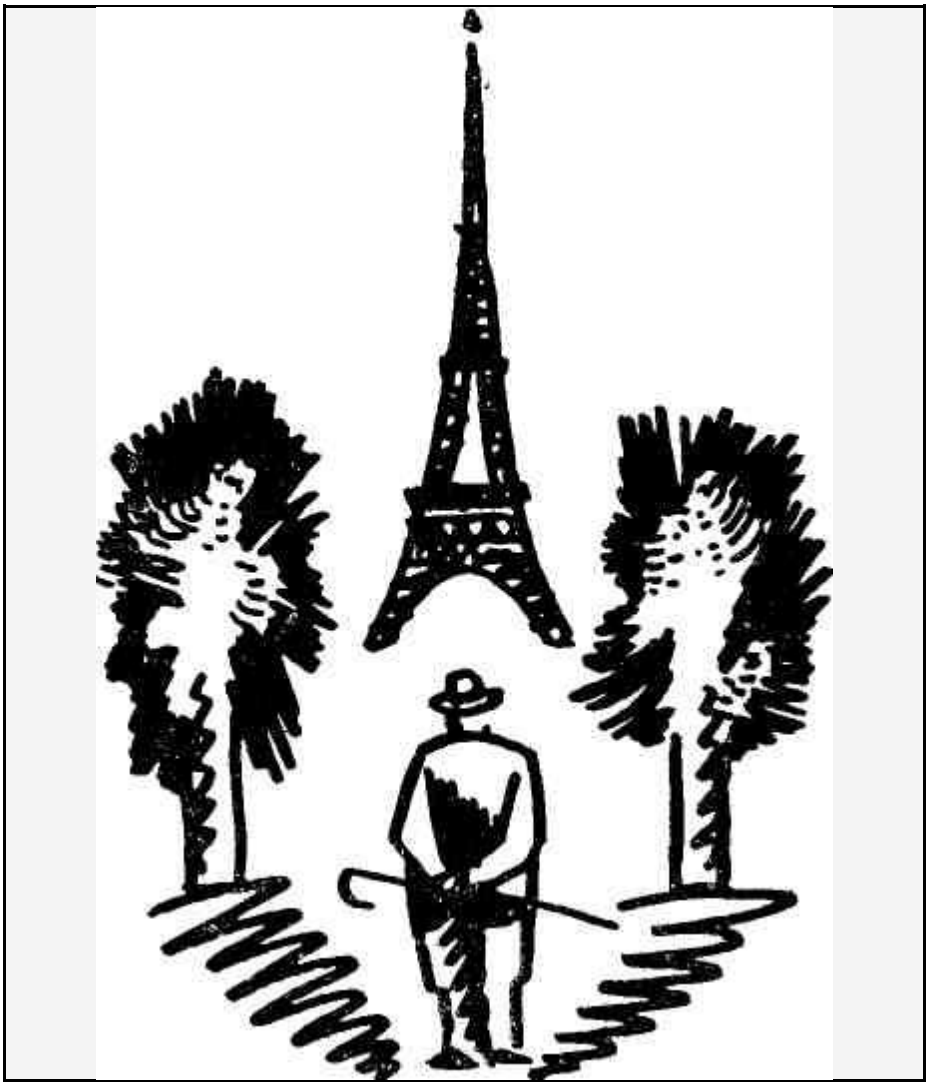
Там была напечатана статья с жирным заголовком: **«Три поколения Филимоновых».**

Шли женщины Трехгорки, наши современницы, женщины 70-х годов.

За проходной Вера задержалась немного, отстала от других работниц и остановилась у стены, на которой установлена мемориальная доска в память расстрелянных в девятьсот пятом рабочих Трехгорки. Постояла.

И побежала догонять своих.

В РУССКОМ ПАРИЖЕ



Теперь, дорогой читатель, я прошу вас перенестись далеко на Запад — на русское православное кладбище под Парижем. Там, на этом кладбище в Сен-Женевьев де буа, есть символическая могила одной русской женщины.

Не могила в сущности, а памятник, ибо тело ее здесь не похоронено. Женщину эту казнили немецкие фашисты, отрубили ей голову в тюрьме Платцензее.

Еще бы совсем-совсем немного времени — и она могла остаться живой: ее казнили, когда исход войны был уже окончательно решен, когда советские самолеты бомбили Берлин, а французские партизаны уже освободили Париж и победа была у порога.

…В 1917 году, сразу же после Великой Октябрьской революции, начали эмигрировать за границу прямые враги Советской власти и обманутые ими люди. Бежали офицеры и солдаты белых армий, биржевики, фабриканты, помещики и их челядь, разного рода дельцы, да мало ли еще какой люд и по каким причинам.

Эти люди рассеялись по свету, по разным странам. Во Франции бывших русских осело около трехсот тысяч.

Они оказались здесь не сразу, конечно. По мере того, как Красная Армия разбивала Деникина, Краснова, Врангеля, за границу попадали все новые и новые бывшие подданные Российской империи. Оседали во Франции наряду с простыми смертными царские сановники, эксмиллионеры, писатели-эмигранты, дамы света и полусвета.

Шло время. Угасали надежды на возвращение в Россию. Кое-кто «выплыл», приспособился к новым условиям жизни и даже преуспел, разбогатев. Большинство же пошло в официанты, в дворники, в шоферы: надо было на что-то жить. Иные опускались на дно.

Кое-кто возвращался с повинной на Родину. Иные продолжали злобствовать, оставаясь врагами новой России.

И на русском кладбище в Сен-Женевьев де буа появлялось все больше и больше крестов.

Но подрастало и новое поколение, второе поколение эмиграции. Вырастали те, кого увезли с родины детьми, и те, кто родились уже на чужбине.

Среди них были враги Советского Союза, но были и такие, у кого билось русское сердце.

Женщина, о судьбе которой я говорю, была русской аристократкой — она принадлежала к одной из самых знатных фамилий царской России. Она была молода, необыкновенно красива, широкообразованна, умна.

Родители увезли ее за границу, когда ей было шесть лет. Она воспитывалась во Франции, полюбила Францию. Выросла. Светский Париж был очарован ею. Ее веселость, остроумие, обаяние покоряли всех.

И вот, когда фашисты захватили Францию и ворвались в Советский Союз, эта русская аристократка одной из первых пошла в Сопротивление. Она не могла остаться равнодушной к судьбе

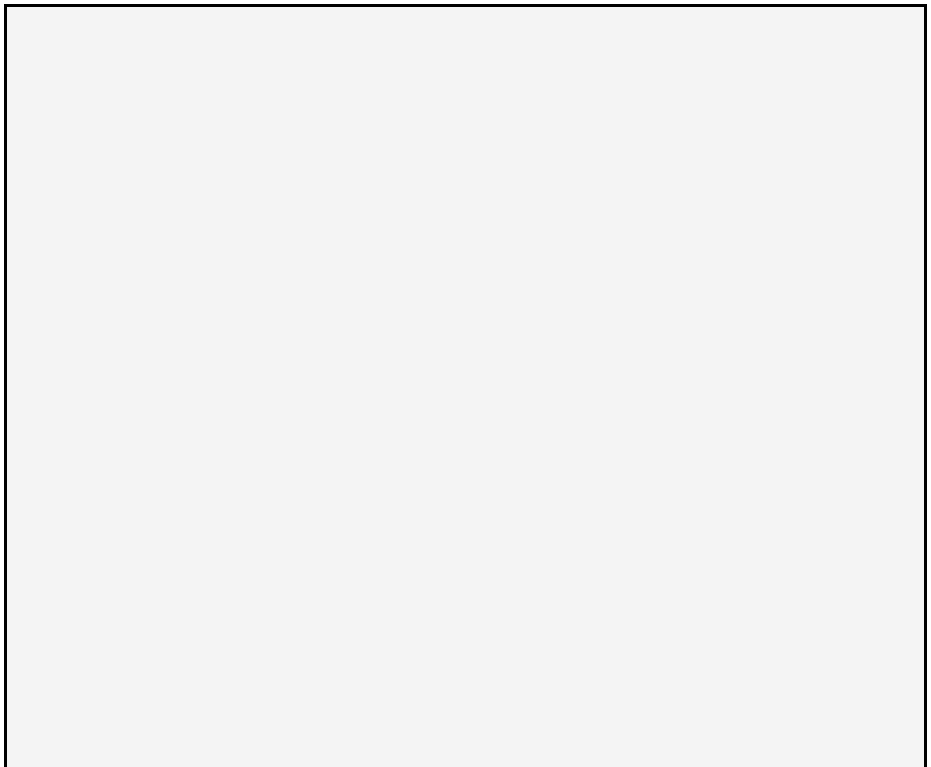
своей родины — России и своей второй родины — Франции. Героически сражалась она с фашистами, была выдана предателем и схвачена гестапо.

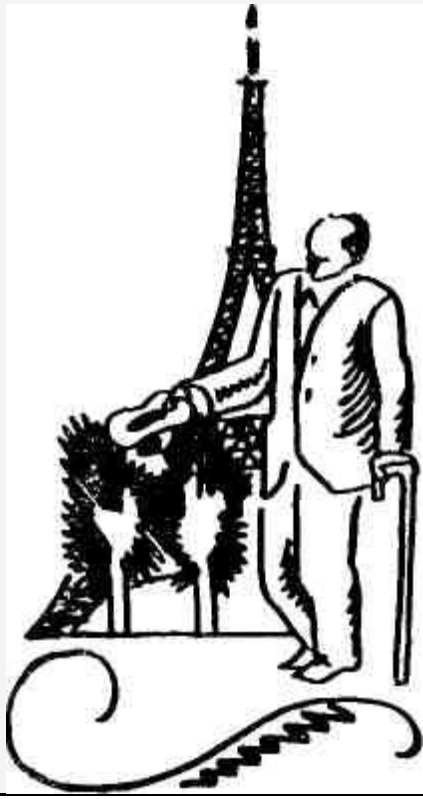
Несколько лет тому назад я был с женой — поэтессой Юлией Друниной — во Франции, и там мы узнали об этой женщине и о ее судьбе. Все время нашего пребывания в Париже мы посвятили розыскам людей, знавших эту женщину, расспросам о ней. Мы искали и находили места, где она жила, где бывала, мы поехали в Сен-Женевьев де буа — туда, где находится ее символическая могила. Мы узнавали о других русских эмигрантах — героях Сопротивления. Мы были на холме Мон-Валериан, где расстреливали участников группы «Музея человека».

И после того каждый наш приезд во Францию был посвящен этим поискам.

У нас обоих, естественно, явилась потребность, больше — необходимость написать об этой женщине, в которой слилась любовь к России с любовью к Франции, стальное мужество с женской нежностью и обаянием, умение вести светский разговор с умением героически молчать под пытками фашистов.

Каждый из нас по-своему выполнил эту задачу: Друнина в стихах и прозе, я в той форме, которая мне более близка — в форме киноповести, которую я предлагаю вниманию читателя.





ВЕСНА 1943 ГОДА. ПАРИЖ

Веселое, весеннее солнце бьет в окно, ореолом высвечивая сидящего на подоконнике следователя.

Ветер шевелит его светлые волосы и разгоняет дым его сигареты.

Следователь смотрит вниз, на улицу — туда, где, сплющенные ракурсом, движутся пешеходы и велосипедисты. Изредка проезжают автомобили с газовыми баллонами на крыше. Проходит немецкий патруль.

Сцепились два велотакси и никак не разнимут свои машины. Рассерженные пассажиры выходят из колясочек и продолжают путь пешком.

Улыбаясь, следователь отворачивается от окна.

— Простите, я отвлекся…

Софья сидит в кресле у стола. Голова поднята. Руки сцеплены на коленях.

Следователь садится против нее.

— Вы, может быть, думаете — раз я служу в гестапо… Послушайте, тут у нас много интеллигентных людей… В конце концов, в каждой стране… в Англии, например, никто не считает стыдным быть агентом «Интеллидженс сервис», даже самые высокие аристократы… Это называется британским патриотизмом… Сигарету? Как угодно. А ведь нам известно, что вы курите… Вы себе не можете представить, как много в этом доме знают о вас. Хотите, я вам кое-что расскажу? Может быть, вы поймете, что молчать бессмысленно. Нам известно, что дочь генерала Звенигородского является участницей Сопротивления, что на ней, в числе других обязанностей, лежит делопроизводство организации. Что, обладая феноменальной памятью, она не вела никаких записей. Все адреса, явки, имена членов организации, все хранилось и хранится… повторяю — и хранится — у нее в памяти. Вот почему нам так важно, чтобы она перестала молчать и рассказала нам все, что ей известно. Мы очень хотим получить эти сведения. Они нам нужны… Вы слышите меня, очень нужны…

Голос следователя становится все глуше, глуше…

Софья смотрит мимо него, в окно, за которым раскачивается верхушка дерева, за которым ветер, небо, солнце.

На мгновение вместо этого окна мелькнула березовая рощица и белый барский дом на холме.

Г о л о с С о ф ь и… В сущности человек живет, пока может думать, о чем ему хочется, вспоминать, размышлять…

Клубится туман, и из тумана, наплывая друг на друга,

вытесняя друг друга, замелькали то бегущая по ветке, распустив пушистый хвост, белочка, то крестьянин, идущий за плугом, то жеребенок, который несется, распластываясь в воздухе, не касаясь копытами земли, то снова лишь клубится туман, то маленькая девочка — сама Софья — гонит перед собой обруч по саду, то носится, бессмысленно визжа, просто так, от радости жизни, черная собачонка и детский голос зовет ее: «Зайчик, Зайчик!»

Но вот мелькание картин прекратилось.

На крышке большого, кожаного кофра с медными застежками сидят двое детей — девочка, та самая, что гоняла обруч в саду, и ее младший братишка. Вид у девочки испуганный, она прижимает мальчика к себе, а тот, не переставая, хнычет.

Они остаются единственной неподвижной точкой среди воющего, бушующего, беснующегося человеческого океана.

По временам сюда, в порт, доносится артиллерийская стрельба, и тогда толпа, как бы вдруг заряженная дополнительной энергией, начинает метаться еще сильнее.

Г о л о с С о ф ь и. …Да… пусть мне вспоминается этот день, когда отец увозил нас с родины… Как свято было для меня все, что он делал!.. Как мне жаль было его, Лялю, я готова была отдать за них жизнь… Сколько мне тогда было?.. Весной исполнилось шесть, значит — шесть с половиной…

Если бы кофр, на котором, опустив тонкие ножки в белых чулках и желтых туфельках с перепонкою, сидит девочка, не был поставлен в угол, образуемый каменной стеной, то и она, и братик, и кофр, и прислоненные к нему чемоданы — все было бы растоптано толпой.

Мальчишка хнычет и сучит ножками.

— К маме, к маме хочу… не трогай меня…

Он отталкивает сестру, а та его успокаивает:

— Ну, Ляленька… мама, наверно, сейчас придет…

Но мальчишка бушует все сильнее:

— Пошла вон, дура!

И бьет ногами по крышке кофра, и рвется из рук сестры. Не зная, как успокоить его, сестра снимает с себя цепочку с часиками и дает брату.

— Послушай, как тикают… Тик-так, тик-так…

Схватив часы, мальчишка швыряет их изо всей силы, и они падают за пирс — в воду.

— Вот тебе, дура! Дура! Дура! — кричит он и снова принимается реветь.

Обезумевшие люди несутся мимо этого островка. Они сжимают в руках свои чемоданы, корзинки, портпледы, баулы, узлы и бегут по направлению к сходням большого белого

парохода, на который грузятся войска — уходящая врангелевская армия.

Одни бегут к сходням, другие, отчаявшись попасть на этот пароход, пробиваются навстречу, чтобы попытать счастья у сходен другого парохода.

Весь порт, вся набережная забиты людьми, машинами, колясками, вперемешку с орудиями и воинскими обозами.

Ругань смешивается с криками отчаяния, плачем, истерическими воплями.

Невдалеке от сидящих на кофре детей пьяный русский офицер хватает за руку французского полковника.

Француз отстраняет его и проходит мимо.

— Стерва! — плюет ему вслед офицер и, пошатнувшись, оседает у стены.

Стоя в пролетке, зажатой в толпе, старый генерал, протянув вперед руку, безнадежно взывает:

— Господа, господа, опомнитесь… стыдно… — Его седую бороду относит ветром в сторону. Он достает револьвер из кармана. Лошадь пугливо косит глазом и вдруг вздрагивает от близкого выстрела. Генерал все еще стоит, из его руки выскальзывает револьвер. Потом старик падает с пролетки. А мимо торопливо движутся ноги, ноги, ноги, ноги…

Мечется обезумевшая кошка, потерянная хозяевами. Подрагивают ноги лошади, зажатой в толпе. Ломается чей-то зонтик.

Офицера, сидевшего прислонясь к каменной стене, клонит ко сну, и, свернувшись клубком, он укладывается спать. Мимо него несутся обезумевшие люди, а он засыпает, подложив ладонь под щеку. Дует холодный, порывистый ноябрьский ветер.

К детям приближается высокий генерал. Перед ним и за ним офицеры в черкесках и несколько солдат решительно расчищают дорогу.

— Папочка!.. — кричит Софья радостно.

Генерал берет мальчика на руки, Соню подхватывает адъютант. Солдаты поднимают чемоданы, кофр и движутся вслед за генералом.

— А мама, где мама?.. — хнычет мальчишка. Генерал не отвечает.

Поднимавшиеся по трапу солдаты остановились — впереди затор.

— Расчистить дорогу! — приказывает генерал, и в ответ на это сверху, с трапа, с палубы сбрасывают людей. Дико крича, пролетает и падает в воду какой-то бородач. Движение возобновляется.

Двинулись вверх генерал с детьми, двинулась охрана.

У трапа продолжается смертельная борьба. Здесь дерутся, употребляя чемоданы как оружие, как тараны. Две дамы вцепились друг другу в волосы, Двойная цепь солдат ограждает подступы к трапу.

Вместе с солдатами на пароход поднимаются важные сановники, архиерей, французские офицеры.

Интеллигент в старомодной крылатке, зажатый поднимающимися людьми, вздыхает:

— Погибла Россия…

А стрельба слышится все ближе. Без гудков отваливают перегруженные сверх меры пароходы, оставляя на пристани мечущуюся в ужасе толпу эмигрантов.

Генерал с детьми стоит у борта. Все пассажиры проталкиваются сюда к поручням, на ту сторону палубы, откуда виден город.

— Господа! — в отчаянии кричит капитан. — Ради бога, отойдите от борта! Господа… пароход потопите!

Раздается взрыв. На набережной разорвался первый снаряд. Второй сразу же вслед за ним взрывается в море. На пристани поднимается паника. Толпа мечется.

Пароход начинает отваливать. За поднимающиеся сходни цепляются сотни рук.

Послышалась винтовочная стрельба. Пьяный офицер продолжает мирно спать.

Лежат на камнях пирса трупы людей и лошадей.

Пароход отходит все дальше, и все меньше становятся фигурки мечущихся в порту людей.

Рядом с генералом у поручней стоит молодой бородатый казак. Он с тоской смотрит на удаляющуюся пристань, на последний русский город, из которого его увозят.

Генерал держит на руках уснувшего наконец сына.

Сурово сдвинув мохнатые брови, генерал тоже глядит на оставленный берег.

Голос Софьи. …Вероятно, это мне теперь, на расстоянии, кажется, что я тогда уже понимала невозвратимость разлуки с родиной… Но нет, скорее всего я просто чувствовала общую тревогу, настроение отца…

Еще один снаряд взрывается между пароходом и берегом.

Отвернувшись от дочери, генерал незаметно смахивает слезу. Девочка стоит рядом с ним, провожая взглядом оставленный берег.

— Ну, так как же, может быть, все-таки ответите?

Софья по-прежнему сидит в кресле у стола. Поднята голова. Руки по-прежнему сложены на коленях.

— Ужасно скучно, — говорит следователь. — Все было. Нет ничего такого, чего бы уже не было. И молчание было. Если бы вы знали, сколько их тут у нас было — молчащих… Ну, о чем вы думаете, о чем?..

Следователь продолжает говорить, но мы больше не слышим его.

Г о л о с С о ф ь и (шепчет). О чем?.. Я думаю о том, как мне повезло в жизни. Как много я встретила прекрасных людей, как много узнала!.. Могла ведь прожить глупой эмигрантской девчонкой, попрыгала бы на балах, выскочила бы замуж, нарожала детей, и это было бы моей жизнью, единственной моей жизнью…

В кабинет входят два важных гестаповских чина. Следователь вскакивает, что-то им говорит, рапортуя. Чины выслушивают его, с интересом разглядывают Софью. Усаживаются.

Один из них обращается к Софье:

— Следователь жалуется на вас. Почему вы молчите? Почему не хотите нам помочь?

Г о л о с С о ф ь и. …Самое странное, что у них есть жены, сестры, дети, и вот такой человек для них самое дорогое в мире существо.

Снова нам становится слышным голос гестаповца:

Г е с т а п о в е ц. …Ну, скажите, объясните — что вам эти лягушатники? Зачем вам было рисковать жизнью ради них, ради их французских дел?..

Г о л о с С о ф ь и. …Пусть говорит, пусть они говорят, а я буду думать о своем…

Г е с т а п о в е ц. …Ну, хорошо, предположим, что вы пошли к ним ради русского патриотизма, скажем, вы рассуждали так: я буду бороться с Германией тут вместе с французами, и это будет моим участием в защите России. Но, позвольте, какой России? Какое отношение вы имеется к Советской России? Вы дочь изгнанника, дочь непримиримого врага Советской власти, дочь главы военного союза русских эмигрантов. Что вам та Россия?.. Ну, что она вам?..

Голос гестаповца затухает, вытесняется музыкой.

Замелькали на экране обрывки воспоминаний Софьи. То это на одно только мгновение вспыхнувший образ, то логично развивающееся событие…

Класс лицея… улочка Парижа… православная церковь… карусель на площади… кулуары университета.

И всюду Софья — то маленькая, то взрослая, то задумчивая, то веселая, то читающая книгу, то прыгающая через скакалку, то чинно слушающая церковную службу, держась за руку отца…

Никакой хронологической последовательности: все вперемешку, как то и бывает в наших воспоминаниях. То Соня взрослая девушка, то длинноногая девчонка, гоняющая по двору мальчишек, то барышня, окруженная поклонниками.

И все время воспоминания перемежаются танцами. Меняется обстановка — то чинный бал, то ресторан, то поплавок на лазурном берегу, то богемский подвальчик, то карнавал в Ницце. И танцующие волшебным образом меняются, и Соня танцует вальс то с одним, то с другим, то смеясь, откидываясь назад, то прильнув к партнеру. То это танго, то фокстрот, то буйный «дикарский» танец в кабачке…

Но вот на этом фоне начали звучать отрывочные слова, фразы… Радостному, беззаботному голосу Сони отвечает то голос отца, то голос подруги, то Сергея, а иногда вдруг мелькнет и синхронно сам говорящий.

— …Отстань, Сережа, я не хочу об этом думать…

— …Но нельзя же быть такой легкомысленной…

— …пожалуйте отвечать урок, мадемуазель Софи…

— …ты заметила, как он на тебя смотрел?..

— …Ляля, это ты взял мое колечко?..

— …он сказал: какие у Софи глаза…

— …а я ему говорю…

— …ты должна забыть, Софья, что когда-то была русской, слышишь, навсегда…

— …никогда в жизни не выйду замуж, какая это все гадость — мужчины…

— …как к тебе идет этот цвет…

— …давайте споем хором…

— …я люблю тебя, дорогая, не понимаю жизни без тебя.

— …как тут весело, на карнавале… Я хотела бы, чтобы всегда, каждый день было так…

— …нет, я не ревную вас, Софи, потому что не имею на это права…

— …ах, как здесь чудесно…

— …но нельзя же быть такой легкомысленной…

— …какой ты скучный, Сережа. Я не хочу об этом думать…

— …ты эгоистка.

— …да, да, да. Эгоистка. И ничем другим не хочу быть и не буду притворяться.

— …позвольте вас познакомить, господа — наш новый секретарь…

— …я хочу танцевать, танцевать…

— …да, налейте, пожалуйста…

— …не могу представить — ты будешь служащей? Смешно.

— …мадемуазель Софи, какие вы знаете неправильные глаголы с окончанием на «ir»?..

— …ты можешь не отвечать, но знай, я всегда буду рядом, всю жизнь буду любить тебя…

— …но ты говоришь, что у меня столько недостатков…

— …что делать, я особенно люблю твои недостатки…

— …ваш брат, мадемуазель, в полиции, и, если вы желаете выручить его…

— …папочка, дорогой мой…

— …говорю тебе отстань, отстань, Сережа, не хочу я об этом думать… Политика меня совершенно не интересует…

— …когда-нибудь тебе будет стыдно вспоминать… Как это может не трогать тебя!..

Тишина.

По коридору больницы плывет белоснежное облако. Чуть шуршат в тишине подкрахмаленные халаты ассистентов, ассистенток, ординаторов и рядовых хирургов. В центре — профессор Баньоль.

Соня в таком же белоснежном халатике, держа раскрытый блокнот и автоматическую ручку, идет рядом с профессором, чуточку только отстав от него, — вся внимание, готовая записать каждое указание шефа.

Однако же блокнот и ручка лишь символы — Соня ничего не записывает и только вслушивается в то, что говорит профессор.

Медсестры почтительно встречают приближение своего бога. Профессор входит в палату, за ним втягивается все облачко.

Здесь тяжелые больные. Профессор переходит от одного к другому, выслушивая лечащих врачей, задавая вопросы больным, давая указания медсестрам.

То рядом с Софьей, то чуть позади, то снова рядом видим мы Сергея. Как и другие врачи — он в белом халате, на шее фонендоскоп.

Профессор переходит из палаты в палату.

Мы слышим шепот — голос Софьи:

— …Как это собственно случилось… хочу вспомнить… Ах, да… Кто же это случайно сказал, что у знаменитого Баньоля в онкологическом институте нужен секретарь… Да, это было у нас дома… А я уже искала службу, хотела помочь папе…

Раздается отчаянный крик:

— Оставьте меня в покое!

На пол летит термометр, стакан, подушка… Худой,

изможденный больной со страдальческим взглядом, кривя рот, кричит в лицо профессору:

— Плевал я на вас! Не нужны мне ни вы, ни ваши обманы! Дерьмо!

Он отворачивается к стене. Худая спина дрожит. Больной тщетно старается сдержать рыдания.

— Оставьте нас… — говорит профессор, и, выходя, Софья слышит, как говорит другой больной, лежащий на соседней койке:

— Все родные у него в Варшаве погибли…

Приемная института. У дверей, ведущих в кабинет профессора, за секретарским столом — Софья.

В кресле возле нее необъятных габаритов толстяк. То и дело вытирая мокрый лоб большим платком, он что-то говорит Софье.

Время от времени разговор прерывается телефонным звонком.

Г о л о с С о ф ь и. …Я старалась не смотреть на месье Морó, когда он делал мне предложение. Я едва сдерживалась. Смех душил меня. Все время вспоминала, как французы говорят о нем, что лакей каждое утро наливает знаменитого месье Моро ложкой в костюм…

Софья снимает трубку.

— Алло… Да, институт профессора Баньоля. Да… хорошо. Я передам… Да, да, не беспокойтесь, я записала… — Софья, однако же, ничего не записывает и опускает трубку на рычаг.

И снова беззвучно говорит толстяк, а мы слышим голос Софьи:

— …Я ответила ему: «Месье Моро к несчастью, я не могу принять ваше предложение». Он сказал: «Почему?» Я сказала: «О, вы не можете это понять — вы так знамениты, так фантастически богаты и вы такой интересный мужчина… но, месье, я ухожу в монастырь». Боже, какая у него была рожа…

— Вы!.. В монастырь! — восклицает потрясенный Моро. — В тысяча девятьсот сороковом году кто-то еще идет в монастырь? Мы поженимся, мы будем с вами такой эффектной парой…

Г о л о с С о ф ь и. А я ему говорю: «Значит, вам нужна просто эффектная пара, а я думала, что вы меня любите». — «Конечно, — говорит, — я вас люблю. Я просто не успел еще сказать»…

Из кабинета выходит профессор Баньоль:

— А… Поль, дружище…

Они обнимаются.

— Почему же ты не зашел и ожидаешь меня здесь? Мы ведь с ним друзья детства, — говорит Баньоль Софье. — Знаете, когда

Поль был еще школьником и не был еще знаменитым писателем…

— Ты шутишь, неужели было такое время?

— Да, да. Ты не был еще ни писателем, ни помощником министра. Просто — обыкновенным смертным мальчиком…

— Ах, детство, детство, — растроганно вспоминает Моро, — мы не расставались ни на минуту…

— И я должен был находить для тебя сюжеты.

— Это правда. Если б вы знали, мадемуазель, какие он находил для меня сюжеты! Чаще всего ужасающие. Я писал новеллы ужасов, мы их читали и сами дрожали от страха. Ах, дружище, старый, верный друг…

— Но позволь, почему ты все-таки не зашел ко мне?.. Ах, вот что… Я, кажется, помешал…

— К несчастью, ты ничему не помешал… Я получил отказ. И, кажется, решительный.

Вдруг, без всяких переходов, долгий поцелуй.

Сергей и Соня в лодке. Неторопливо плывут по течению. Весла брошены. На берегу, следуя за лодкой и лая, бежит Зайчик — собака Софьи, маленький беспородный песик с мордой кирпичиком. Его не устраивает поведение хозяйки, не устраивает, что он не взят в лодку.

— Пусти. Господи, куда я девала гребенку?..

— Соня…

— Пусти, пусти. Видишь, Зайчик протестует. Довольно. Ну, где может быть моя гребенка? И не воображай, пожалуйста, бог знает что. Ничего особенного не случилось.

— Что ты только болтаешь…

— Неужели ты думаешь, что я никогда не целовалась? Фу, какое противное зеркало. Я в самом деле выгляжу таким страшилищем?

Сергей начинает грести. Лодка легко несется по реке.

Зайчик прибавил темпа, бежит, высунув язык, вдоль берега, поглядывая на лодку.

— Во всяком случае, из всех страшилищ ты самое симпатичное. И самое легкомысленное. Вот тайна, которую я никогда не разгадаю: как при твоем неимоверном легкомыслии ты умудряешься быть хорошим секретарем и, ничего не записывая, все запоминаешь? Слушай, а ведь у тебя еще один серьезный недостаток — вот этот маленький зуб, справа — не знаю как его фамилия…

— Фамилия — резец.

— Он ведь немножко выдается вперед. Может быть, тебе уже кто-нибудь сказал, что он тебе даже к лицу?

— С третьего класса.

— Что?

— С третьего класса лицея мне это говорят все.

— Уничтожен. Зато эти твои «с третьего класса» не стояли целыми ночами у тебя под окном.

— Правда?

— Накормлю животных и иду к тебе под окно. И стою. Просто так. Слушай, ты ведь мне все-таки не ответила.

— А кто будет вместо тебя вести наблюдения? Нет, я только спрашиваю — если бы я согласилась, если бы мы обвенчались, если бы поехали в свадебное путешествие…

— Лоранс. Я накуплю консервов. Она будет кормить Шейлу и Гамлета и вести записи.

— Воображаю, как ты заскучаешь! Променять таких очаровательных обезьян на женщину! Чудовищно! Дай сигарету! Нет, Сережа, не надо тебе жениться, да и мне не нужно замуж идти. Давай будем просто товарищами…

За этим следует поцелуй, который очень трудно, пожалуй, даже невозможно посчитать товарищеским.

Зайчик останавливается и облаивает лодку.

На экране возникает лицо гестаповца, наклонившегося к Соне.

— …вы меня слышите? Вы меня слышите?..

Гестаповец держит в руке листовку, показывает ее Софье.

— Вот… молчать бессмысленно… ваша листовка…

Софья закрывает глаза.

Весенний сад.

Цветущие яблони. Дорожки усыпаны яблоневыми лепестками.

Генерал в белом кителе, обняв Софью, идет по дорожке. Софья в белом платье. Она слушает и не слушает отца, думая о чем-то своем, улыбаясь своим мыслям.

Зайчик бежит рядом, то и дело забегая вперед и стараясь обратить на себя внимание.

— …Пойми, Моро казался мне самым достойным претендентом на твою руку… Не спорю, он не Аполлон… Но это Моро… Я надеялся, что ты забудешь свое русское прошлое… Я ведь старался воспитать тебя как француженку… Поместил во французский пансион, оберегал от всего русского… Я хотел, чтобы ты, родная, была счастливой, чтобы из твоей памяти была вычеркнута навсегда эта страна, кровь, страх — все, что нам пришлось испытать… И я вижу теперь, как все было напрасным,

как жадно ты ловишь всякое русское слово…

— Что делать, папочка, у меня вся серединка оказалась русская…

Софья звонко рассмеялась и, схватив на руки Зайчика, покрыла его поцелуями.

— Мы с Зайчиком оба русские…

Г о л о с С о ф ь и. Знал бы папа, что это вовсе не шутка. Посмотрел бы он, как этот советский актер дарил мне Зайчика и как сказал: «Приезжайте к нам в Москву»… Знал бы папка, что я ни одного русского концерта не пропускаю…

Софья отпускает Зайчика, и он радостно бежит вперед, потом назад к хозяйке, вперед и назад…

«Буат де нюи» — ночной парижский кабачок.

Полутьма. Густые облака табачного дыма. Вместо столиков — бочки, вместо стульев — бочата.

Негры, китайцы, американцы, японцы, малайцы… Кажется, все нации, все расы здесь пьют, курят, кричат, пляшут в дикой тесноте.

Беснуется негритянский джаз, сверкает белками черная певица, извивается, блестит тугое тело.

В толпе танцующих Софья с Сергеем. Во рту у нее свистулька — то, что у нас называется «тещиным языком».

Время от времени Софья дует в свистульку, «язык» с треском разворачивается и снова свертывается.

Невесело веселится Софья.

Она возвращается на место. Здесь рядом с ней на таком же бочонке сидит ее Зайчик, в компании нескольких молодых людей.

— Ты мне что-то хочешь рассказать? — Софья наклоняется к собачке, и Зайчик облизывает ее ухо.

— …Ах вот что… они здесь меня обсуждали? Ну, и что же они болтали? Что у меня кривой нос и косые глаза? Ай-ай-ай! А ты им скажи, что они все скучные и мне с ними скучно…

— Познакомьтесь, — говорит Софье сосед, — еще один ваш поклонник.

Софья протягивает руку юноше.

— Курт Вебер. Студент из скучного Берлина к вашим услугам, — говорит он, — окажите мне честь…

— Не перевариваю немцев, — шепчет Соне сосед.

— Я устала, — отвечает она Курту Веберу.

К столику подходит высокий, элегантный негр. Он приглашает Соню танцевать, спрашивает разрешения у ее спутников.

— Я устала, устала… — повторяет Софья.

Ее сосед пренебрежительно машет рукой перед физиономией негра.

— И не суй сюда свою черную рожу…

— Послушайте, — побледнев, говорит Сергей, — вы не у себя в Америке…

Софья встает:

— Пойдемте!

Видимо, джазисты — приятели негра. Увидев его танцующим, они прерывают медленный танец и «дают» бешеную джазовую какофонию.

Сбившись в кучу, все пляшут какой-то дикарский танец, кричат, свистят, взвизгивают…

Темп все убыстряется, убыстряется. Джазисты обливаются потом. Топочут танцующие.

Музыка обрывается так же неожиданно, как началась.

Задыхаясь, Софья опускается на место.

— Фу… сердце… — И обращаясь к американцу: — Ну как, стерпели?

Американец вскакивает, хватает «за грудки» уходящего негра.

— …Мало тебе своих, черномазых?

— Пустите, пожалуйста… — негр пытается освободиться.

— Я бы ни за что не отпустила на вашем месте… — говорит Софья американцу.

— И не подумаю, На, получай, черномазый…

Американец размахивается, но негр успевает увернуться.

— Неужели, вы стерпите? — говорит Софья негру, и он бьет противника в челюсть.

Американец летит как снаряд, сшибая все, опрокидывая бочки и людей.

Мгновенно в драку включаются другие. Сергей защищает негра, и вот уже дерется весь кабачок.

Музыканты, побросав инструменты, прыгают в гущу дерущихся.

Отчаянно лает Зайчик.

Немецкий студент, с которым Софью только что познакомили, хватает ее за руку и увлекает к выходу.

В дверях Софья, смеясь, оглядывается: свалка в разгаре.

— Зайчик! Зайчик!

Собака выбегает, все еще лая на дерущихся.

С трудом выбирается из кабачка Сергей. Он помят, под глазом «фонарь».

— Ну, и дрянь же ты! — восхищенно говорит он смеющейся Софье. — Никогда бы не поверил…

Раннее утро. Русское кладбище.

Вокруг могилы, могилы, могилы. Надгробные надписи по-русски и по-французски.

Граф такой-то… Тайный советник такой-то… Генерал… Сиятельный князь… Надворный советник… Потомственный почетный гражданин… Контр-адмирал… Корнет…

И рядом имя каждого по-французски — месье такой-то, месье такой-то…

Могилы, могилы, могилы.

Софья сидит на скамье, отвернувшись, пряча лицо.

Потом вытирает глаза, придвигается к Сергею:

— Зачем?.. Почему?.. Скажи… Пустота. Глупость. Бессмыслица. Я легкомысленная, никчемная, ничтожная женщина, не способна даже любить. Ни на что не гожусь. Но, послушай, послушай — для чего-то же я родилась, не может же быть, чтобы все было просто так, просто так, понимаешь… без всякого смысла, Сережа?

Софья встает, идет по кладбищенской аллее, прикасаясь рукой то к памятнику, то к какой-нибудь ограде.

Скользит, скользит ее рука, то задерживаясь на миг, то пробегая по чугунной решетке.

— …И я сознаюсь еще… Ты не представляешь себе, как я боюсь смерти… Лежу ночью и холодею от ужаса, от сознания неизбежности… Счастье еще, что мы не знаем часа… А если б знать? Если точно знать… боюсь думать и не могу не думать об этом…

И вдруг — засмеялась:

— Смотри… боже, какие мы важные…

Аллейку переползает, неторопливо переваливаясь, большой рогатый жук.

— Слушай, это же папа! Видишь, как похож…

Они идут по аллеям кладбища. Софья, заложив руки за спину, и Сергей. Молчат. Останавливаются перед памятниками, читают надписи.

«В бозе почил»… «скончался»… «преставился»… «раб божий»… «раб божий»…

— Мне так его жаль, папу… ну, как он живет… — говорит Софья, — это в сущности трагедия. Никому они не нужны. Не хотят простить кого-то, кто вовсе не нуждается в их прощении. Живут своей ненавистью и умирают с нею. И вот… привозят их сюда, в Сен-Женевьев де буа. Бывшие, бывшие… А для меня отец… Если б ты знал, как он нас с Лялькой нянчил, как возился с нами… Ведь мы были совсем маленькими, когда мама нас

бросила!.. Для всех он сильная личность, идейный человек, глава белого движения, а для меня… Я так бессильна помочь ему… Что это?

— Мой подарок.

— «Сергей Есенин»… Послушай, как ты угадал? Мне так хотелось…

Соня читает про себя, потом закрывает книгу и повторяет:

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком…

…Знаешь, я ведь раньше не читала ни одной русской книги. Мне не давали. И вот гуляю как-то по берегу Сены и останавливаюсь возле букиниста. Роюсь в ящике, и вдруг у меня в руке томик. Я его даже, кажется, не брала — он сам оказался в моей руке. Пушкин. Я, конечно, знала, кто Пушкин, но даже в переводе не читала. Не могу объяснить тебе, Сережа, что со мной произошло. Я пришла в себя, может быть, через час — сижу на ступеньках у Сены и реву… Теперь я читаю без конца, читаю русские слова и плачу, даже когда ничего нет грустного… А тут еще моя глупая память… Ты знаешь, я вообще все запоминаю, но русские слова просто врезаются… «Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись…» Я «Душечку», наверно, год назад читала, а могу сейчас всю наизусть…

— Тебя надо за деньги показывать.

— «Живите, живите все! Всем надо жить, а мне надо умереть». Могу прочесть всю «Бесприданницу»…

Слышится голос священника. Невдалеке — похороны, отпевают покойника. Бедные, печальные похороны. Старенький сгорбленный человечек провожает в одиночестве кого-то в последний путь.

У ворот кладбища Соню ждет Зайчик: послушный приказу, он сидел здесь долго, ожидая хозяйку, и теперь счастливый бросается ей навстречу, подпрыгивает, лижет руки.

— Я здесь, Зайчик, успокойся… Умнейший тип, между прочим, — говорит Соня. — Зайчик, миленький мой Зайчишко… Живая иллюстрация демократии — чего стоят по сравнению с этой дворнягой собачьи аристократы? И человеческие, кажется, тоже…

Кабинет гестапо.

Окно плотно закрыто. Крик несется из-за двери.

Софья по-прежнему сидит перед столом следователя.

Он подписывает бумаги, разбирает, сортирует их.

А из соседней комнаты непрерывно несутся крики какой-то женщины. То это мучительный стон сквозь стиснутые зубы, то вопль ужаса.

— …Ради бога… умоляю… боже мой… перестаньте… а-а-а! — захлебывается в крике, шепчет, хрипит.

Следователь как бы не замечает этих криков.

Телефонный звонок.

— Да, слушаю. Все то же. Да. Так. Понял. Будет исполнено.

Положив трубку на рычаг, следователь обращается к Софье:

— Я получил приказ. Либо вы сейчас же начнете говорить, либо — туда… — он указывает на стенку, из-за которой несется крик.

Софья молчит.

Следователь нажимает кнопку звонка.

Входят два эсэсовца.

— Забирайте!

Темнота. Шепот — голос Софьи:

— …Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя яко на небеси, так и на земли. Нет, нет. Я верую… верую, боже… Я молюсь твоей высшей правде… Не может так быть, я не о себе прошу, но ведь не может мир быть таким… не о себе… Откуда они узнали об этих листовках?.. Откуда?.. Пусть убьют, пусть мучают… все перенесу… и буду думать… кто помешает думать, о чем хочу… пока я думаю, я сильнее их… сильнее их, сильнее… сильнее… Господи…

Высветляются постепенно неясные пятна, медленно превращаясь в изображение столовой генерала Звенигородского. Комната уставлена корзинами цветов, в глубине расположился цыганский хор. За обеденным столом гости. Несколько русских в парадных — царских времен — мундирах. Сверкают ордена и звезды. На господине с яйцеобразной лысой головой камергерский придворный мундир с золотым ключом на фалдах. Все очень ярко, блестяще, но если присмотреться — сильно поношено.

За столом профессор Баньоль, Поль Моро и трое американцев — мистер Корн, его мать миссис Корн и секретарь Джексон. У стены хор цыган.

Рядом с Софьей на стуле, как полноправный участник обеда,

восседает Зайчик. Он внимательно слушает беседу, всякий раз поворачивая морду к говорящему, а когда в разговор вступает Софья, хвост Зайчика приходит в бурное движение.

Г о л о с С о ф ь и (он звучит приглушенно, иногда дыхание обрывается, и снова голос звучит как бы издали). Да, да, да… буду, хочу думать об этом дне… Когда же?.. Ну, конечно, десятого мая, в день рождения… Вот хочу и думаю… хочу и вспоминаю…

— Господа, тост за именинницу!

— Позвольте, как можно без прилагательных? За самую красивую, самую очаровательную, самую умную, самую сумасбродную, самую любимую нами Софью Александровну!

— Браво, граф!

Цыгане подхватывают заздравную:

За здоровье нашей милой
Софьалександры дорогой…

Генерал обращается к сидящему рядом Сергею:

— Ну, молодой Рюрикович… что нового в ученом мире?

— Ученый мир трудится, Александр Иванович.

— Я думаю, ученые должны ценить, что в их среду пришел Рюрикович… Верно, профессор?

— Такой аспект не приходил мне в голову. Мы ценим месье Сержа просто как способного молодого ученого, — отвечает Баньоль.

Мистер Корн увлеченно и с полным пониманием разделывает вилкой рыбу, отправляя кусочки в рот и смакуя их, как истинный гурман.

Г о л о с С о ф ь и. …Да, я помню… В этот день утром мистер Корн приглашал меня уехать в Голливуд и уверял, что сделает из меня звезду. Если б я не знала сама, что бездарна, как стул, может быть, и согласилась бы… Соблазн велик… но быть бездарным манекеном… Ляли за обедом не было, он явился позже… Отец примирился наконец с тем, что я осталась русской девицей, и даже пригласил своих русских друзей…

— Как это счастливо случилось, господа, — говорит камергер, — что день рождения Софьи Александровны совпал с годовщиной нашего славного союза освобождения родины и мы явились при полном параде… Вот только вы, граф, — обращается он к старичку в смокинге, — нынче в штатском, а я так люблю на вас смотреть, когда вы в мундире, при звездах и орденах, с лентой Андрея Первозванного через плечо.

— Виновен, каюсь. Призна́юсь по секрету: лента моя рассыпается от ветхости, а другой ведь не достать во всем мире.

Не делают, не нужны никому ленты Андрея Первозванного… Так-то, не нужны-с…

Неловкая пауза.

— Интересно, что там теперь в Петербурге на углу Кронверского? Помню, если едешь по Каменноостровскому, то на углу стоит такая красивая полицейская будка…

— А мне, представьте, все молодые годы снятся — будто надеваю нашу парадную дворцовую форму, натягиваю мокрые лосины белой замши — прямо чувствую их на ногах…

— А как бы вы, уважаемый Алексей Дмитриевич, проехали бы от своего дома — от Кавалергардской до Государственного совета? Не забыли?..

— Господа, вы читали вчерашнюю речь Гитлера?

— О, боже! Опять политика! — говорит миссис Корн.

— Нам было бы интересно послушать господина министра, — обращаясь к Моро, говорит камергер.

— Только скромный помощник министра… — отвечает Моро. — Видите ли, странная война идет уже семь месяцев, не так ли? Немцы стоят вдоль границы, но на Францию не пойдут. Это исключено. Франция для всего мира — страна свободы. И потом — линия Мажино. К счастью, у нас есть линия Мажино!..

Движутся волнообразные линии — такими бывают телевизионные помехи.

Темнота. Шепот, голос Софьи:

— …Боже, дай мне силы не крикнуть, не застонать, не показать слабость… Боже мой, великий боже, помоги… помоги мне, боже… я заставлю свой мозг быть свободным, я снова буду думать о чем хочу… буду, буду, буду… что же было в тот день… тот день…

И снова мало-помалу выявляется какое-то пятно, превращаясь постепенно в ту же столовую Звенигородских. Хозяева и гости поднялись и переходят в гостиную.

Зайчик ни на шаг не отстает от Софьи.

— Мистер Джексон, — обращается Софья к секретарю Корна, идущему рядом, — почему вы сегодня ничего не рассказываете, вы ведь такой интересный собеседник? Присутствие шефа?

— Всегда вы меня обижаете…

— Джексон! — окликает его Корн. — Пойдите к цыганам, пусть пообедают, а потом еще споют.

— Да, сэр. Я передам, — Джексон уходит.

— Это было так мило с вашей стороны, — говорит Корну генерал, — пригласить цыган на Соничкино рождение.

— Цыгане, цыгане… — вздыхает граф (господин в смокинге.) — А кто помнит, господа, знаменитую нашу Варю?..

— «Ты ушла, и твои плечики скрылися в ночную мглу»… — пытается напеть надтреснутым басом важный сановник.

Лакей разносит кофе.

Джексон возвращается.

— Послушайте, — говорит ему Софья, — когда разговаривают с дамой, не убегают не извинившись, даже если свистнул хозяин.

— Вы хотите меня оскорбить?

— Я так же, как и вы, служу. И тоже секретарем…

— Я не секретарь. Я «иесмен». В Голливуде есть должность… Ничего, кроме «да». Любое распоряжение.

— И вы, знающий восемь языков, филолог, пресмыкаетесь перед этим ничтожеством, перед самовлюбленным дураком, которого сами презираете…

— Благодарю.

Изображение Джексона расплывается.

Г о л о с С о ф ь и. Джексон, Джексон… Могла ли я тогда думать?..

Мы видим мистера Корна. Он попивает кофе, расположившись в кресле:

— Да, генерал, ваша дочь совершила большую ошибку, отказавшись от моего ангажемента. В ней есть то, что надо. Мы с ней сделали бы большой бизнес в Голливуде…

— Что делать, желания женщины — это такая тонкая сфера.

— Кто говорит о тонкой сфере? — вмешивается в разговор миссис Корн. — Вы имеете в виду психоанализ?

Далее мы видим как бы переброску — разрозненные портреты присутствующих: иногда совсем короткий план, иногда длинное рассуждение, иногда диалог. Смена даже и не строго логична, это как бы вспышки памяти.

— …Но ведь Гитлер сказал…

— О, боже, опять политика!

К о р н. …когда стал входить в моду голый жанр — я подумал: это вульгарно, но в этом что-то есть…

В а ж н ы й с а н о в н и к (Баньолю). Раковые бациллы выглядят как червячки, если смотреть в микроскоп…

М и с с и с К о р н. Я обожаю психоанализ…

К о р н. …и я купил у одного нищего журналиста за завтрак плюс десять долларов идею…

С е р г е й (важному сановнику). Возбудитель рака еще не открыт. Его нельзя увидеть в микроскоп.

В а ж н ы й с а н о в н и к. Но когда я лежал в больнице,

служитель давал мне посмотреть и я сам видел…

К а м е р г е р (Моро). Вы не думаете, что немцы начнут, наступление и прорвутся к Парижу? Раз у них с Советами договор, они не побоятся открыть тыл…

С м о к и н г (миссис Корн). А в чем, собственно, философия этого индуса, которому вы поклоняетесь?

М и с с и с К о р н. Он учит нас двигать гландами. Мы двигаем гландами.

К о р н. …у этого журналиста была великая идея. Цыгане украли у бедного клерка девочку. Потом клерк разбогател, стал миллионером, умер и оставил наследство в пользу дочери. Ей должно быть восемнадцать лет. Есть признак, по которому можно ее опознать: три родинки, расположенные в форме треугольника. Миллионер только забыл указать в завещании, где именно родинки находятся. И в этом весь фокус. Где? Все девушки восемнадцати лет, желающие получить миллионы, раздеваются догола, и ученые эксперты ищут у них эти родинки. Как вы думаете, сколько я взял с этого фильма? Чистых четыре миллиона. А журналист остался со своим завтраком и десятью долларами.

Б а н ь о л ь. Не самая красивая история.

К о р н. Согласен. Но это не я, а вы, французы, сочинили поговорку: се ля ви.

— Отец Серафим, добро пожаловать, — встает генерал навстречу входящему священнику.

— Прошу прощения, неожиданные обстоятельства задержали. Здравствуй, родная…

Софья подходит под благословение, целует его руку. Отец Серафим обнимает и целует Софью.

— Поздравляю тебя, родная.

Лакей вносит поднос с бокалами шампанского.

— Господа, позвольте предложить тост, — говорит генерал, — я хочу выпить за нашу далекую Россию, за ее освобождение. Двадцать долгих трудных лет мы живем на чужбине. Одни отчаялись, перестали быть русскими, другие сдались большевикам, вернулись в Россию. Иные опустились, потеряли облик человеческий. Но есть настоящие русские люди, не теряющие веру в Россию и ее возрождение. Пока мы живы — жива белая идея. За рыцарей, за тех, кто если не на белом коне, то на броне танка войдет в Москву.

— Эх, господа, — говорит важный сановник, — непростительную нерешительность мы тогда проявили. Нужно было расстрелять половину армии, чтобы спасти вторую половину.

Господин в смокинге, выпив шампанское, отставляет бокал.

— Белые должны были оставаться белыми, — сердито говорит он, — ведь это позор, во что мы превратились, вспоминать стыдно…

— Что-то наш отец Серафим сегодня молчалив и печален.

— Да, на душе тяжко, мучают предчувствия…

— Ну, хорошо, вы двигаете гландами, а еще в чем его учение?

— …и мы не реагируем, — отвечает миссис Корн. — Это главное — что бы ни случилось, не реагировать, даже если рядом убивают человека — не реагировать. Ни на что не реагировать, тогда вы проживете сто пятьдесят лет…

— Как свинья, — тихо заканчивает, обращаясь к Софье, Сергей.

— Мама, умоляю, не надо об этом шарлатане…

— Чарли, вы невежда. Вместе со своими миллионами мой сын не стоит мизинца нашего учителя.

— Миссис Корнеец — жрица великого философа, — саркастически замечает Корн о своей матери.

— Вы не забыли фамилию, которую носили на родине? — спрашивает камергер.

— Как видите. Но моя настоящая родина — место, где я кручу фильмы и делаю деньги. Двадцать лет я уже американец. Фильмы, фильмы… Помните, господа, какие у нас были прекрасные русские фильмы? Вера Холодная…

— Рунич, Худолеев, Мозжухин…

Софья подходит к отцу Серафиму, который уселся в стороне, у окна.

— Так какие же предчувствия?..

— Кажется мне, родная, нас ждут великие испытания и великие страдания. Много разных правд борются между собой, и не скоро утихомирится матушка наша земля, не скоро… Вчера пятеро моих прихожан, пять честных русских людей арестованы властями и брошены в лагерь.

— Из господ возвращенцев, вероятно? — спрашивает генерал.

— Кто-то из них состоял в Союзе возвращения, впрочем, это все почтенные верующие люди. Не понимаю, почему, воюя с Германией, французское правительство проявляет силу не к немцам, а к русским людям…

— О боже, опять политика…

— Что ж, святой отец, — говорит Моро, — я отвечу. Мы не делаем секрета из того, что наш главный враг — большевизм, и мы не потерпим эту заразу, особенно в военное время.

— Но ведь это не коммунисты, — вмешивается в разговор камергер. — Вы посадили своих коммунистов в тюрьму, но

русские эмигранты, те, кто у вас ищет убежища…

— Слушайте, — говорит Софья, обращаясь к Моро, — кто вам вообще дал право трогать русских?

— Простите, но вы наивно ставите вопрос. Государство есть государство…

В гостиную вваливается Алексей. Его поддерживают с двух сторон Свет Стрельцов и Любка. За ними входит и останавливается в дверях шофер Охотников — в кожаной тужурке, с кепи в руке.

Зайчик залаял, Софья делает ему знак молчать.

— Пустите, — вырывается Алексей. — Папа, добрый вечер. Елки-палки, какое общество…

— Ляля, сейчас же — в свою комнату, — говорит Софья, подойдя к нему.

Алексей не обращает на сестру никакого внимания.

— Знакомьтесь, Свет Стрельцов. Интересная личность. Совершенно не признает морали…

Г е н е р а л. Алексей…

Л ю б к а. Господа, мы, кажется, пришли по делу.

А л е к с е й. Молчи, шлюха!

С о ф ь я. Лялька!

М и с с и с К о р н. О, боже…

Л ю б к а. Какое воспитание…

С о ф ь я (тихо). Прошу, уходи. Я зайду, уложу тебя.

С в е т. Заботливая сестрица… Сколько раз вытаскивала тебя… Сколько денег за тебя… На той неделе — из какого места выволокла… Если б меня сестрица так обожала, я б ее… возненавидел. Ненавижу добреньких. Ждут благодарности. Мол, широкое вам русское спасибо от еврейского благотворительного общества.

Л ю б к а. Дело, дело…

С в е т. Выскажи претензию.

Л ю б к а. Я ведь спросила — вы на время? Нет, на ночь. А у самого в кармане вошь на аркане. Утром говорит — сестра заплатит. И вот за такси не заплатил. Там и сейчас отстукивает.

С о ф ь я. Сколько он вам должен?

С в е т. Десять тысяч. И за такси.

Софья выходит.

Л я л я (Свету). Пользуешься, дерешь втрое.

С в е т. Брал бы простую шлюху с пляс Пигаль. А Любка губернаторская дочь…

Г е н е р а л. Господа, я в отчаянии… (Алексею.) Марш в свою комнату.

А л е к с е й (шоферу). Вам не понять, месье… у нас была

революция, мы эмигранты. Нам очень худо. И только вот этот друг… На него теперь три сестры работают. Дворянки. Проститутки…

М и с с и с К о р н. Боже, боже…

Л ю б к а (Алексею). Нечего было время отнимать. Сейчас клиентов… Как взбесились. И много каких-то иностранцев. Нации разные, а платят одинаково.

С в е т. Наблюдательная. Это немецкие шпионы. Полон Париж.

Выходит Софья.

— Вот деньги.

С в е т. И за такси уплатите. Прощайте. Любка, за мной.

Уходит с Любкой.

С о ф ь я (Охотникову). Сколько там следует?

О х о т н и к о в. Я бы не хотел брать… но машина хозяйская.

С о ф ь я. Вы русский?

О х о т н и к о в. Так точно. Капитан Охотников. Мне очень жаль.

С о ф ь я. Разденьтесь, господин капитан, и оставайтесь…

О х о т н и к о в. Но…

К о р н. А счетчик пусть работает. Я уплачу.

С о ф ь я. Видите. Капитализм платит. Знакомьтесь — граф Извольский, капитан Охотников…

А л е к с е й. Бросьте, какой вы капитан? Какой он граф? Вы шоферюга, таксишник, он — швейцар в «Золотом Петушке», живет на чаевые…

С о ф ь я. Лялька!

Г е н е р а л. Негодяй!

А л е к с е й. …а этот, с золотым ключом на заднице — консьерж, по-нашему — дворник, а не камергер его величества… Какие вы, к чертовой матери, дворяне? Пролетарии всех стран, объединяйтесь! Вот вы кто, господа ихтиозавры…

Отец ударяет его по лицу:

— Гадина! Вон из дома!

М о р о. Мне очень жаль… Позвольте откланяться…

Из столовой грянул цыганский хор, сразу во всю силу:

Две гитары за стеной
Жалобно заныли
С детства памятный напев.
Милый, это ты ли?..
Эх, раз, еще раз…

Вбегает вернувшийся Свет Стрельцов:

— Господа дворяне! Новость! Умрете со смеха! Немцы рванули на запад! Они уже в Бельгии!

М о р о. Не может быть!

С в е т. Вот петрушка будет! Теперь держись, Франция!

Цыгане вбегают в гостиную, бьют в бубны, поют и пляшут:

Эх, раз, еще раз.
Милый, это ты ли?..

— Боже, боже… — шепчет отец Серафим.

— Перестаньте! — кричит Софья. — Ради бога перестаньте!

Темнота.

Г о л о с с л е д о в а т е л я. Введите!

Кабинет гестапо. Два эсэсовца вводят Софью.

С трудом передвигая босые ноги, окровавленная, в разорванной одежде появляется она перед следователем.

— Стоять! Не садиться! — приказывает он.

Солдаты ставят ее у стены и выходят.

— Итак, молчание продолжается? Отлично. Помолчим еще.

Звонит телефон.

— Это ты? Я… да, как видишь, еще не освободился. Почему же?.. Куда? Сейчас посмотрю, что сегодня интересного (он разворачивает газету). Хорошо, не возражаю. Заеду.

Он открывает портсигар, взглянув на Софью, подходит к ней, протягивает портсигар.

Она отвечает ненавидящим взглядом.

Сейчас, вблизи, видно, как рассечена ее бровь, виден кровавый шрам, бегущий от угла рта к уху. Видны кровавые рубцы на плече, с которого спущено разорванное платье.

— Ну, ну. Нет так нет.

Следователь закуривает. Открывает дверь, делает знак солдату, тот входит в комнату.

— Фрейлейн будет стоять так до утра, вы за это отвечаете. А утром… утром посмотрим…

Аккуратно сложив бумаги в стол и заперев его, следователь уходит.

Солдат садится на его место в кресло.

Стараясь не шататься, Софья стоит у стены, глядя прямо перед собой.

Голос Софьи (шепот).

…Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,

И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Опустились веки, Софья закрыла глаза.

…Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник.
Придет, зайдет и вновь покинет дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над золотым прудом…

Софья пошатнулась, открыла глаза и снова стоит неподвижно.

Смотрит она куда-то очень далеко, далеко, далеко за пределы того, что видит перед собой.

Сергей вбегает в секретарскую комнату института, за ним Охотников. Халат Сергея расстегнут, разлетается на бегу.

— Капитан сам слышал! Фашисты напали на Россию!..

Софья вскакивает с места.

— Мы с Охотниковым бежим в советское посольство! Будем проситься в Красную Армию…

Софья выбегает из комнаты.

Гремит из репродукторов голос немецкого диктора.

У газетного киоска длиннейшая очередь.

Софья торопливо проходит мимо.

— Слышали?.. Ну, теперь…

Целуются два старых француза, опасливо оглянувшись перед тем. Мимо них пробегает Софья.

Г о л о с С о ф ь и. Откуда я, собственно, узнала, что профессор?.. Ведь он ничем не выдавал себя… Откуда?.. Какие-то едва уловимые ощущения, интуиция… Не знаю… но я была уверена…

Профессор Баньоль сам открывает дверь. Удивлен, увидев Софью.

— Входите, дорогая… Чем вы так взволнованы?..

В кабинете, схватив профессора за руки, Софья горячо говорит:

— Пожалуйста, умоляю вас… Самые опасные поручения… Все, что будет нужно… Я верный человек…

— Но, позвольте, почему вы думаете?..

— …Ради бога, профессор, они напали на нас… Я не могу

жить, сложа руки… понимаете, не могу… Я их ненавижу…

— Софи, я абсолютно доверяю вам, но откуда вы узнали?.. Значит, я скверный конспиратор?

— Все, что хотите, самую тяжелую работу дайте мне, я научусь стрелять, буду их убивать…

В Париже идет снег. Снег. Снег падает на истощенных лошадей редких фиакров, на еще более редкие автомашины, на плечи немецких офицеров, на женщин, стоящих в очереди у продовольственной лавки.

Из окна секретарской комнаты Софья видит пожилого господина, который оглядывается перед тем, как войти в подъезд института, и только после этого входит.

Зазвонил телефон. Софья подбегает к столу, снимает трубку.

— Онкологический институт профессора Баньоля… — и разочарованно: — Да, да, к больным от четырех до шести… Нет, профессор не принимает в этом месяце. Мерси, месье.

Баньоль приоткрывает дверь кабинета.

— Отец?

— Нет. К несчастью, нет.

— Ну, ну… Не будем паниковать, Софи!

— Но прошло уже четыре часа… Зачем он им понадобился? Может быть, он уже арестован, брошен в тюрьму…

— Ну, зачем так мрачно?..

— А сколько уже забрали эмигрантов?..

— Ну, подождем. Вы оставили дома записку, чтобы он позвонил, когда вернется?

— Конечно.

Профессор скрывается в кабинете.

Стук в дверь.

— Войдите, — говорит Софья.

Входит господин Борель — тот, который оглядывался перед институтской дверью.

— Мое почтение, мадемуазель… — он и тут оглядывается. — Здесь никого нет?

— Кроме меня.

— Надеюсь, я не ошибся? Вы мадемуазель Софи? В таком случае, вы знаете, как отличить молодой месяц от уходящего?

— Во Франции теперь никто этого не знает, — негромко отвечает Софья.

— Правильно, — окончательно успокоившись, говорит господин Борель и достает из жилетного кармана половину стофранкового билета. — У вас есть вторая половина?

Софья снимает с полки толстый том энциклопедии Ларусса,

извлекает из нее вторую половину купюры и прикладывает к той, что в руке у Бореля.

— Я, понимаете ли, человек случайный. Мишель… мой сын, его сбросили англичане на парашюте. Мальчик сломал ногу… и вот Мишель велел мне… Это какая-то неимоверно важная бумага… — он передает Софье сложенный во много раз листок папиросной бумаги. Софья разворачивает его, читает.

— Ну, времена, — говорит Борель. — Мирный француз, рантье — вдруг заговорщик. Дурацкий детектив. Вот до чего довели нас Петэны… Это действительно такая важная бумага?

— Чрезвычайно важная…

Софья зажигает свечу и сжигает на ее пламени бумагу.

— Что вы делаете!

— Месье, все в порядке.

— Мой сын рисковал жизнью… — Борель идет к двери.

— Постойте, месье.

— Позвольте пройти.

— Да постойте, говорю вам. Поймите — я все запомнила, каждую букву. И все передам.

— Запомнили наизусть? Как это может быть?

— Хотите, повторю?

— Но это феноменально. И я могу сказать Мишелю…

— Пусть спокойно лечит ногу.

— Мадемуазель, вы меня воскресили! Спасибо, мадемуазель, до свидания, мадемуазель…

Проводив его, Софья входит в кабинет профессора. Он сидит перед освещенным экраном и рассматривает рентгеновские снимки.

— Мне жаль, — говорит он, — но дела вашего, мистера Корна… Посмотрите… видите эти затемнения?.. И здесь… И здесь… Операция исключена… видите?… Чудес, к несчастью, давно уже не бывает… почти две тысячи лет.

— Метр, получена директива от генерала. Я, конечно, уничтожила.

— Весь внимание!

Софья садится, закрывает глаза. Говорит, как бы читая:

— «Лондон. 20 декабря, 1942 год. Номер сто двенадцать дробь ноль семь. Игрушки будут сброшены третьего января в то же время, там же. Подтвердите получение. Напоминаю: как можно шире ведите пропаганду. Призывайте французов вступать в подпольные отряды сопротивления и готовиться к решающей схватке. Продолжайте доставлять нам сведения о расположении и численности сил врага. Особо важно установить все, что относится к зоне номер пять, примите меры. Да здравствует

свободная Франция. Генерал Шарль Де Голль».

— Завтра в штабе вам придется это повторить… Позвольте… зона номер пять… но ведь это по нашей карте, побережье Бретани… Понимаете, что это значит?.. Дорогая моя, мы с вами еще увидим, как свободные люди шагают по свободной земле… А я — знаете, что я буду тогда делать? Я стану вашим импресарио. Афиша: в центре таинственная женщина в черном трико — вы, от вас расходятся лучи и змеи, а сверху: «Чудо века — мистическая, магнетическая, метафизическая память всемирно известной мадемуазель ИКС». А?.. Ну, хорошо, но кто же сообщит, чтобы принимали оружие?

— Позвольте мне…

— Нет. Дело не только в том, что вы женщина… Но я не имею права подвергать вас риску… В этой головке вся наша канцелярия, все явки и списки… Когда вы сказали сбросят парашюты?

— Третьего. Метр, я знаю местность, людей…

— Завтра поговорим в штабе.

— Хорошо. Я зайду сейчас к Корну… А вы вызовите меня, когда отец позвонит…

Больничная палата.

Мистер Корн в халате, повязанном пояском с кистями, сидит в кресле, а против него, на диванчике, рядом с Софьей, миссис Корн.

Эта отдельная, одноместная палата — некоторая помесь больницы с гостиной.

— Я зашла попрощаться, — говорит миссис Корн. — Подумайте, они нам тоже объявили войну! Я стараюсь не реагировать, но какое нахальство объявить войну Штатам!.. Ну, всего хорошего…

— Но… — хочет перебить ее Софья.

— Что делать? Что делать? Я еду одна. Сегодня вечером.

— Да, мама уезжает, — говорит Корн. — Я бы тоже поехал, но врачи как сговорились: Баньоль, Баньоль, вас может спасти только профессор Баньоль… А умирать от рака что-то не хочется. Я получил разрешение остаться… деньги все могут… почти все.

— Скажите, пожалуйста, — обращается Софья к миссис Корн, — как по вашему учению — если не кого-то другого будут убивать возле вас, а наоборот, вас возле кого-то. Вы хотели бы, чтобы этот кто-то тоже не реагировал?

— Понимаю вас… Я осталась бы с сыном, если б могла ему этим помочь. А потом — картины. Мы купили триста картин.

— И, кажется, дешево?

— Даром. Быть в такое время в Париже с деньгами… Ну, до свиданья, душечка. До свиданья, Чарли. Веди себя хорошо, лечись, слушайся доктора. Гуд бай…

Она уходит.

Корн и Софья сидят несколько мгновений молча.

— Ах Софья, я так благодарен за то, что вы ко мне заходите, — вздыхает Корн. — Если бы вы знали, что меня мучает… Можете себе представить — мысли… Мысли, мысли, ужасные мысли. Давайте пить чай. Тут у меня в термосе… Трудно мне без Джексона.

— А где же он?

— Пропал. В первый день взятия немцами Парижа. Как в воду… (Задумался, замолчал.)

— Вот, я вам налила…

Корн очнулся.

— Удивительно, Софья Александровна, мы устроены. Вместо того чтобы благодарить жизнь за счастье родиться, ходить и дышать, мы проклинаем ее за то, что придется умирать… Неблагодарные мы существа…

— Вы стали философствовать.

— …и где только взять Мефистофеля?.. Все бы отдал за час молодости, за один час в моем старом Киеве… Киев, Киев. Куда только не заносило меня — нигде не дышалось так, как в Киеве… Долго я себе не признавался… Как это люди не понимают своего счастья? Самого простого, самого лучшего. Ходить по родному городу, смотреть, дышать… Мы с ней за руки держались, у нас в Киеве было принято не под руку ходить, а держаться за руку, когда гуляешь с девушкой… На самом верху она жила, на Лютеранской 33…

Зазвонил телефон.

Софья хватает трубку.

И вот она уже мчится по заснеженной улице.

Вбегает домой и бросается на грудь к отцу.

Счастливый Зайчик прыгает вокруг них, заливаясь лаем.

Генерал прижимает к себе дочь.

— Ну, тихо, тихо, все хорошо, родная… Ну, все, успокойся.

Софья усаживает отца на диван, садится к нему на колени, целует. Зайчик немедленно пристраивается к ним.

— Так что же случилось? Зачем они вызывали? Почему так долго? Ради бога…

— Не спеши. Дай сигарету.

— Да не мучай ты меня, папа!

— Послушай, что-то я давно не вижу большого чемодана — такой, с ремнями, знаешь?

— Чемодан?.. — настораживается Софья. — В чем дело, папа? Что случилось? Папа!

— Ничего плохого. Деловое предложение.

— Неужели… — поднимается Софья, — неужели ехать домой?

— Да. И в перспективе даже возвращение Благовещенского.

— И ты… ты…

— Я согласился. За себя и за тебя.

— Не может быть!

Наступает длительная пауза. Генерал закуривает. Софья стоит перед ним.

— Ты знаешь мои взгляды, Соня…

— Взгляды, взгляды… Это наши враги!

— Чьи — «наши»? Мои враги там — в Москве! Мои враги те, кто уничтожил Россию, уничтожил цвет нации, русскую культуру, государство, кто выгнал нас на чужбину, кто отнял у нас все — землю, звание, имущество, родину… Я ненавижу немцев — ты знаешь, но пусть немцы, пусть фашисты — кто угодно…

— Они не люди! — вскрикивает Софья. — Они залили кровью нашу родину! И их все равно выгонят — ты же слышал про Паулюса…

— Чепуха. Гитлер завоевал всю Европу. Но я не думаю, что этот идиот вечен. И когда они будут уходить — там должны быть мы, а не большевики.

— Папа, опомнись, умоляю тебя…

— Ничего не простил, ничего не забыл. Месть? А почему бы не месть? Это вы, господа большевики, показали миру, что можно мстить целому классу, не разбирая правых и виноватых.

— Но ты же русский!

— Именно… Постой, постой… Ты говоришь слова этих… Не может быть… посмотри мне в глаза… Соня, девочка моя… Я ошибаюсь, правда? Ну, ответь…

— Ты ошибаешься.

— Когда же это случилось?

— Ничего не случилось. Ничего. Но как ты можешь!.. Я ненавижу громкие слова, но, папа, наша родина истекает кровью и Франция, которая нас приютила, растоптана врагами…

— Немцы убьют тебя! Девочка моя, что ты натворила!

— Даже Деникин объявил себя на стороне родины, князь Оболенский просился в Красную Армию… Какие счеты, когда фашисты уничтожают русский народ!..

— Боже, как я был слеп… Упустил… упустил, подумать только…

Звонок.

— Как же не вовремя… — с досадой говорит генерал.

Софья открывает дверь. Важный сановник и камергер входят в переднюю. На этот раз оба в штатском.

— Мое почтение, Софья Александровна. Если не прогоните, принимайте гостей.

— Милости прошу, — говорит генерал, появляясь в передней.

Гости снимают зимние пальто, шарфы, входят в гостиную.

К а м е р г е р. Редкость в нынешнем неуютном Париже мирный семейный очаг.

В а ж н ы й с а н о в н и к. Да… редеет наш русский Париж… Ночью, знаете, не спится, и мысль все возвращается к этой октябрьской катастрофе… Кто же, думаю, виновник революции? Откуда начало? И знаете, кто начал? Гоголь, господа. Николай Васильевич Гоголь, и никто иной.

С о ф ь я. Пожалуйте, господа, чай на столе.

К а м е р г е р. С наслаждением…

Все переходят в столовую, усаживаются за стол.

Г е н е р а л. Почему же Гоголь?

В а ж н ы й с а н о в н и к. А «Мертвые души»? Вывел мерзкий пасквиль на российских помещиков… А наши имения были единственными очагами культуры в темном мужицком море…

К а м е р г е р. Вы слышали, господа, ужасную новость? Об отце Серафиме? Признаться, я было не поверил сначала…

Г е н е р а л. Прошу, угощайтесь.

С о ф ь я. Что же с отцом Серафимом?

К а м е р г е р. Вчера, во время воскресной службы, взял да и провозгласил за победоносное русское воинство… Представляете?

С о ф ь я. Но, может быть, он имел в виду…

В а ж н ы й с а н о в н и к. Кого? Какое еще существует русское воинство, кроме совдепской Красной Армии? Немцы ему не спустят, нет… Не те мальчики…

К а м е р г е р. А я, знаете, со злорадством одежу за успехами немцев в Совдепии. Они продвигаются, а я думаю — так вам и надо. Киев, Харьков, Минск, Ростов… Так их, так… Вышли к Волге? Чудесно. Дальше, дальше… Забирайте Питер, Москву… Я хочу, чтобы эту проклятую страну навсегда убрали с географической карты…

Софья резко встает:

— Положение хозяйки не позволяет мне сказать то, что я хочу сказать…

Г е н е р а л. Соня…

С о ф ь я. Во всяком случае, я прошу прекратить эти чудовищные речи.

Г е н е р а л. Но это мой дом!

С о ф ь я. Это русский дом!

К а м е р г е р. Хотите указать на дверь… Договаривайте…

Г е н е р а л. Господа, прошу вас…

К а м е р г е р (дрожа от оскорбления, негодования). Я удаляюсь. (Сановнику.) Надеюсь, и вы…

Г е н е р а л. Но, господа, здесь я хозяин…

К а м е р г е р. Благодарю за гостеприимство.

Он пропускает сановника.

Г е н е р а л. Какой позор! Я готов сам уйти из своего дома!

Камергер выходит, хлопнув дверью. Зайчик лает ему вслед.

Г е н е р а л. Ну… теперь уж никаких колебаний. Собирайся. В субботу едем. Где чемодан?

С о ф ь я. Этого не будет.

Генерал хочет пройти во внутреннюю дверь. Софья загораживает путь.

— Пусти, как ты смеешь!

— Не пущу. Пиши, что болен, что стар, пиши, что хочешь, но отказывайся…

Застонав вдруг, схватившись за голову, генерал опускается на стул.

— Враги… враги…

Зайчик растерянно смотрит то на одного, то на другого.

Изображение вдруг расплывается, слышен глухой удар.

Кабинет гестапо. Ночь. В комнате горит электрический свет. Софья лежит на полу, потеряв сознание.

Солдат, сидящий в кресле у стола, откладывает газету, неторопливо встает, берет графин и, опрокинув его, выливает воду на лицо Софье.

Дрогнули веки, открылись.

— Встать, встать!..

Солдат грубо хватает Софью за плечи, поднимает, ставит к стене.

Софья медленно обводит глазами комнату, как бы впервые увидев ее. Здесь была некогда гостиница, гостиничный номер. На стене выцветшее пятно — место, где висела картина. Кресла тоже тут, видимо, остались от прежней жизни. А вот огромный стальной сейф, письменный стол. За столом развалился в кресле все тот же солдат. Окно… раскрытое окно… Огни Парижа, ночное небо.

Возникает музыка. То ли это реальность — музыка, доносящаяся откуда-то, или она тоже какое-то воспоминание…

Софья вдруг бросается к окну. Она бежит к окну, выбросив

вперед руки… Но солдат вскакивает с места. Он перехватывает ее в последнее мгновение, когда Софья почти за окном.

Слышатся крики, топот ног, в кабинет вбегает несколько гестаповцев.

— Убрать! Убрать ее отсюда…

Темнота.

Раздается голос Софьи. Это прерывистый шепот, сменяющийся по временам вздохом, тишиной. Едва намечаются, а потом становятся яснее какие-то круги, нечто вроде тех, что появляются на воде, когда в нее бросают камень. И только несколько позже сквозь эти круги начнет вырисовываться вначале смутное, а потом все более ясное изображение.

Светлое пятно становится четким и превращается в электрическую лампочку.

Вместе с Софьей, к которой возвращается сознание, мы осматриваем помещение, в котором она оказалась. Это ванная комната в гостиничном номере.

Софья лежит на кафельном полу.

Г о л о с С о ф ь и. Где я?.. Да… гестапо… Здесь отель был… да… тот самый… Континенталь… Поднимись… ну, поднимись… Пожалуйста… поднимись…

С великими усилиями она пытается приподняться, падает, еще, еще, еще попытка, и наконец ей удается сесть на полу, прислонившись к стене.

— …Континенталь… Здесь ресторан… с Сережей… Такая лепка безвкусная… амуры на потолке… Когда же это случилось?.. с листовками… когда в тот день? Новогодний? Я помню… взяла листовки у Сережи… краской пахли… в сумку… понесла домой…

Улица, снег. Немецкий патруль останавливает Софью.

— Документы, документы… — протягивает руку офицер.

Софья подает ему так называемую «карт д’идентите» — удостоверение личности.

Второй офицер, то ли заинтересовавшись Софьей, то ли просто так, говорит:

— Вместительная у вас сумочка… целый чемодан. Что же фрейлейн в нем носит, если не секрет?

— Секрет? Что вы, никакого секрета, — отвечает Софья. — Самые обыкновенные бомбы, месье.

Офицеры рассмеялись, Софье возвращают ее «карт д’идентите», и она идет дальше.

Софья дома, в своей комнате. Снимает меховую шапочку, прячет сумку в шкаф, запирает его и привычно кладет ключ на книжную полку, за книги.

Г о л о с С о ф ь и. Именно так. Я положила ключ на обычное место. У меня не было никаких опасений. На следующий день я должна была передать эти листовки связному… В какое же время все случилось? Я долго была дома и только часов в пять ушла… Ну, конечно, это произошло перед вечером, ни меня, ни папы не было — Лялька приходил за своими вещами с этим типом… Ключ от парадного у Ляльки оставался… А когда я вернулась… Кто же тогда был у нас в гостях?..

В гостиной, кроме Софьи, мы видим профессора Баньоля и графа — господина, с которым мы уже познакомились, когда он рассказывал о своей ленте Андрея Первозванного. На столе раскрытая коробка конфет, чашка чая. Зайчик в кресле, в углу.

— Настоящие конфеты… — всплескивает руками Софья, выбирает одну и отправляет ее в рот. — Где вы их достали, мэтр?

— Пациент, конечно.

— Тот немец? Рыжий, из пятой палаты?

— Да. Выписался сегодня. Везучий. А что генерал?

— Папа неважно чувствует себя. Просил извинить.

Г р а ф. Когда же, профессор, покончат, наконец, с проклятым раком?

Б а н ь о л ь. Когда это случится — вы сами узнаете. Во всем мире люди будут кричать «ура» и обниматься, будут демонстрации, флаги… Боюсь только, что к этому времени сделают такой снаряд, который весь этот веселый мир разнесет на куски… Да… снова сегодня, даже в новогодний день, красные афиши…

Г р а ф. Эти расстрелы…

С о ф ь я. Кто же?

Б а н ь о л ь. Заложники. Двадцать имен.

Г р а ф. Да, оскандалились вы, французы. С Гитлером воевать — это вам не с русскими эмигрантами…

Звонок. Софья выходит и возвращается с Моро.

М о р о. Мое почтение. С новым годом, господа! — Он пожимает руку графу, протягивает руку Баньолю: — Дружище…

Однако Баньоль продолжает держать чашку в одной руке и блюдце — в другой.

— Прости. Обе заняты.

Моро обращается к Софье:

— Как отец? Здоров? Я в Париж ненадолго. Несколько деликатных поручений маршала.

Софья подает Моро чашку чая.

— Я делаю карьеру — подаю чашку министру французской республики.

Б а н ь о л ь. Республики больше нет. Они ее ведь

отменили — там, в своем казино в Виши.

М о р о. Оставь. Я должен с тобой серьезно поговорить, Жак.

Б а н ь о л ь. Ты? Со мной?

Г р а ф. Господа, вы слышали, у немцев катастрофа — они никак не могут узнать, кто во Франции еврей, кто не еврей. В России было просто: жид — так у тебя в паспорте и значится. А ваши французы… как же: республика, коммуна, палата депутатов… в документах ничего. Все французы. Вив ля Франс.

М о р о (Баньолю). Я заеду вечером. Можешь относиться ко мне, как хочешь, но у меня поручение…

Б а н ь о л ь. Считай, что ты мне уже его изложил и я уже отказался.

М о р о. Но, Жак, ты не знаешь…

Б а н ь о л ь. Я знаю, от кого оно, и этого достаточно. Передай, что профессор Баньоль очень занят и в дальнейшем у него тоже никогда не будет времени для сотрудничества с предателями Франции.

М о р о. Я полагаю, господин Баньоль, что даже наша сорокалетняя дружба не дает вам права на эти слова.

Б а н ь о л ь. Сорокалетняя ошибка.

М о р о. Будем считать ее исправленной. (Софье). Позвольте откланяться.

Б а н ь о л ь. «Лучше быть живым рабом, чем мертвым героем»… Франция не забудет это «мо» своего знаменитого романиста Поля Моро. Это так верно сказано: «живым рабом»!

Дверь ванной комнаты резко открывается. Входят двое эсэсовцев.

— Встать! Встать!

Они грубо подхватывают Софью под руки и выводят.

В кабинете Софью сажают на этот раз не у дверей, а на стул против стола следователя.

На окне — решетка.

Рядом со следователем важный гестаповский чин.

— Будете говорить? — обращается следователь к Софье.

Она молчит.

— Можно начинать? — спрашивает следователь чиновника.

Рассматривая Софью, тот чуть наклоняет голову.

— Впустите.

Дверь открывается. Алексей — брат Софьи — входит и останавливается, испуганно глядя на гестаповца. Пауза.

Алексей медленно переводит взгляд, видит Софью и, вскрикнув, закрывает лицо руками.

— Сюда, сюда пройдите. Сядьте.

Алексей опускается на стул против сестры. Софья в разорванном, окровавленном платье, покрытая рубцами, с висящей плетью — сломанной — рукой.

С жалостью смотрит Софья на брата. И он смотрит на нее. Слезы льются по лицу Алексея. Руки судорожно сцеплены.

— Свидетель, откуда вы достали вот это? — спрашивает его следователь, показывая листовку. — Расскажите подробно.

Но Алексей дрожит, глотает слезы, не может говорить.

— Ляля, успокойся, — тихо говорит Софья, — нехорошо…

— Ваши показания записаны, и требуется только, чтобы вы их повторили. Не пытайтесь ничего менять, не советую… Ну…

— Сейчас, — все еще дрожа, говорит Алексей. — Сейчас… дайте глоток…

Гестаповский чин наливает воду, пододвигает к краю стола стакан.

Зубы стучат о край стакана, рука Алексея дрожит, вода расплескивается.

— Ну, потрудитесь говорить. У нас нет времени…

— Все тогда вышло… случайно… совсем случайно… Я жил уже не у отца и только пришел за своими вещами…

Маленький ключ вставляется в отверстие английского замка.

Ляля открывает дверь и вместе со Светом Стрельцовым входит в переднюю.

Л я л я. Никого… Не раздевайся. Морозиловка у них — жуть. Сложу вещички, и поедем. Что же Корн?

С в е т. Анекдот. Я ему — возьмите в компаньоны. У меня теперь большое состояние. Закрутим порнографические фильмы — мир закачается… а то ведь я деньги спущу. Он смотрит как собака, у которой зубы болят… «Мне теперь не до кино. А деньги вы и так спустите». И пошел. Нос на квинте, хвост поджат. Америка… Слушай, твои и не знают, что живут уже в моем доме?

— По-моему, не знают.

— Вот не думал, что стану капиталистом.

— Почему тебе так везет? Я что только не пробовал.

— Твой коммерческий потолок — свистнуть у сестры монету на бистро, да и то, с тех пор как старик тебя отселил… Ну, почему ты не удержался в управляющих? Немцы тебе такую должность дали. Эх ты, и зачем я их просил! Червь ты.

— Я не червь.

Комната следователя. Алексей замолчал.

— Ну, дальше… говорите, почему замолчали? Все ведь уже

записано.

Комната у Звенигородских.

Алексей продолжает говорить:

— …я не червь. И с немцами не вожусь, как некоторые…

— Дурак ты, дурак.

— Дурак — не предатель.

Свет достает из кармана маленький гробик, показывает Алексею:

— Не твоя работа?

На гробике написано: «Вот что тебя ждет, предатель!»

— Не ты? Да нет, ты и на это не способен. Эх ты, червь, думаешь меня можно оскорбить этим словом? Да, я предатель, изменник, такой же, как князь Курбский, Кориолан. Только мещанин не поймет, что история, бывает, не только дает право стать изменником родины, но обязывает к этому. Мы, эмигранты, имеем нравственное право и даже долг… Да что я с тобой говорю, ничтожество.

Алексей заглядывает в буфет, свистит. Свет достает из кармана плоскую бутылку.

Алексей берет бутылку дрожащими руками.

— Это что? Какой?

— Пей, потом разберешься.

Алексей выпивает стопку, хватается за горло:

— У-ухх… Ну и ну… вещь… полжизни за кусок лимона… Видел твоих бывших. Ну и шик-бабы стали. На французов и не смотрят…

Он наливает и протягивает Свету стопку.

— Не хочу. Забирай всю флягу.

— Не шутишь?.. Ваше драгоценное…

И без того нетрезвый Алексей, опрокинув подряд две стопки, окончательно захмелел.

— Слушай, тс-с… Это что? Знаешь?

Алексей показывает два поднятых кверху пальца.

— Видал, — отвечает Свет, — по утрам всюду намалевано. Даже на писсуарах. Немцы стирают…

— Давай ухо… Это латинское «ве» — «виктуар» — победа. Понял? Немец-перец, колбаса, кислая капуста, скушал лошадь без хвоста и сказал — «как вкусно»… Мне один сказал — вчера двух пускали в расход — француза и русского… вместе связали… а? Аллегория?

Разговаривая, они проходят по коридору, по направлению к комнате Алексея. Но у Софьиной двери Алексей задерживается:

— Гм… посмотреть у Сони…

Он входит в комнату. Свет остается в дверях.

— …Если только ключ на старом месте… — бормочет Алексей.

Засовывает руку за книги, достает ключ.

— Ну-ка, ну-ка…

Отпирает шкаф. Там сумка.

— …а, старая знакомая… гм… Ни сантима, что за свинство…

— Роешься по сумкам, червь…

Алексей вытаскивает листовки, взглянул, свистнул. Поспешно засовывает их обратно.

— Что ты там прячешь, — говорит Свет, — ну-ка…

— Да нет тут ни сантима…

Свет поднимает упавшую листовку, читает.

— Отдай, я положу на место.

— Вот открытие!

— Пожалуйста, Свет, отдай.

— «…создавайте подпольные группы Сопротивления, готовьтесь к возобновлению вооруженной борьбы, остерегайтесь болтунов и предателей, собирайте и доставляйте нам полезные сведения»… Кто бы подумал… Софья Александровна…

— Свет, ты никому не расскажешь, правда? Дай сюда.

Свет складывает листовку, кладет в карман.

— Свет, мы друзья. Ты не можешь сделать такую подлость.

— Именно эту подлость я собираюсь сделать. Ну, Сонечка…

— Свет, ради бога, ты не можешь, не смеешь…

— Убери руки. Идем.

— Я не позволю, не дам…

— Иди, иди, червяк. Ладно, я еще подумаю… Запри. Ключ на место…

Кабинет гестапо.

Алексей закончил рассказ. Сидит, опустив голову.

С л е д о в а т е л ь. Вы слышали показания свидетеля. Есть еще второй — господин Стрельцов. Вы полностью изобличены. Можете смягчить свою участь только чистосердечным раскаянием. Если дадите нам сведения о членах организации, о явках и паролях… Не заговорите — будете казнены, а до того… сами знаете, что вас ожидает до того…

Вдруг Алексей падает перед Софьей на колени, истерически крича:

— Прости! Прости! Помилуй меня!

Он ползает у ее ног, хватается рукой за оборванный край платья, целует его.

Следователь нажимает кнопку звонка. Входит солдат.

— Уберите.

Солдат подхватывает Алексея под руки.

— Идите, — говорит следователь. — А ну,-марш отсюда, если не хочешь остаться.

Солдату приходится почти тащить Алексея. Тот рвется назад, протягивает руки к Софье:

— Ради бога… скажи… помилуй… Соня, Соня, Сонечка…

Дверь закрывается.

Важный гестаповский чин обходит стол, садится против Софьи на место, где сидел Алексей.

— Итак, фрейлейн, у нас с вами последний разговор. Все, что вы испытали до сих пор, было детской игрушкой по сравнению с тем, что вас ожидает. А когда кончатся пытки, вас не будут расстреливать, нет. Женщинам мы отрубаем голову. Подумайте еще раз. Ради чего? Ни здесь, ни на родине никто даже не узнает о вас никогда… Итак?..

Пауза.

Гестаповец встает.

— Что ж… Продолжим…

Следователь нажимает кнопку звонка.

Темнота. Музыка. И как когда-то вначале замелькали в тумане то березовая рощица и барский дом на холме, то белочка, бегущая по ветке, распустив роскошный хвост, то только туман клубится, то девочка — маленькая Соня — бежит по саду и черная собачка радостно гонится за ней. И снова туман, туман, туман — множество оттенков от белого до черного, то он плывет, то клубится, то несется с бешеной быстротой… туман, туман…

Софья входит в кабинет профессора Баньоля.

— Что с вами? — спрашивает Баньоль. — Что случилось?

— Немцы предложили отцу ехать в Россию, и он согласился… Заперся теперь у себя… Как могут близкие, родные люди…

— Дорогая моя, границы теперь проходят не между государствами, а между людьми, сквозь семьи, через сердца проходят…

И снова Софья входит в тот же кабинет профессора:

— Пришли…

— Гм… вы уверены, что это не провокация?

— Мне кажется… у них честные глаза…

— Самые честные глаза обычно у начальников полиции. Вы проверили, как условились?

— Да. Они от коммунистов.

— Ну, что же, пригласите…

Софья вводит в кабинет двоих — молодого, модно одетого человека и рабочего средних лет.

— Знакомьтесь, — говорит она, — месье Пьер, месье Жан.

— Ты?.. — удивленно обращается Баньоль к молодому.

— Метр! — он бросается к профессору, тот его обнимает.

— Клод! Вот кто этот таинственный незнакомец!

— А я ожидал встретить кого угодно…

— Он был моим самым ленивым студентом, — говорит Софье Баньоль.

— Это наш великий Баньоль, — сообщает молодой своему спутнику.

— Ну, ну, без грубой лести, — обрывает Баньоль. — Позволь, Клод, так ты коммунист! — И, обращаясь к рабочему: — И вы держите в партии этого шалопая?

— Заверю вас, он отличный боец и отличный товарищ.

— Гм… гм… чего же ждут от нас коммунисты?

Р а б о ч и й. Оружия. Наши люди гибнут потому, что у нас не хватает оружия… Мы понимаем, конечно, что вы сами не можете решить…

Б а н ь о л ь. Мадемуазель Софи, я могу попросить вас… по чашечке кофе. Садитесь, пожалуйста, господа, желудевый, но все-таки кофе… Конечно, я могу только передать… Вы не находите, господа, что Гитлеру нужно дать медаль за сплочение французов? Если бы кто-нибудь сказал, что я буду вести переговоры с коммунистами…

К л о д. Многие только теперь осознали себя французами. Жили не задумываясь о том, кто они… Но цена дорогая… очень дорогая цена…

Р а б о ч и й. Мы себе даже не представляем, какие гигантские массы французов втянуты в Сопротивление… Спасибо, приятно вот так посидеть по-человечески… как в старое время…

Б а н ь о л ь. Да, Франция поднимается… поднимается… Спасибо, Софи. А себе?

Вдруг пронзительно взвыла сирена.

На миг все замерли.

Баньоль бросается к окну.

По улице проносятся — одна за другой — пять полицейских автомашин.

— Мимо… — с облегчением произносит Баньоль.

Ослепляющий луч мощного прожектора направлен в лицо Софьи. Мы не видим ничего, кроме ее лица и светового луча.

Глаза Софьи закрыты, но отвернуть голову она, как видно, не может — чудовищной силы свет бьет прямо в лицо. Брови

страдальчески сдвинуты, закушена губа.

— Ну, как настроение, фрейлейн? Будем говорить?.. Ну, ну, как хотите… у нас есть время…

Голос следователя гулко звучит под сводами подземелья, которые угадываются в полутьме.

Здесь в углу на обыкновенном канцелярском письменном столе горит лампа, за столом двое гестаповцев — следователь и все тот же важный чин.

Снова крупный план. Лицо Софьи. До предела напряжены мускулы лица. Дрожат веки. Все так же закушена губа. По временам судорога пробегает по лицу.

Чин предлагает следователю сигарету, они закуривают.

— Итальянская?.. — взглянув на марку сигареты, говорит следователь.

— Да, итальянская, итальянская, — вздохнув, откликается чин. — Теперь забудьте… у меня был запас.

Что-то чуть-чуть изменилось в лице Софьи. До нее долетают слова гестаповцев.

— А вы слышали?.. — следователь понижает голос, слов теперь не разобрать.

— Да, да, да… — сокрушенно отвечает чин, — кто мог предвидеть?..

Из-под закрытых век Софьи скатываются две слезинки, и вдруг она, не открывая глаз, улыбнулась.

Г о л о с С о ф ь и. …Владик, Владик, дорогой мой… ты слышишь, Владик?..

В гостиной комнате в доме генерала Софья и профессор Баньоль. Софья напряженно смотрит в окно.

— Что это? Такси заезжает к нам во двор… Да, это Валя. Ну, конечно, Валя Охотников…

— Вы его ждали?

— Нет. Почему с черного хода?

Зайчик насторожился, вскочил, прислушивается.

Стучат.

— Может быть, вам уйти?

— Открывайте.

Софья выходит на кухню. Маленькая дверь черного хода.

— Кто там?

— Я… Валентин… Скорее…

Софья открывает дверь. За нею Охотников, поддерживающий человека в изорванной, окровавленной лагерной одежде…

— Боже мой… давайте я помогу… Сюда…

Вдвоем они вносят Владлена Романова в гостиную. Баньоль

помогает им.

— На диван.

— Подстелить бы… кровь…

— Господи, какие глупости. Подушку подложите… да он весь изорван… Метр, счастье, что вы…

Баньоль наклоняется над Романовым.

Охотников шепотом быстро говорит. Софье:

— Какую-то мерзкую старуху отвозил в деревню… Возвращаюсь — что-то мелькнуло за деревом… проскочил… Нет, думаю, что это было?.. Разворачиваюсь… Так и есть. Смотрит на меня, молчит. Вижу лицо, глаза… Русский? Русский, оказывается. Из лагеря бежал. Советский лейтенант. Я его в машину, на пол. Куда, думаю? Ко мне? Консьержка сразу в полицию. К вам. Больше некуда.

— Вот записка, — Баньоль подает ее Охотникову, — быстро в клинику. Инструменты, прочее. Пусть приедет Сергей. Ассистировать.

— Моментом… — отвечает Валентин и выбегает из комнаты.

— Пуля в груди, — говорит профессор, — выходного отверстия не нахожу. Видимо, искусан собаками. Большая потеря крови.

— Вы думаете?..

— Попробуем. Телефон в передней?

Баньоль выходит.

Софья; наклоняется над Владленом, лежащим без сознания.

Генерал у себя в кабинете. Услышав шум, он выходит в гостиную.

— Что случилось? Кто это? Почему кровь? Кто такой, я спрашиваю.

— Раненый. Профессор будет его сейчас оперировать.

— Какой раненый? Что происходит в моем доме?

— Это русский офицер. Бежал из лагеря.

— Русский?.. Советский?

— Да. Советский.

— Позволь, почему у нас? И ведь за это расстрел…

Баньоль возвращается, подходит к Романову.

— Его надо изолировать. Кто-нибудь может зайти.

— В папин кабинет.

— Поднимайте осторожно. Заходите с той стороны… тихо…

— Что вы делаете?.. — говорит генерал. — Я не позволю…

— Поддержи его, папа…

— Слышите, я не позволяю…

— Ну! Поддержи ноги. Ради бога, осторожно…

Генерал поддерживает нош Романова, помогает нести его и

говорит:

— Черт знает что! Я не разрешаю, слышите, не разрешаю… Это мой дом, в конце концов…

Раненого вносят в кабинет генерала.

Все так же ослепительно бьет луч прожектора. Голова Софьи опущена. Глаза закрыты — она потеряла сознание.

— Воду, воду, — слышен за кадром голос следователя, — давайте воду.

Ударяет мощная струя воды. Сознание возвращается. Судорога боли пробегает по лицу.

Г о л о с С о ф ь и (шепот). Еще нет… боже мой… еще не все…

Снова бессильно опускается голова, и снова ударяет вода.

Негромко зазвучала гитара, потом вступает мужской голос:

С берез неслышен, невесом
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист…

Кабинет генерала. Вечер. Задернуты шторы. В кресле Владлен Романов. Он в полосатых пижамных штанах и в генеральском кителе, наброшенном на плечи. Левое плечо перевязано. Владлен перебирает струны гитары, тихо напевает.

Софья сидит за столом отца. Слушает, подперев лицо руками. Зайчик у нее на коленях.

— Не надоело? — перебивает песню Владлен.

Софья отрицательно качает головой.

— У нас ее каждый знает. Мне кажется просто невероятным, что кто-то может ее не знать…

Под этот вальс весенним днем
Ходили мы на круг…

— На круг? — удивленно спрашивает Софья.

— То есть танцевали…

Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг.
Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет.

Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет…[1]

Пауза. Владлен молча перебирает струны.

— Нет, плохо еще слушаются…

Он сгибает и разгибает пальцы.

— Знаете, Владик, — говорит Софья, — у меня совершенно реальное ощущение, что эти дни я была дома, в России, вместе с вами. Мне кажется, я могла бы даже нарисовать все места, где мы были. Воробьевы горы и громадный зал Политехнического музея с таким крутым, крутым амфитеатром, и Красную площадь, и улицу Горького, и ваш дом у зоопарка, на Конюшковской…

— …двадцать восемь…

— …квартира четырнадцать, верно? А телефон? Какой у вас номер?

— У нас телефон коммунальный. Общий для всех жильцов квартиры. У нас три семьи живут. Телефон дэ два двадцать пять сорок пять.

— Легкий номер. Надо запомнить. А то как я позвоню вам, когда приеду? Алло! Это дэ два двадцать пять сорок пять?

— Да, вам кого?

— Владика попросите, пожалуйста, Владлена.

— Владлен у телефона. Кто говорит?

— Владик, это я, Соня.

— Какая Соня? Не помню.

— Это я, Владик, Соня, парижская Соня… Вот я приехала. Неужели забыли? Такая толстая, неуклюжая дама…

— А… с большой бородавкой на носу?

— Да, да, совершенно правильно.

— Гм… бородавку помню, а вас не помню.

— Владик, неужели вы все забыли?

— Гражданка, зачем вы пристаете к постороннему мужчине? Я занят. И не общаюсь с иностранками.

Владлен как бы кладет трубку на рычаг.

Они смеются.

— Господи, какое все-таки счастье, что удался побег, — говорит Софья.

— Что бы вам еще сыграть? — Он берет несколько аккордов.

— Нет, Владик, лучше расскажите, почему вы попали в тюрьму — ведь немцы должны были держать вас в концлагере?

— Я там и был, но оттуда угодил в тюрьму.

— За что?

— Да так, одна история… Честно говоря, не очень

аппетитная.

— Расскажите.

— Правда, это неинтересно.

— Но я прошу.

— Видите ли, у нас в лагере появились два типа. Русские. Вербуют к Власову. Обещают золотые горы. Люди умирающие, иной не встает уже, а не идут, не продаются… Сосед у меня, учитель из Сухиничей — глаза едва светятся, отходит человек… и так это буднично, просто говорит им: «Подлецы, повесим вас». И все. Не дышит. Ну, а кто послабее духом — не выдерживают, записываются. И вот мы с тремя москвичами принимаем решение. Заводим с этими вербовщиками разговор — то да се, какую выдают одежду, питание, какие вообще условия у Власова… И во время разговора заходим с ними за барак… В общем, мы их задушили. А что было делать? Задушили тихо, без шума. И все-таки дело открылось. Вот тогда-то нас в тюрьму.

— Как же вы оттуда бежали?

— Но вот это уж действительно неинтересная материя.

— Один бежали?

— Нет, с другом. С Суховым Александром, лейтенантом Суховым, Сашей… Меня схватил часовой, Саша на часового… Прикончили они его тут же…

— А вы? Это вас тогда приговорили к расстрелу?

— Да.

— Ну, и как же…

— Вывели сразу пятьдесят человек. Поставили у рва… Опомнился — живой. На мне тяжесть — трупы горой. Хочу выкарабкаться — невозможно. Ров глубокий. К счастью, его еще не засыпали…

— Как же вы выбрались?

— Да так, под утро вылез. В боку дырка, ползу как краб, рану рукой зажимаю… Да что я, в самом деле, разжалобить вас взялся?..

— Нет, нет, Владик, рассказывайте, пожалуйста, дальше. Я хочу все знать.

— Ну, что рассказывать… В общем, дела складывались довольно однообразно. Хватали, опять бегал, в вагоне пол разбирали. Из Бан Сен Жана мы удирали — есть такой лагерь смерти в Лотарингии. Двадцать человек нас бежало. Французы прятали, французские крестьяне. Мы спрашиваем — где у вас партизаны? Нашли. Так я стал комрад Вольдемар, О французах я совершенно изменил мнение. Раньше думал — что за нация? Гитлер проглотил их, как бутерброд. А тут… Каких я золотых ребят видел! Мы, славяне, среди них были, конечно, каплей в

море. Всего трое нас, русских, в отряде. Но французы нас признали. Меня даже избрали командиром. И я этим очень гордился. Это была моя вторая выборная должность в жизни — я профоргом был на курсе. Ну, потом каратели — дальше вы все знаете…

Пауза, и снова переборы гитары.

— Владик, а когда вы не стриженый — какие у вас волосы?

— Сама неопределенность. Нечто среднее между шатеном и блондином.

— А как причесаны?

— Назад. Лицо кажется более интеллигентным. Заменяет недостаток образования. Я ведь в сорок первом только на второй курс ИФЛИ перешел.

— ИФЛИ? Что это? Ваш институт?

— Конечно. Мне кажется странным, что кто-нибудь может не знать названия нашего знаменитого ИФЛИ. Институт истории, философии, литературы. Почти все наши ушли добровольцами. Кто жив из них? Был у нас такой Павлик — вся Москва его «Бригантину» пела…

— А вы тоже писали стихи?

— Кто не грешил в юности?

— Прочтите что-нибудь свое. Не забыли?

— Не забыл, да стихи нестоящие.

— Пожалуйста.

— Ладно, только чур, не смеяться. Терпите, раз сами захотели.

В каком-нибудь неведомом году
Случится это чудо непременно,
На землю нашу, милую звезду,
Слетятся гости изо всей вселенной.
Сплошным кольцом землян окружены,
Пройдут они по улицам столицы,
Покажутся праправнукам странны
Одежда их и неземные лица.
На марсианку с кожей голубой
Праправнук мой не сможет наглядеться,
Его земная, грешная любовь
И марсианки сердце голубое —
Как трудно будет людям двух миров…
Любимая, почти как нам с тобою…[2]

Замолчал Владлен. Молчат они оба.

— Свинство, конечно, что я вас своими стихами терзаю. Я

всегда презирал ребят, которые зачитывали людей своими виршами. А сам вот пал — не удержался.

— Когда вы эти стихи написали?

— Да давно… на фронте еще… Соня, вы думаете, они сегодня придут за мной?

— Да, безусловно. Там был один коммунист, член ЦК. Я все про вас им рассказала.

— А то у меня начинается воспаление совести. Отлежался тут у вас, а война идет.

— Вы бы поосторожней были.

— Я присягу принимал, я солдат. А вот кто вас тянул в самое пекло? Вообще странно, что в Сопротивление мог пойти человек из такой семьи. Знаете, иной раз слушаю вашего отца и думаю: вот бы показать его на наших политзанятиях, когда мы над Кратким курсом позевываем, — вот была бы иллюстрация… Или ваших гостей показать: «Господа, пожалуйте»… «Баронесса, вашу ручку»… Честное слово, мне иногда кажется, что я в театре, во МХАТе где-нибудь… Вот бы посмотрели наши студенты — умерли бы со смеха: Владик Романов в генеральском доме, у белоэмигрантов…

Помолчали, смотрят друг на друга.

— Вы действительно поедете в Москву, Соня?

— Как только кончится война. И навсегда.

— Твердо решили?

— Абсолютно. Ничто меня не удержит. Я хочу домой. Вы меня встретите?

— Ну, конечно. Это будет, наверное… на каком же… наверное, на Белорусском вокзале. Подойдет поезд… Знаете, иногда я думаю — не было бы войны… неужели я мог бы не знать, что вы есть на свете?.. Ничего не знал бы, не подозревал бы даже…

— Правда, жили на разных планетах. Владик, вы сделаете, о чем я попрошу?

— Конечно.

— Слово? И смеяться не будете?

— Слово. Не буду.

Софья снимает с себя и протягивает ему крестик на золотой цепочке.

— Это что такое?

— Мой крестильный крест. Наденьте. И никогда не снимайте.

— Что вы. Это невозможно.

— А слово?

— Надо мной смеяться будут. И еще проработают. Я ведь комсомолец.

— Владик, пожалуйста… Я очень прошу…

— Всегда был тряпкой… — Владлен подставляет голову.

Софья надевает на него крестик.

— Ладно, — говорит Владлен, — пускай прорабатывают.

Суд. Он происходит все в том же бывшем отеле «Континенталь», в зале, где помещался ресторан. Трое судей, секретарь и прокурор. За спиной Софьи конвоир. Никого больше в зале суда.

Раны зажили, но грубый рубец пересекает щеку Софьи — от угла рта к уху.

Позевывает, прикрывая рот рукой, судья, перелистывает дело.

Прокурор тоже углубился в бумаги. Когда он поднимает голову — мы узнаем в нем немецкого студента, который был с Софьей во время драки в парижском «Буат де нюи».

Секретарь суда, держа в руке бумагу, стоя читает ее.

Невдалеке от Софьи зарешеченное, но открытое настежь окно. Оттуда доносится щебет птиц, шум ветра, раскачиваются верхушки больших деревьев. И только эти шумы слышит Софья, а с нею вместе и мы.

Софья смотрит в окно, в то время как секретарь суда беззвучно оглашает обвинительное заключение…

И снова мы в доме генерала.

Все так же сидят друг против друга Софья и Владлен. Она за письменным столом, положив подбородок на руки, молчит, глядя на Владлена. Он также молчит и смотрит на нее. Пальцы едва слышно перебирают гитарные струны.

Не меняя позы, тихо спрашивает Софья:

— А вы действительно давно сочинили это стихотворение про марсианку?

— Вчера.

— Я так и думала.

И снова они молчат, глядя друг на друга.

Слышно — кто-то вошел в переднюю.

— Папа…

Генерал входит с пакетом, кладет его на стол.

— Ну, что нынче на улицах!.. Говорят, приехал некто — то ли Геринг, то ли сам фюрер. Вот кое-что достал… — Софья разбирает пакет, накрывает на стол тут же, в кабинете. Генерал достает из-за шкафа большой чемодан с ремнями, раскрывает его, начинает укладывать вещи.

— Ну-с, юноша, — говорит он, — собираетесь снова в бой?

— И вы тоже, если не ошибаюсь? Немцы присвоят вам свое

звание — как там у них генералы называются…

— Мне достаточно моего, русского. Все собираюсь вас спросить — что это у вас за имя — Владлен? Такого и в святцах нет.

— Родители назвали. Владимир Ленин — сокращенно Владлен…

— Гм… вот как… Ну, а как солдаты… красноармейцы к вам обращаются: «товарищ»?

— Товарищ старший лейтенант.

— Гм… А к генералу? Тоже…

— Тоже. «Товарищ генерал, разрешите обратиться».

— С ума можно сойти.

Генерал перестает укладывать вещи, садится против Владлена.

— Послушайте, нынче мы оба отправляемся в долгий путь, кто знает — кого что ждет, давайте поговорим как человек с человеком. Не часто, я думаю, бывают такие встречи…

— Единственная, наверно.

— Как вы думаете, если стрела попала в сердце и ходит, живет с ней человек годы, десятилетия… Вынуть нельзя… и не умираешь, живешь… Ведь больно…

Владлен молча слушает.

— Хорошо. Допустим, то, что случилось, принесло даже счастье пролетариям, мужикам, пусть… Но мы… наши дети? Поймите, какой несправедливостью, какой страшной жестокостью была революция для нас…

— Наверно, это была и вина и трагедия вашего класса.

— Ага! Вы это понимаете!

Звонок. Софья выходит в переднюю, посмотрев в глазок, открывает дверь. Входит дряхлый старик со свертком в руках.

— Мое почтенье…

— Знаю, — говорит Софья, — заходите, пожалуйста.

Они проходят в кабинет.

— Вот, Владлен, вам принесли одежду.

Старик кладет рядом с Владленом сверток.

— Тут все есть. Будете француз с головы до ног.

— Вы тоже из России? — спрашивает Владлен.

— Я буду из Екатеринослава.

— Похоже, вы не помещик, не капиталист — почему же эмигрировали?

— Все вышло через вывеску — «Часовщик Яков Золотницкий». А вся моя фабрика — это я и моя лупа. Тут гражданская война, большевики. Кто-то им делает террор, а они ночью берут заложников. И, конечно, Золотницкого. Заходят в

наш двор и по ошибке вместо Золотницкого забирают соседа — Златопольского. А утром в газете — «заложники расстреляны» и среди них я, Яков Золотницкий… Так что, по-вашему, я должен был ждать, чтобы они исправили ошибку?

— А здесь?..

— Тоже чиню часы у хозяина. Глаза уже… Мне восемьдесят шесть лет. А почему я помогаю коммунистам? Внук…

— Спасибо, товарищ Золотницкий. Передайте привет внуку.

— Вы даже не можете себе вообразить, что для моего мальчика будет, когда я скажу — тебе передал привет советский офицер.

— Старший лейтенант Романов.

— Не забуду. Когда будете там — у нас, расскажите, что живет такой анекдот… До свиданья, старший лейтенант Романов.

Софья идет провожать старика и возвращается.

Владлен подходит к генералу:

— Александр Иванович, в вашем доме меня спасли. Я это ценю, тем более, что вы, рискуя жизнью, укрываете своего врага. И все же мой долг сказать прямо, чтобы вы знали мое мнение — ваш отъезд в Россию с немцами — это измена родине…

— У меня ее давно нет…

Суд. Говорит судья. Что-то отвечает секретарь, потом говорит прокурор. Он старается не смотреть в сторону подсудимой и только изредка, коротко взглянув на нее, сразу же отводит взгляд.

Софья смотрит на него, слушает.

Г о л о с С о ф ь и. …Почему мне совсем не страшно?.. Совсем… Где я видела этого человека?.. И голос… странно…

Мы снова в кабинете генерала и слышим те же слова:

— Ваш отъезд в Россию с немцами — это измена родине…

— У меня ее давно нет…

— Неправда, есть. Если б вы видели, что фашисты творят на нашей земле…

— Я этому не сочувствую.

— Владлен, напрасно тратите время, — говорит Софья.

— Вы делаете непоправимый шаг, Александр Иванович.

— Если я оставляю своего ребенка и еду — поймите силу моей ненависти к большевикам!

— Ну вот, за вами, — говорит Софья, глядя в окно, и идет открывать дверь.

Входят Сергей и Охотников.

Охотников проходит в комнаты.

Сергей и Софья задерживаются в передней.

— Ты прости меня, Сережа… — тихо говорит Софья.

— Ну, что ты, что ты… Да и за что?

— Так, вообще… Прости, дай руку.

Сергей протягивает руку, и Софья вдруг целует ее.

— Что ты… Соня…

Они входят в кабинет.

Охотников помогает Владлену переодеться.

— Послушайте, товарищ Охотников, — говорит Владлен, — я вас даже не успел поблагодарить.

— Чепуха. Сам рад. Софья Александровна, свет моей души, самой, самой… вот такой малости не найдется? На дорожку…

— Ваша же бутылка. Сейчас принесу…

Звонок. Все замерли. Переглядываются.

Сергей подходит к окну:

— Гестапо!

Г е н е р а л. Так… Дождались…

С о ф ь я. Скорее… Черным ходом…

Длинный требовательный звонок. Громкий стук в дверь. Ее пытаются взломать.

Зайчик с лаем бросается в переднюю.

О х о т н и к о в. Поздно.

С о ф ь я. Сюда!

Она отдергивает портьеру. Владлен с помощью Сергея становится на подоконник. Софья быстро задергивает портьеру.

Грохот — взломана дверь.

Приближаются голоса.

В кабинет входят гестаповский офицер и ажан — французский полицейский.

Зайчик, рыча и скалясь, входит за ними, садится в углу.

О ф и ц е р. Почему не открываете, господа?

С о ф ь я. Джексон? Мистер Джексон?

О ф и ц е р. Похож на кого-то? Люди вообще похожи. Две руки, две ноги. У некоторых есть даже голова. Садитесь, господа. Курить можно? Благодарю! Собачку, пожалуйста, уберите. Спасибо. Работа у нас тяжелая, иногда хочется поболтать… Глоток свежего воздуха… Все война, война… я пацифист. Каждый интеллигентный человек — пацифист. С другой стороны — враги, евреи, поляки… их надо уничтожать. Вы скажете — нет логики. Ну и что? Меньше всего теперь нужна логика.

Раздается звонок.

О ф и ц е р. Гм… общество пополняется. Ажан, впустите… Вот наша жизнь — делаешь шаг, а куда? Пришел в гости и вдруг… Заходите, святой отец…

Ажан возвращается с отцом Серафимом.

О т е ц С е р а ф и м. Джексон? Вы?

О ф и ц е р. Ну, вот. И вы тоже. Присядьте. Придется задержаться. Жаль, не та обстановка, рассказал бы вам кое-что о религии и о людях. У нас на допросах, при казнях многое узнаешь. В сущности, священники и писатели должны бы годик-другой поработать у нас. Вот где вы узнали бы, что такое человек и достоин ли, чтобы его возвеличивали…

С о ф ь я. Ну, вот что — хватит. Вам дали приказ — зачем вы сюда явились? Потрудитесь выполнить и убирайтесь вон.

Наступает тяжкая пауза.

Офицер тушит сигарету.

— Да… Смелая фрейлейн. У нас именно такие сведения о вас — смелая. Ну, хорошо. Всем на одну сторону. Сюда. Ажан, начинайте от двери, я — отсюда…

Они обыскивают комнату.

— Будьте внимательны, ажан. О… сколько книг! Даже «Свод законов Российской империи». Увесистые, холодное оружие. Как там у вас? Ничего интересного?

— Пока ничего…

Ажан, проходя мимо окна, приоткрывает портьеру.

Софья замерла, сжала кулаки.

Сделав вид, что не заметил стоящего за портьерой Романова, ажан задергивает ее снова.

Офицер роется в книгах вполоборота к ажану, и, когда ажан отдергивает портьеру, офицер, не поворачиваясь в ту сторону, на мгновение застывает.

— А это что? — спрашивает офицер, снимая с полки шкатулку.

— Мои ордена, — отвечает генерал.

Офицер перебирает лежащие в шкатулке русские царские ордена.

— Вот они — свидетели бренности нашей жизни… Держа это, я испытываю то, что Гамлет чувствовал, держа в руке череп…

Он ставит шкатулку на место.

— Ну, что ж, господа, должен признать, что обыск не дал результатов. Бывают и у нас ошибки. Извините. Всего хорошего. Ажан…

Он выходит. Ажан идет следом. В дверях Софья останавливает ажана, быстро целует. Тот выходит.

Все стоят неподвижно. Прислушиваются.

Хлопнула выходная дверь.

— Побегу, проверю, — говорит Сергей и выходит.

О х о т н и к о в. Чудо?

Г е н е р а л. Ужас, ужас… Смотрите, как пальцы дрожат.

Сергей возвращается.

— Ушли!

— Ура! — кричит Охотников и распахивает портьеру.

Отец Серафим крестится.

— Поистине чудо, господа.

— Но ажан, ажан! — говорит Софья. — Вы не задохнулись там, Владик? Каков ажан, господа!

— Едем немедля… — торопит Охотников.

С о ф ь я. Да, не надо испытывать судьбу. Давайте сюда что нужно… Слушайте, голову на отсечение — это был Джексон… Скорее, скорее… оденетесь в машине.

Охотников открывает дверь в переднюю и захлопывает ее.

— Они вернулись!

Софья толкает Владлена за портьеру и становится перед нею.

Входят офицер с ажаном.

О ф и ц е р. Мы вернулись только на минуту. Извините, что без звонка — дверь теперь не запирается. У меня вопрос. Но прежде разрешите сигарету еще…

Он предлагает сигареты Софье.

— Как угодно…

Офицер садится, закуривает, закидывает ногу на ногу.

— А знаете, мадемуазель Софья, кто вас выдал? Не догадываетесь? Ничего, встретитесь на очной ставке. Расскажете о своей организации, кто в нее входит и прочее. Мы ведь знаем, что вы ничего не записывали. Все у вас в памяти. Будем вас просить все рассказать… Я ведь приехал, чтобы вас арестовать, но тут встретилось любопытное обстоятельство, и я устроил этот маленький спектакль с уходом и возвращением. У меня слабость к эффектам. Ажан, положите пистолет на стол. Теперь идите к окну. Откройте портьеру.

Распахнув портьеру, Владлен бросается на гестаповца. Борьба. Владлен валит офицера на подоконник. Звон разбитого стекла. В комнату врывается ветер и снег.

Зайчик в испуге лает, бегая из стороны в сторону.

Офицеру удается высвободить руку и вырвать револьвер из кобуры.

Софья хватает пистолет ажана, лежащий на столе, и в упор стреляет в гестаповца. Он падает.

Владлен поднимается. Все молчат. Воет ветер, врываясь в окно. Летит по комнате снег.

Г е н е р а л. Ну, теперь всем конец.

С о ф ь я. Валя, Сережа, спасайте его, ради бога…

О т е ц С е р а ф и м (снимает рясу). Надевайте…

Владлену помогают надеть рясу.

В л а д л е н. Но только уходим все вместе…

С о ф ь я. Да, да, конечно. Черным ходом… проходите вперед. Скорее. Я за вами… Иду, иду, Владик. Ради бога, идите же…

Охотников и Сергей уводят Владлена.

С о ф ь я (смотрит в окно). Все, все, уходите скорее, скорей…

Г е н е р а л. А ты?

С о ф ь я. Я за вами… Скорей, скорей…

Перекрестив Софью, уходит отец Серафим, за ним ажан.

С о ф ь я. Папа, иди! Иди скорее…

Г е н е р а л. Только с тобой!

В передней шум, голоса:

— Где стреляли?

С о ф ь я. Умоляю, уходи! Я должна остановить, задержать…

Г е н е р а л. Сейчас же убирайся отсюда!

С о ф ь я. Папа, папа, пожалуйста!.. Поздно!

Распахивается дверь. Софья стреляет навстречу входящим гестаповцам. Они отступают. Из-за двери раздаются ответные выстрелы.

Софья стреляет, стреляет, стреляет… Осечка. Больше нет патронов.

Гестаповцы врываются в комнату.

Генерал заслоняет собою Софью. Выстрелы. Он падает, убитый. По комнатам гуляет ветер. Носятся снежинки…

Суд. Софья стоя выслушивает приговор.

Судья читает его ровным, бесстрастным голосом, как обычную канцелярскую бумажку:

— …и руководствуясь положениями статьи 135-й судебного уложения, приговаривается к смертной казни. Введет а следующего.

Софья выходит из зала суда, а навстречу ей уже идет под конвоем следующий подсудимый — старый, сгорбленный человек. Он, вероятно, носит очки, а сейчас их у него нет, и оттого он передвигается с опаской, инстинктивно выставляя вперед руки.

Г о л о с С о ф ь и. Вот и все. Вот и все…

Во дворе ожидает арестантская машина.

Софья входит. Захлопывается дверь. Машина выезжает за ворота.

Софья пододвигается к зарешеченному оконцу и вдруг замечает, как от стены отделяется маленькое существо: Зайчик бросается вслед за машиной. Он мчится изо всех сил по улицам, то отставая, то вновь догоняя машину. Софья смотрит на него сквозь решетку.

Оживленные предвечерние улицы и площади Парижа сменяются за решеткой, и все бежит и бежит, бежит и бежит за машиной, как символ верности, маленькая собачонка.

ЧЕРЕЗ ГОД, В БЕРЛИНЕ…

Город лежит в руинах. Беспощадная бомбежка. Тучи машин с красными звездами на фюзеляжах сбрасывают бомбы. Только пролетели советские самолеты, навстречу летят эскадрильи союзников. Рвутся бомбы, взлетают на воздух здания.

Но вот наступает тишина.

Открывается дверь камеры в Берлинской тюрьме.

— Скорее, скорее, скорее…

Софья выходит из своей одиночки.

Ее поспешно ведут по коридору, вниз по лестнице, и всюду на пути следования раздаются крики из тюремных камер:

— Прощай, товарищ!

— Звери! Звери! Негодяи!

— Прощайте!

— Держись, друг, держись!

В двери камер стучат кулаками, ногами…

Внизу, у дверей, ведущих во двор, ожидает небольшая группа. Начальник тюрьмы, палач, прокурор и двое солдат.

Прокурор поднимает голову и встречается со взглядом Софьи.

— Опять вы?.. — усмехнувшись, говорит она. — Какая верность…

Открывается дверь, процессия выходит во двор и направляется в глубину его — туда, где стоит приземистое мрачное здание…

Нахмурившись, идет прокурор за Софьей. Блестят наручники на запястьях ее заложенных за спину рук.

Высокий, рыжий солдат идет ухмыляясь, гримасничая. Начинает свистеть…

Начальник тюрьмы. Это что… что это значит?

Второй солдат. Он, ваша честь, уже несколько дней чудит.

Начальник тюрьмы. За каким же чертом его назначили в наряд?

Группа подошла к раскрытым дверям здания. В глубине его возвышается гильотина. Блестит поднятый нож..

Вдруг оглушительный вой самолетов и запоздавший сигнал — сирена.

Отрываются, летят вниз бомбы от краснозвездных машин.

Начальник тюрьмы бросается ко входу в бункер:

— Сюда, сюда…

А бомбовые удары уже сотрясают воздух.

В бомбоубежище сбегает, почти скатывается начальник тюрьмы, за ним палач, прокурор.

— Сюда ее ведите!

Свист бомб. Взрывы.

По лестнице спускаются двое солдат и Софья.

П а л а ч. Раньше прилетали только в хорошую погоду.

Н а ч а л ь н и к т ю р ь м ы. Располагайтесь. Это может затянуться. (Софье.) И вы садитесь. (Прокурору.) В углу тюфяк, не усидишь на бетоне, когда бомбят по пять часов…

П а л а ч. Защитники цивилизации…

Р ы ж и й с о л д а т. Вот когда самое время воскреснуть…

Слышны разрывы. Рыжий солдат начинает тихо смеяться.

Близкие разрывы.

Начальник тюрьмы, палач и солдаты отбегают в глубину подвала.

Прокурор подходит к осужденной.

— Мне очень жаль, что вам приходится испытать еще это… Ожидание страшней всего.

— Ожидание… — усмехнувшись, отвечает Софья. — Я жду казни год. Каждую ночь.

Прокурор достает портсигар.

— Разрешите?.. Могу я вам предложить?

Он открывает ее наручники, Софья растирает запястья, берет сигарету.

— Фрейлейн Софья, — говорит прокурор. — Я рад, что у меня есть случай сказать вам, что я вас очень уважаю и мне прискорбно… Я не знал, что могут быть такие женщины. Если б я не боялся красивых слов, сказал бы, что снимаю шляпу и склоняю голову перед вами.

Пауза. Оба курят.

— Вы помните эту «Буат де нюи» и наше знакомство?.. Впрочем, почему бы вам запомнить какого-то студента из скучного Берлина?

— Да… — говорит Софья, — какая чудная драка была…

Вой бомб. Разрывы.

С о ф ь я. Забавно. Все молят бога, чтобы скорей кончился этот налет, и только для меня он как веселый весенний дождик.

Разрывы.

— Наверно, Берлин очень разрушен?..

— Сплошные руины. Трупы не успевают убирать. Семья брата погибла. Прямое попадание.

— Мгновенная смерть… Повезло… Ну, а фюрер? Бежал?

— Фрейлейн…

— Никогда бы не поверила, что счастьем может быть

разрушение и смерть. А я ведь по-настоящему счастлива, что дожила и слышу, как разрушают ваш разбойничий мир.

— Знаете, на вашем суде я чувствовал себя персонажем Достоевского. Требую казни и думаю: вот женщина, которой должно гордиться человечество…

— Имейте в виду, прокурор, у меня очень развито чувство юмора.

— Мои слова сейчас нелепы, кощунственны… Не в моей власти спасти вас, но… могу ли я сделать хоть что-нибудь для вас?.. Какое-нибудь желание?

— У вас нет гребенки?

— Гребенки? Ах, гребенки… Пожалуйста. И это все?

— Что же еще… Дайте мне побыть одной, пока… в общем, пока возможно…

— Конечно…

Он оставляет Софье пачку сигарет и зажигалку.

— О, тут несколько штук, — говорит она, — еще останется.

Прокурор отходит в глубину, к столу коменданта.

Софья щелкает зажигалкой.

Закуривает.

Г о л о с С о ф ь и (шепот). Прощай, мой любимый, так мало мы были вместе. Жаль, ты не видишь, как я хорошо держусь. Как странно — я была такой трусихой, а теперь мне совсем не страшно. Я знаю, за что умираю. И только жалко, что наша родина никогда не узнает, что я любила ее и защищала, как могла… Что делать… Любимый мой, думай обо мне, как о живой… Я хотела бы помолиться о тебе, но не могу… Прощай, любимый…

Начальник тюрьмы прислушивается:

— Кажется, стихло…

Вдруг рыжий солдат во весь голос вопит:

— Ко мне! Спасите! На помощь!

Начальник тюрьмы бросается к нему и кричит второму солдату:

— Держи его! Скорей! Ну, тихо, тихо. Все в порядке.

Прокурор подходит к Софье:

— Последнее хочу сказать вам… Я сдаюсь. Все зачеркиваю. Всю жизнь. Каждый день.

— Страшно, должно быть…

— Да. Страшно…

Начальник тюрьмы отпускает рыжего солдата.

— Пусть полежит, пусть остается здесь.

— Можно идти, — выглянув из бункера, говорит палач.

Софья протягивает прокурору сигареты и зажигалку:

— Тут еще две остались.

Начальник тюрьмы защелкивает на ее руках наручники.

— Следуйте за мной.

Вся процессия поднимается по лестнице из бункера.

Рыжий солдат, смеясь, подходит к тому месту, где сидела Софья.

В здании, где гильотина.

Софья сидит на низкой табуретке, наклонив голову.

Палач выстригает ей ножницами волосы на затылке.

— Все в порядке, — говорит он и подводит ее к гильотине.

Мы видим вершину гильотины. Сверкающий косой нож между двух направляющих балок.

Возникает вой летящих самолетов и свист летящих бомб.

— Кончайте скорее!.. — истерически кричит начальник тюрьмы.

Палач протягивает руку…

Снова вершина гильотины.

Нож срывается, стремительно падает, издавая свистящий металлический звук.

И вдруг: могучие волны оркестра, и мы видим сияющий пейзаж России.

Синее небо, зелень луга, белизна берез…

А вслед за тем, плавно сменяясь, проходят перед нами удивительной красоты виды России.

И современная Россия. Сегодняшняя Москва. И Ленинград. И очаровательный маленький городок на Волге…

Мирная жизнь. Всюду мирная жизнь.

Мы видим сверкающий, солнечный Париж наших дней.

Будто и не было войны.

Люди живут, смеются, спешат куда-то…

Затем так же неожиданно, как возник, смолкает оркестр.

И на экране снова бомбоубежище.

По лестнице сбегают, почти скатываются палач, начальник тюрьмы и второй солдат.

Свист бомб, взрывы, взрывы, они сливаются в сплошной гул.

— Слава богу, успели до налета, — говорит палач.

— Люди… — рыжий солдат громко смеется. Он замечает оставленный Софьей окурок. Наклоняется, поднимает.

— Дымится еще… — он затягивается, пускает дым.

— Господин прокурор! — кричит начальник тюрьмы. — Спускайтесь скорее! Что с вами?!

Взрывы.

Прокурор спускается, подходит к тому месту, где была Софья.

— Фу… — начальник тюрьмы вытирает вспотевший лоб, — еле успели. У них теперь прямо никаких промежутков, черт знает что.

На мгновение наступает тишина, и в тишине слышен сухой звук выстрела.

Прокурор падает, откинув пистолет.

Начальник тюрьмы бросается к нему:

— Господин прокурор! Конец света! Конец света!

Оглушительный грохот разрывов.

Мы видим, как рушится, рушится Берлин. Слышны крики ужаса, топот бегущих ног.

Взрывы, взрывы.

Курит, смеется рыжий солдат.

* * *

Во французском движении Сопротивления участвовали русские, бежавшие из фашистских концлагерей, — такие, как Василий Порик.

Подвиг этих людей представляется мне как бы естественным — их воспитала Советская страна, они воины, давали воинскую присягу…

Но эмигранты, белоэмигранты…

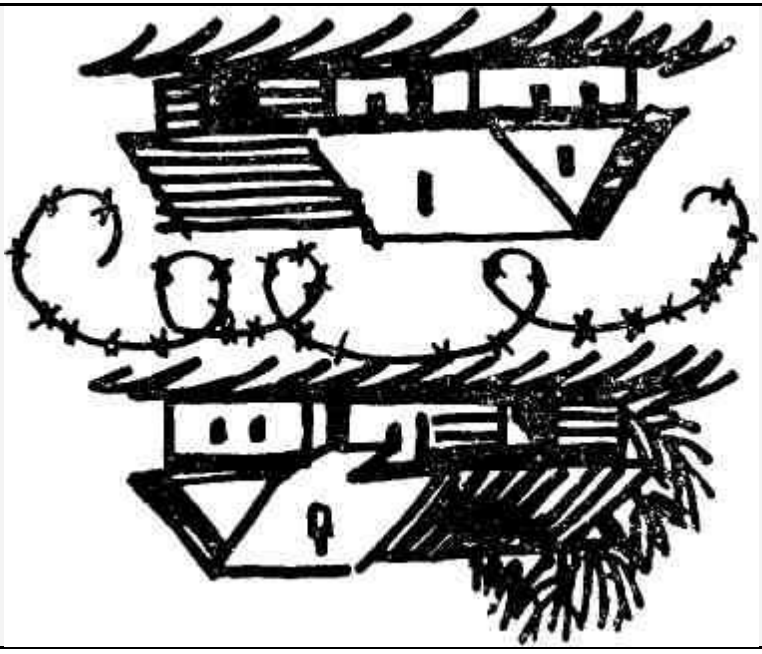
На площади Трокадеро в Париже, во дворце Шайо помещается антропологический музей — Музей человека.

А в вестибюле музея — на большой мраморной доске высечены золотыми буквами имена героев — участников группы Сопротивления. В самом центре захваченное фашистами Парижа, буквально на глазах у всего города, вели они подрывную работу.

Участники группы выпускали подпольный листок, который дал название всему движению против фашизма не только во Франции, но и во всей Европе. Листок был имя назван «Résistance» — Сопротивление. Душой, сердцем этой группы был русский человек, молодой ученый — Борис Вильде. А одним из членов группы — Анатолий Левицкий.

Оба выросли в эмигрантских семьях.

Оба расстреляны на холме Мон-Валериан.



OXЄ

Прошло двадцать лет. Именно двадцать лет тому назад окончилась война. Давно уже на месте разрушенных домов отстроены новые или разбиты скверы. Давным-давно возвратились оставшиеся в живых солдаты. Воссоединились старые семьи, сложились новые. Выросла молодежь. Город, где пролились реки крови, где столько было горя, город, перенесший тяжелейшие годы оккупации, жил новой жизнью. Затянулись рубцы. Люди старались забыть прошлое и действительно забыли его. Только земля хранила следы войны — в лесах вокруг города человек, умеющий читать прошлое, мог заметить засыпанные, поросшие травой траншеи и блиндажи, ходы сообщений и стрелковые ячейки. Для молодежи это были просто овражки и холмики, такие же, как другие.

В первые послевоенные годы то и дело находили в городе, в поле, в лесу мины и неразорвавшиеся снаряды. Солдат, медленно идущий с миноискателем, долго был здесь привычной фигурой.

Прошлое, прошлое, прошлое…

На окраине города стояли рядом два домика. Вокруг каждого — сад. Между участками невысокий забор. Все, что происходило в одном доме, было слышно в другом. Падалица с дерева одного участка часто оказывалась по ту сторону забора, на соседнем участке. Цветы прорастали сквозь забор.

Но никогда не общались между собой семьи, жившие по-соседству. Не здоровались друг с другом, не замечали друг друга.

Были на то важные причины.

В одном доме жила семья Коломойцевых, в другом — семья Кузьминых.

Софья Михайловна Коломойцева учительствовала. Сын ее, Павел, был художником, студентом школы живописи. Муж, Александр Федорович, до войны директорствовал в средней школе…

В соседнем домике жила другая вдова — Вера Николаевна Кузьмина с дочерью Ниной. Дочь училась на третьем курсе мединститута.

И еще была у Кузьминых тетка — родная сестра покойного хозяина Михаила Михайловича Кузьмина.

Так жили эти две семьи. Детям было внушено, что рядом — враги, девочка с рыженькими косицами и худой мальчик в очках никогда не смотрели друг на друга. Школа вблизи этих мест была только одна, и оба они учились именно в ней.

Павел старался не замечать соседскую девчонку, хотя это было довольно трудно. Они каждый день одновременно выходили из своих калиток, шли теми же улицами в школу и в одно и то же

время являлись домой.

Павел был серьезным, молчаливым мальчиком, а Нина — вертлявой девчонкой, крикуньей и хохотуньей. В первых классах она часто всю дорогу от дома до школы прыгала через скакалку. К ней по пути присоединялись обычно такие же шумные мальчишки, и эта ватага с гиканьем и визгом неслась к школе. «Кузьмина» была самой часто употребляемой в школе фамилией. Учителя произносили ее с привычной укоризной или возмущением.

Нинина компания состояла из одних мальчишек, и она была тоже мальчишкой — самым беспокойным, самым задиристым. Она атаманила по праву своего отчаянного характера, и мальчишки ей беспрекословно подчинялись.

С возрастом шалости Нины и ее друзей становились более «взрослыми», но шуму эта компания производила не меньше, и «Кузьмина» по-прежнему произносилось учителями все с той же интонацией, и несчастный директор — молодой еще педагог — также вызывал Нину и ее приятелей и внушал, каким должен быть советский школьник — потому что эти ребята вечно снижали общие показатели и создавали тридцать первой школе дурную славу.

Всему, однако же, приходит конец, и наступил день, когда директор, не в силах сдержать счастливую улыбку, вручил наконец Кузьминой аттестат.

Так было. Теперь Нина студентка третьего курса, а Павел — дипломант училища живописи.

Несмотря на запрет матери, Павел давным-давно стал замечать Нину. Может быть, он всегда, с детских лет, не признаваясь себе в этом, слушал ее голосок, видел краем глаза, как бежит вприпрыжку из школы тоненькая, рыжеволосая крикунья.

Трудно сказать, когда с Павлом случилась беда. Может быть, это началось, когда, вернувшись с летней практики, вместо этой девчонки Павел увидел за изгородью стройную девушку с рыжей челкой. Она смеялась, и смех ее совсем не был похож на звонкий, детский, тысячи раз слышанный раньше. «Ребятки, — кричала она матери и тетке, — давайте обедать! Погибаю от голода!»

Может быть, это случилось в тот вечер, когда мимо Павла с оглушительным треском пронесся десяток мотоциклов и мотороллеров, и на первой «Яве» (триста пятьдесят кубиков) за спиной мальчишки в красном шлеме сидела Нина, закидывала голову и смеялась, и юбка ее парусила сзади, открывая стройные, голые ноги.

А может быть, когда Павел в первый раз увидел, как Нина

целуется с каким-то мальчишкой у калитки своего дома?

Так или иначе, но теперь Павел думал о ней целыми днями. Мечтал о ней по ночам. Все плохое, что слышал о ней Павел, отталкивалось, не задерживаясь в его сознании. Ребята часто болтали о Нине. Девицей она была скандально известной. Постоянно в веселой компании. Отношения с парнями считала «не проблемой».

Рыжая челка, вздернутый носик, подведенные черной линией длинные прорези серых глаз, туго обтянутые торчащие груди.

По вечерам на улице то и дело раздавались голоса:

— Нина! Ниночка!

— Алло, Нин…

Высокие, низкие, звонкие, хриплые… А то и целый хор — «Ни-ноч-ка»…

Училась Нина небрежно, с курса на курс переходила больше за счет своей внешности, чем за счет знаний. Веснушчатый, смущающийся доцент поставил ей «хор» по сангигиене, хотя Нина не ответила ни на один вопрос.

Английский в институте преподавала Валерия Федоровна, пожилая, дореволюционная еще дама, о которой было известно, что она сверхчувствительна к запахам и от чесночного аромата просто теряет сознание.

— У меня идиосинкразия… — говорила она, если от студента немного отдавало луком или чесноком. — Станьте, пожалуйста, дальше.

И старалась побыстрее избавиться от такого «пахучего» воспитанника.

Перед зачетом по-английскому Нина и еще пятеро студентов наелись чеснока так, что у них горели языки и десны. Они окружили Валерию Федоровну и стали просить ее отпустить их быстрее, они, мол, торопятся на репетицию в институтскую драмстудию. При этом все бессовестно дышали на бедную даму и создали вокруг нее почти осязаемое чесночное облако.

— Зачетки, скорее ваши зачетки, — бормотала Валерия Федоровна и, не задавая ни одного вопроса, проставила всем «зачтено».

Когда компания была уже в дверях, она спросила:

— Что же вы репетируете?

— Ромео и Джульетту.

— О, боже… — прошептала Валерия Федоровна, распахивая настежь окна аудитории.

Живя рядом, зная друг друга с раннего детства, встречаясь по многу раз в день, Нина и Павел не были знакомы. Вражда семей исключала их общение.

Между тем Нина, не подавая вида, давно заинтересовалась худеньким очкариком, про которого все говорили, что он исключительно талантливый художник.

Она даже ходила с ребятами на «выставку молодых» во Дворец культуры. И Павел видел ее там. Нина шла из зала в зал, посмеиваясь, перебрасываясь со спутниками шутками.

Она останавливалась перед многими картинами и только зал, где висели три работы Павла Коломойцева, прошла с ходу, не поворачивая головы, громко смеясь.

Павел был убит. Он не мог знать, что именно из-за него приходила сюда эта девчонка, что прошла она мимо его картин только потому, что Павел стоял невдалеке, и что она успела все-таки незаметно на них взглянуть. Не знал Павел и того, что многое в поведении Нины вызывалось желанием обратить на себя его внимание.

Софья Михайловна не называла соседей по именам, когда говорила о них. Вера Николаевна именовалась «она», а Нина не иначе, как «эта». К Нине же относилось выражение «яблочко от яблони недалеко падает». Чаще оно произносилось сокращенно: «яблочко от яблони». Остальное подразумевалось.

Под «яблоней» подразумевался Нинин отец — Михаил Кузьмин. Это он, советский педагог, пошел на службу к немцам, когда город был оккупирован, это он стал заведующим отделом культуры в городской управе, он выдал немцам своего соседа Коломойцева, командира партизанского отряда, Александра Коломойцева — отца Павлика. Неделю пытали Александра в гестапо, а потом повесили на площади перед школой, где он был когда-то директором, где некогда преподавал детям литературу Михаил Михайлович Кузьмин.

Труп Коломойцева провисел двое суток, к нему запрещено было приближаться, а на третью ночь партизаны украли его и похоронили в лесу.

Предатель был известен, и, когда город освободили, не успевшего бежать Кузьмина предали суду и расстреляли.

Вот что навсегда разделило две семьи.

Все в доме Коломейцевых говорило о любви к умершему Александру Федоровичу, о том, что его не забывают — и портрет в траурной рамке на рояле, перед которым всегда, во всякое время года, стояли цветы, и кресло у окна, в которое никто теперь не садился, — его кресло. И письма учеников, которые хранились в столе, вместе с указом о посмертном присвоении звания Героя Советского Союза. И множество мелочей, дорогих и понятных только близким.

Павлик вырос без отца, никогда не видел его, но бесконечно

любил. Эта любовь была внушена ему матерью, которая часто рассказывала об Александре Федоровиче, об их жизни до войны, о том, как нелегко им приходилось, как экономили на еде и все-таки последнюю неделю месяца сидели на одной пшенной каше, как подрабатывал отец, сидя по целым ночам над взятой где-нибудь со стороны работой, как любил он свой предмет — историю — и много лет готовил монографию об Александре Невском и как ходил лет пятнадцать в одной «толстовке», говорил, что это «стиль» и ему ничего другого не нужно. Как любил животных и приносил домой всех затравленных ребятами котят, щенков и птиц.

В доме Кузьминых тоже хранили память об умершем хозяине — маленькая фотография висела в спальне, над кроватью Веры Николаевны.

Первые годы после расстрела Кузьмина Вера Николаевна жила в страхе, ожидая, что ее тоже привлекут к ответственности. Но никаких репрессий не последовало. Ее приняли на работу в городскую больницу — она была квалифицированной операционной сестрой. Работала, растила дочь.

Тетя Лиза — сестра покойного мужа — ей помогала.

Для всех Михаил Кузьмин был предателем, изменником. Но для Веры Николаевны он оставался единственным человеком, которого она любила, мужем, отцом ее девочки, родившейся через полгода после того, как приговор был приведен в исполнение.

…Последним вопросом, не внесенным в повестку заседания факультетского бюро комсомола, был разговор с Ниной Кузьминой.

Именно по этой причине на бюро присутствовало народу вдвое против обычного. В течение всего заседания Нина, заложив ногу на ногу, читала книгу.

— Переходим к вопросу о Кузьминой, — сказала Маша Смирнова, секретарь бюро. — Может быть, ты теперь оставишь книжку и послушаешь нас? Я понимаю, дела наши для тебя малоинтересны, но сейчас — речь о тебе.

Нина положила книгу рядом с собой.

— Мы не ставим вопроса формально, но пойми, Нина, твое поведение не может быть безразличным для организации.

— А что ты называешь моим поведением, которое встревожило целую организацию?

— Можешь оставить этот тон для своих друзей, тут он неуместен. Мы не ханжи какие-нибудь. Хочешь мазаться — сделай одолжение, хотя мера в этом деле тоже имеет значение.

По-моему, у тебя это получается просто безвкусно.

— Буду заходить по утрам в бюро консультироваться…

Саша Алейников, поджарый, длинноносый, прокопченный солнцем, в спортивной майке с белой полоской у ворота и видавших виды спортивных штанах, сжатых резинкой над потрепанными кедами, встал и подошел к Нине.

— Послушай, Кузьмина, мне лично наплевать на все твои дела, живи как знаешь, но эта шпана вокруг тебя…

— Я не согласна, — перебила его Маша Смирнова. — Что это за формула «живи как знаешь»? Кузьмина еще комсомолка. И у нас тут не встреча дипломатов. Вот что, Нина, речь идет о твоем моральном облике. Я бы не говорила эти слова — они набили оскомину, — но других не знаю; девичья честь и тому подобное. Для тебя эти понятия, очевидно, не существуют… Я понимаю, отношения у девушки с парнем могут сложиться и так и эдак, можно увлечься… Но когда встречаются чуть не каждую неделю с другим…

Нина отвернулась к окну и безразлично сказала:

— Энгельса почитай. О моногамии. Идеал моногамии — глиста. Она вообще обходится отношениями с самой собой.

— Товарищи! — вскочила с места и, шепелявя, закричала Нюра Токарева. — Это, наконец, черт знает что! Кто дал право Кузьминой над нами издеваться?

Разговор получился шумный, бестолковый и безрезультатный.

Когда Нина вместе со всеми заседавшими вышла на улицу, к ней с треском подкатил краснорожий малый на мотороллере «Ту-200». Она уселась на заднее сиденье, обхватив малого за туловище, и укатила, сверкнув голыми бедрами.

— Нинка, с тебя приходится… — перекрывал краснорожий свист встречного ветра и грохот мотора. — Умрешь, что я достал!..

Подъехали к саду, куда обычно сходилась вечерами их компания. Краснорожий достал из-под тужурки толстую тетрадь в клеенчатом переплете.

— Что это?

— Смотри, смотри. Сейчас умрешь.

Нина раскрыла тетрадь. На первой странице были какие-то беглые рисунки — начатые и брошенные незаконченными.

На второй странице… на второй странице был портрет Нины. Он был сделан пером. Лицо повернуто в профиль, чуть поднято кверху, глаза прищурены от света, волосы отброшены ветром назад. На следующей странице, на четвертой, десятой, тридцатой — всюду Нина. И всюду она была прекрасна. Иная,

чем-то отличная, но в то же время абсолютно похожа. Она смеялась, хмурилась, шла, бежала, она раскрывала объятия свету и ветру, она подставляла ладони дождю, она мчалась верхом на распластавшемся в воздухе коне, она причесывалась, она бросалась с берега в воду, она шла по какой-то фантастической, небывалой улице, она кормила собаку, спала, одевалась, ела, смеялась, грустила…

Все вместе эти мастерские рисунки создавали портрет удивительного, чудесного существа. Сквозь них проступала кристальная чистота, ум, юмор, ласковость…

А вместе с тем это был и портрет самого художника, ибо здесь выражено было и его отношение к миру, и его преклонение перед девушкой. Рисунки выдавали это яснее, чем если бы все это было написано словами.

Нина молчала, перелистывая страницу за страницей. Перо, карандаш, уголь, сангина — рисунки делались чем придется.

— Можешь вообразить, — сказал краснорожий, — у Пашки, твоего соседа, спер. Занес ему, понимаешь, книгу — мой братан брал. Пока он туда-сюда, листнул тетрадку — ну, дела… Мы ему теперь устроим выставку…

— Ничего не устроите… — Нина свернула тетрадь, — и ребятам — только посмей… Ясно?

Малый похлопал бесцветными ресницами:

— Ясно.

— А теперь вези меня домой.

…Конечно, Павел по-настоящему талантлив, если сумел создать такой образ, так разгадать то, что было глубоко скрыто за внешней бравадой и оставалось никому не доступным.

Нина закрылась у себя на мансарде и бесконечно листала и перелистывала тетрадь. Это было не только вдохновенное объяснение в любви, а нечто неизмеримо большее. Нина невольно любовалась той, о ком было здесь рассказано. Несколькими скупыми линиями, одной деталью художник создавал удивительные маленькие шедевры.

— Что с тобой? — спросила Нину Вера Николаевна, когда та спустилась вечером со своей мансарды. — И почему дома?

— У тебя тройчатка есть?

— В аптеке, в ванной.

Вера Николаевна больше не задавала дочери вопросов — раз та не ответила, спрашивать дальше было бесполезно. Когда Нина вышла из столовой, Вера Николаевна удивленно переглянулась с тетей Лизой.

— Первый раз вижу… Ведь она плакала…

— Осложнения какие-нибудь… — глубокомысленно изрекла

тетя Лиза.

…Павел не заметил пропажи тетрадки, у него их было десятка полтора, где все так же была Нина, Нина, Нина… Были у него и два больших ее портрета, писанных маслом. Он прятал эти работы за книжным шкафом и не показывал их даже Смирнову — своему мастеру.

Павел бродил по Воронцовскому лесу, как его называли со стародавних времен. Тропинка вела к небольшой поляне, на которой стоял памятник погибшим в войну партизанам.

Именно здесь, в Воронцовском лесу, базировалась партизанская бригада, в которую входил и отряд его отца.

В бригаде было почти четыре тысячи человек, разбитые на небольшие отряды. Эти отряды располагались на площади двух районов и общались друг с другом и с КП бригады только через связных. Места, где помещался командный пункт, кроме этих связных, никто не знал.

А находился командный пункт, который тщетно искали фашисты, именно здесь, почти рядом с этой полянкой.

Остались следы четырех землянок — штабной, пекарни, типографии и землянки, где жил небольшой отряд охраны.

Зимой в этих землянках мерзли целыми днями — немецкие самолеты непрерывно летали над партизанским районом и дым выдал бы тех, кто скрывался в лесу.

Днем партизанам запрещалось выходить — за дорогами следили с воздуха и с земли. Жизнь замирала и возникала снова только по ночам.

Состояла бригада в основном из «окруженцев», то есть воинов, попавших в окружение, да из солдат, которым удалось бежать из концлагерей.

Два года, в глубоком тылу, почти за триста километров от линии фронта, сражались здесь партизаны.

Много раз немецкое командование бросало сюда карательные отряды. В последний раз это была целая дивизия СС. Приказ командира дивизии прост: уничтожить на территории, обведенной по карте красным карандашом, все живое и ликвидировать населенные пункты.

Фашисты расстреливали всех, кого находили в лесах и в деревнях. Сжигали дома, угоняли скот. За ними стелились дымные, мертвые полосы.

Прочесав леса, каратели возвращались, верховному командованию сообщалось, что приказ выполнен, а через некоторое время снова взрывались мосты и поезда.

Огромные жертвы несли партизаны, и в конце концов почти

все они были уничтожены фашистами.

Отец Павла погиб гораздо раньше из-за предательства.

И произошло это именно здесь, где стоит теперь этот памятник. А вскоре началось общее наступление советских войск, и в этих лесах долго шли жестокие бои. До сих пор в Воронцовском лесу можно увидеть осыпавшиеся траншеи и блиндажи. За двадцать лет они стали мелкими и отлогими, они поросли травой, папоротником, кустарником, они стали просто мирными лесными овражками.

Но для того, кто хотел увидеть здесь войну, она не ушла, она была тут за каждым деревом, в каждой травинке, что выросла здесь, во всем, что жило на этой земле — в трепете прозрачных крыльев стрекозы и в любовных птичьих призывах, в ветре, раскачивающем вершины деревьев, и в лужице воды, отражающей небо.

Для Павла все в этом лесу было полно значения, все читалось его воображением по-особому. Как спокойно, просто, ясно все было раньше… Кто мог бы сказать, глядя со стороны на этого юношу в больших очках, спокойно идущего по лесу, что в нем бушуют шекспировские страсти, что ему нужно разрешить всемирную, неразрешимую в сущности проблему?

Павел шел, прикасаясь руками к деревьям, проводя ладонями по листьям кустарника. Он осторожно погладил ствол березки, улыбнулся, прошел дальше.

Отец был большим, прекрасным, великодушным, как этот лес. Павел знает, что он ответил бы.

Что же делать, если весь смысл жизни изменился для Павла?

Раньше была живопись, книги, дом, небо, друзья, река, птицы, было чувство своего «я», радостное ощущение своего тела, силы жизни…

Теперь все это была она, все существовало с поправкой на нее, все, что видел, необходимо было показать ей, о чем думал, что слышал — рассказать, провести ее по заветным местам, бешено хотелось работать, писать, писать для нее, о ней… Хотелось, чтобы слышала каждый удар его сердца — оно билось для нее… И все-таки, все-таки, все-таки…

Все-таки существовала эта стена — непреодолимая, безжалостная, страшная.

И он, Павел, его мать, дом, память отца — все было здесь, по эту сторону стены, а она — там.

С какой точностью повторяет эта маленькая елочка конструкцию стоящей рядом большой ели — ее кора, каждая хвоинка — все такое же. Разве есть сила, способная их разделить? Можно выкопать елочку, пересадить — она станет расти такой же,

можно сломать их, уничтожить, сжечь — до последнего мгновения она будет оставаться именно елочкой, не дубком и не березкой, не кленом…

Пошел дождь. Павел снял очки, спрятал в карман, и все стало неясным, расплывчатым, нереальным.

Дождь был теплым, ласковым. Идти под этим дождем было хорошо. Все вместе — мысли Павла, и дождь, и нерезкие очертания леса — вызывали какой-то неясный еще образ, что-то начинало светиться сквозь все это…

И вдруг со всей ясностью и неотвратимостью ударила мысль: никогда в жизни он не прикоснется к этой девочке, не возьмет ее руку, не заговорит с ней даже. Мать умерла бы от одной мысли об этом, да и семья Нины, она сама…

Пусть все это далекое прошлое, но есть на свете такое, через что не переступишь. Разве Павел решился бы когда-нибудь даже заговорить с ней?

Дождь шел до самого вечера. Павел вернулся домой, переоделся и сел за работу.

В этом году курс не послали на практику, и Павел был совершенно свободен, делал, что хотел, работал, когда хотелось.

Какое счастье — натянуть на подрамник загрунтованный чистый холст. Он стоит перед тобой, и, кажется, можешь, писать, что хочешь. Ты — бог. Создавай жизнь. Но разве действительно можно писать что угодно? Разве это не иллюзия свободы? Ведь из бесконечности ты иссекаешь только то, что способно выразить твое состояние, твою мысль, твою страсть! Но тогда это уже не свобода, а необходимость писать именно это, только это и ничего другого, кроме этого. И ты мучительно ищешь, как выразить то, что тебе нужно выразить. Какая уж тут, к черту, свобода!

Павел глубоко задумался, стоя перед мольбертом.

— Ну, что же ты, Павлик! — услышал он голос матери. — Открой дверь. В другой раз звонят. У меня руки в тесте…

Павел, все еще весь в «состоянии невесомости», как он сам называл такое время творческого вдохновения, прошел в переднюю и открыл дверь.

То ли показалось ему, то ли в самом деле в это мгновение сверкнула молния. За дверью, под дождем стояла Нина.

— Я к вам. Можно? — сказала она.

Павел молчал. Почему-то невыносимо заболела грудь. Косые струи дождя начисто заштриховали улицу за Ниной. Ярко блестел желтенький пластмассовый плащ, капюшон сдвинут назад, лицо мокрое от дождя.

Павел молчал, держась рукой за грудь — она чуть не разрывалась от боли, — он стоял и не дышал.

— Можно? — повторила Нина.

В последнее мгновение, чуть не теряя сознание, Павел с шумом глотнул воздух и посторонился. Нина вошла в дом.

— Кто там, Паша? — крикнула Софья Михайловна из кухни.

— Снимите плащ, — сказал Павел.

— Кто пришел? — крикнула еще раз Софья Михайловна.

Нина сбросила плащ, и Павел положил его на столик у зеркала.

— Почему ты не отвечаешь? — Софья Михайловна выглянула из кухни и застыла, побледнев.

— Заходите, — сказал Павел, открывая дверь своей комнаты.

— Здравствуйте, — произнесла Нина в сторону Софьи Михайловны и вошла в комнату Павлика.

Они стояли друг против друга некоторое время молча. Вдруг Нина звонко рассмеялась.

— Ну, садитесь же, — сказала она, — будьте как дома.

Как похожа она была сейчас на Нину из тетрадей Павла!

Они сели друг против друга.

— Мы еще и не поздоровались. — Нина протянула руку: — Нина.

— Павел, — ответил он неожиданно хриплым басом и прикоснулся к ее ладони.

Наступило неловкое молчание.

— Ну, развлекайте меня. Расскажите что-нибудь. Я ваша гостья.

Павел все молчал в смятении. Он мучительно искал, что бы сказать, о чем заговорить, не находил ничего и чувствовал, что погибает, позорно погибает.

— Может быть, выпьете чаю? — произнес он наконец.

Нина улыбнулась.

— С удовольствием.

Когда Павел вошел на кухню, Софья Михайловна встретила его молчаливым вопросительным взглядом.

— Ты не видела спички, мамочка? — сказал он, налив в чайник воду. — Ах, вот они…

Зажег газ, поставил чайник на огонь. Софья Михайловна закрыла дверь и прислонилась к ней спиной.

— Что здесь делает эта девица?

— Я тебя понимаю, мама, но она пришла. И, наверное, потому, что хотела поступить хорошо…

— Не желаю, чтобы она здесь оставалась, и если она сейчас же не уйдет…

Софья Михайловна дрожала вся, с головы до ног дрожала, и Павел испугался, шагнул к ней.

— Успокойся, мамочка…

— Выгони ее сию минуту, сию минуту, сию минуту…

— Но, мамочка, пойми, это невозможно…

Вдруг Софья Михайловна оторвалась от двери, шагнула вперед и изо всей силы ударила Павла по щеке.

Павел стоял, не двигаясь, посреди кухни. Левая щека медленно багровела.

Закусив губу, мать резко повернулась и вышла, громко хлопнув дверью.

…Нина стояла у окна. По стеклам хлестал дождь.

Она не шевельнулась, когда. Павел возвратился в комнату.

Молчал и Павел.

— Принесите, пожалуйста, мой плащ, — сказала она.

— Нина…

— Пожалуйста…

Павел вышел и вернулся с плащом. Проходя по передней, Нина демонстративно громко сказала в сторону закрытой кухонной двери:

— Привет! — И, не подавая Павлу руки, прибавила: — Не провожайте.

Но Павел вышел на улицу вместе с ней.

Почти две недели Нина не появлялась в компании. Ребята недоумевали. Пробовали, как обычно, помяукать у нее под окном, покричать: «Ни-ноч-ка!»

В комнате у Нины было темно, и только сердитый силуэт Веры Николаевны мелькал в окнах столовой.

В полном недоумении компания удалялась. Происходило нечто совершенно необъяснимое.

В конце второй недели Нина, как ни в чем не бывало, в обычное время вошла в сад.

Краснорожий Мишка раскрыл рот и застыл, пропустив мяч. Все играющие в волейбол и болельщики повернулись в сторону аллейки, по которой шла Нина в новом платье. Рядом шел очкарик — художник из соседского дома.

— Привет, мальчики, — сказала Нина. — Это Павлик, мастер спорта. Знакомьтесь. И для начала — принимайте нас в игру.

Павлика приняли налево, Нину — направо. Они стали играть друг против друга.

Павлик мазал, пропускал мячи, падал.

— Законно! — кричали болельщики, когда Павел мазал особенно позорно. С этого дня, по молчаливому разрешению Нины, в компании установился обычай подшучивать над Павлом, разыгрывать его по всякому поводу. То, что Нина и Павел открыто

встречались, не могло оставаться незамеченным. Правда, они почти никогда не оставались вдвоем. Рядом с Ниной постоянно можно было видеть с полдюжины молодых людей. Компания эта появлялась то там, то здесь, то в кино, то в театре, то в парке, то на реке. Павлика видели всюду с ними вместе.

У Кузьминых и у Коломейцевых установилась молчаливая, враждебная тишина. Софья Михайловна не разговаривала с Павлом. Вернувшись из школы, она готовила еду. Оставляла часть для Павла и отправлялась с пачкой ученических тетрадей в свою комнату. Если уходила, когда Павел был дома, то молча проходила мимо него.

Павел не знал, что делать. Он любил мать, понимал, что она по-своему права, и не знал как поступить.

Просидел однажды целую ночь над письмом к ней. Изорвал десятки листов бумаги, но в конце концов сочинил. И, вложив в конверт, подсунул под дверь.

Это было сумбурное, косноязычное письмо, он умолял мать постараться понять его. Нельзя, чтобы над детьми висела вина отцов, — мы культурные люди. Это чудовищный атавизм, варварство, дикость, он писал, как тяжело жить надвое. Он безгранично любит отца, никогда и никому не позволит чем-нибудь оскорбить его память, но это ведь совсем, совсем другое, очень дорогое ему. Не может быть, чтобы мать не желала ему добра.

Павел писал вначале эмоционально, потом вычеркивал все громкие слова — его вкус не допускал их, — от этой самоцензуры письмо получилось, быть может, более художественно строгим, но потеряло значительную часть своей силы.

Утром мать прошла мимо Павла, не сказав ни слова.

В доме Кузьминых дело обстояло почти так же. Правда, ни Вера Николаевна, ни тетка не порывали с Ниной дипломатических отношений. Мать нормально разговаривала с ней, но в каждом слове, в каждом движении читался укоризненный подтекст.

Однажды вечером собрались у Саши Уварова — квартира была свободна, родители лечились в Ессентуках. Ребята «скинулись» на три бутылки венгерского вермута и коробку крекера.

На кухне и в шкафу было полно хорошей посуды, но ею пренебрегли. Крекер высыпали на газету, вермут разлили в эмалированные кружки, полуразбитую розовую чашку и даже в две желтые подставки для яиц. Нинины ребята при ближайшем рассмотрении оказались вовсе не плохими. Они то балагурили, то разговор становился вдруг серьезным, то вспыхивал спор.

На Васю дружно набросились, когда он заявил, что самым драматическим событием века считает открытие волновой теории.

— А галактики, не подчиняющиеся закономерностям нашей, — это тебе жук начхал? — кричал маленький поэт Юрка Самохин. — Ты понимаешь, что вся наша наука и мы сами, со всеми нашими нормами, может быть, ложны по «тем» законам «той» природы.

Кто-то запел, ребята подхватили.

Павел оказался рядом с Ниной.

— Когда же мы поговорим наконец серьезно? — тихо сказал он.

— Вот в чем тебе нельзя отказать — это в умении выбирать время для серьезного разговора.

— Но я никогда не остаюсь с тобой вдвоем. С того самого вечера. Вечно ты в компании. Льстит тебе, что ли, что за тобой столько ребят ходит?

— Льстит. Ты мою расческу не видел?

— На, бери мою. Пользуйся человеческим благородством.

Нина отошла, села на подоконник, стала причесываться, смотрясь в оконное стекло.

Павел увидел, как сразу же к ней подошел стройный малый и, легко, пружинисто подпрыгнув, уселся рядом на подоконнике. Это был Рафик Багдасарян — студент политехнического и вратарь «Спартака». Смуглый, с лицом, обрамленным не то чтобы бородкой, но некоторой небрежной небритостью. Он сказал что-то, положив Нине руку на плечо, и она рассмеялась, встретилась взглядом с Павликом, нахмурилась. А через полчаса сама подошла к нему и как ни в чем не бывало, взяв за руку, сказала:

— Пошли, поговорим.

Они вошли в кабинет папы Уварова.

Кроме них, тут никого не было, свет погашен.

— Все условия, — сказала Нина. — Что еще человеку нужно? Садись, Павлик, и выкладывай все, что хотел.

Нина уселась на широкий диван.

Но Павел заметил маленький светящийся зеленый глазок, подошел к столу, выдернул вилку из штепсельной розетки и захлопнул крышку магнитофона.

— С твоего благословения?

Он сел рядом с Ниной.

— Не помню. Может быть. А ты не обижайся. У нас все друг друга разыгрывают.

— Слушай, скажи честно — у вас, у девчонок, наверное, считается — за которой бегает больше мальчишек, та главная?

— Ты, кажется, заговорил без юмора?

— Ну, зачем, скажи, пожалуйста, ты держишь при себе Юрку? Не может же он тебе нравиться?

— А почему не может? Юрка пишет мировые стихи. Ты плохо знаешь женщин.

— Просто ломаешь хорошему парню жизнь.

— Юрке необходима несчастная любовь, иначе он не может писать стихи.

— Значит, ты крутишь ему голову в интересах советской литературы?

— Не беспокойся о нем. Юрке всегда хорошо. Если я на него не смотрю, у него плохое настроение и он начинает писать хорошие стихи. Если я ему улыбнусь, он не пишет стихи, но у него зато хорошее настроение. Когда же ему плохо? Юрке всегда хорошо.

— А Сашка? Что ты с Сашкой делаешь?

— А что?

— Будто не знаешь. У Сашки на носу экзамены.

— Не завалит, не тот мальчик.

— Но тебе-то, тебе зачем нужно, чтобы он все время торчал рядом?

— Скажи, Павлик, я сегодня ничего? Я тебе понравилась?

— Да, — мрачно отвернувшись, сказал Павел.

— Ты бы ухаживал за такой? Ну, за такой точно, как я?

— Ухаживал бы.

— Ах, вот как! Значит, ты готов ухаживать за каждой встречной?

— Нина… — Павел схватил ее за руку. — Неужели ты все забыла? Приснились мне, что ли, эти две недели?..

Вдруг Нина обняла его, на мгновение прижалась к нему и отстранилась.

— Хочешь знать, — сказал Павел, — с каких пор…

— Ну куда я ее опять сунула? Ты не видал?

— Нет.

— Дай свою расческу.

— Я тебе уже отдал.

— Значит, я и ее потеряла. Ах, вот она. Нет, это моя старая. Ну, так что ты говорил?

— Ничего.

— Не увиливай. С каких пор?

— Со второго класса.

— Врешь.

Павел промолчал.

— Это с того вечера, когда в школе на танцах какая-то

девчонка бант потеряла и ты полез за ним?

— Значит, ты меня заметила тогда?

— Я заметила только, как у тебя смешно торчала попка из-под дивана. Мы с девчонками чуть не поумирали…

— Глупо.

— Что ты хочешь? Нам по восемь лет было. Сейчас бы я, наверно, плакала…

— Нина! Что такое? Что с тобой? Ниночка…

Нина дрожала, сдерживая рыдания.

Павел схватил ее за руки.

— Ну скажи, скажи, дорогая моя… скажи, что с тобой…

Теперь, не сдерживаясь уже, Нина плакала, уткнув лицо в его плечо.

— Нельзя нам… — вырывались слова вперемешку со всхлипываниями, — понимаешь — нельзя… С кем угодно, но не с тобой… Я чувствую, чувствую… нельзя…

Павел целовал ее руки, ее вздрагивающие плечи и клялся, что это сумасшествие, что между ними нет никаких преград, что он любит ее всю жизнь и будет любить всегда…

Когда ребята заглянули в комнату, Нина смеялась. Павел заслонял ее, а она наспех закрывала магнитофон, с которым что-то до того делала.

В гостиной пели под гитару блатные песни. Пели одну за другой — душещипательные, жалостные опусы, пели дурашливо, с нарочитым мелодраматизмом в «сильных» местах.

Нина снова уселась на подоконник. Павел — рядом.

— Слушай, Павлик, вот ты рисуешь, а зачем? Ты мне отвечай как полной кретинке. Для чего?

— Ну, мне просто нужно это.

— Ответ не зачтен. Неуд.

— Как тебе объяснить? Я не могу не писать, понимаешь? У меня такое чувство, что я должен сказать то, чего никто на свете еще не знает, и это можно сказать только цветом, только линией. Словами, например, этого не выразить. Похоже, наверно, на чувство музыки… Не понятно? И я должен очень спешить, потому что мне еще сто лет учиться.

— Что же это будут за картины?

— Ничего не знаю. Ничего. Это может быть белиберда и самомнение, но я уверен, что каждому человеку, самому несчастному, самому обиженному, я могу принести радость. Для этого я родился и для этого живу. А теперь это чувство слилось с любовью к тебе в одно целое. Если я раньше мог сомневаться, то теперь я абсолютно уверен. Теперь я все на свете могу…

— А если это обман? Если тебе только кажется?

— Не знаю, наверное, тогда надо стреляться, вешаться, топиться, только я не верю в обман. Вот оно у меня — в руке, в глазу. Я ведь вижу совсем не то, что все. Мы пробовали, в школе с ребятами: сядем перед окном или просто так — перед классной доской, и каждый говорит что видит. И всегда я вижу такое, чего никто другой не увидел. Расхвастался. Скромности вам, товарищ Коломойцев, ужасно как не хватает!

Приволокли магнитофон.

— Внимание, — объявил Саша, — сейчас мы услышим, как в мире искусства объясняются в чуйствах. Внимание…

Нина, улыбаясь, переглянулась с Павликом.

Магнитофон заговорил ее голосом:

— Все вы, ребята, ужасные дураки. Хотели разыграть Павлика, а попались сами. Так вот слушайте: ты, Сашка, неуч и лентяй. Засыпешься на литературе, как миленький. Ты, Юрка, пишешь не стихи, а бодягу какую-то. Ты, Рафик, — самовлюбленная свинья. Вместо головы у тебя футбольный мяч на плечах. У Васьки кривые ноги, а у Глеба бараньи глаза. Вот вам чистая правда…

Затем послышался голос Павла:

— Все, что было сказано выше, подтверждаю, а если вздумаете меня еще разыгрывать — отлуплю, как щенят. Привет, Павел.

Все бросились на Павла, повалили, стали лупить. Он смеялся, отбиваясь.

— Отставить! — скомандовала Нина. — Все на одного — не пойдет…

Злая искорка сверкнула у нее в глазах.

— Давайте по-честному. Самбо.

Рафик Багдасарян стал в стойку. Павел против него. Кто-то подал Нине сковородку и ложку.

Прозвучал «гонг».

Рафик и Павел, держа руки наготове, сделали круг. Рафик пружинисто приседал, его тренированное тело было напряжено. Павел оглянулся на Нину и вдруг, схваченный за руку, взлетел на воздух и грохнулся о пол.

— Ты что — с ума сошел? — отталкивая Рафика, крикнул Саша и наклонился над Павлом.

Нина, как-то сжавшись, продолжала сидеть на подоконнике. Рафик смущенно переминался с ноги на ногу.

— Я не думал… не рассчитал…

Ребята помогали Павлу встать, но он вдруг дико вскрикнул и наклонился вправо. Рука висела, как сломанный сук. Да она и была сломана — правая рука.

Кто-то набирал номер «скорой помощи», кто-то нес воду. Павел лежал на диване, до крови прикусив губу, закрыв глаза…

…Нераспечатанное письмо вот уже два дня лежало на белом больничном столике. Все на свете казалось Павлу безразличным, далеким, ненужным. Чудесный красочный мир, который он так любил, был теперь бесконечно далекой, тусклой неопределенностью. Из наушников, подвешенных над койкой, слышался тихий голос. Передавали вечерний выпуск новостей.

Голос рассказывал подробности о беспорядках в Соединенных Штатах, положении в Конго, в Южном Вьетнаме, об итогах международного кинофестиваля, конкурса вокалистов, о видах на целинный урожай.

Все это Павел слышал и не слышал. Его это не касалось. Мир не существовал больше для него.

— Ну, ну, ну, Коломойцев… Что за минор? Ничего страшного не произошло…

Рядом с койкой стоял хирург Анастасян — главный врач больницы.

— Починим тебе руку. Будет как новая. Один армянин испортил, другой армянин исправит. Претензий к Армении не будет. Не надо хандрить. Слышишь?

Павел кивнул головой, не отводя глаз от окна, куда он смотрел все время. Там было серое, сумеречное небо. Серый дом напротив, серые струи дождя. Будто не было на свете другого цвета — только оттенки серого, серого, серого. Вдруг над крышей дома замигали и вспыхнули красно-желто-зеленые буквы.

> «Летайте самолетами Аэрофлота! Весь мир открыт для вас! Москва — Крым — за 2 часа, Москва — Париж — за 3 часа, Москва — Владивосток — за 8 часов, Москва — Алма-Ата — за 4 часа».

Хирург присел на край койки.

— Все еще будет в жизни, Павел. Будешь рисовать и не вспомнишь про руку. Это так же верно, как то, что моя фамилия Анастасян. А письмо не читаешь — это не хорошо. Вижу я автора каждый день. Замучила меня. Я говорю: все будет в норме, а она опять, и опять, и опять… Читай письмо, Павел! Ответ сестре продиктуй. А если у вас большие секреты — пиши левой. Хорошая девушка, честное пионерское. Это так же верно…

— Как то, что ваша фамилия Анастасян, — улыбнулся наконец Павел.

— Да. Как ты угадал? Мать была сегодня?

— Была.

— Ну, пойду, — и, в дверях обернувшись, добавил: — Между прочим, свидания тебе разрешены не только с матерью…

…Павел читал письмо.

> «Дорогой мой, любимый мой! Нужна я тебе или не нужна, но жизнь моя принадлежит тебе. Хоть до ста лет доживу — все равно только для тебя. Буду ходить вокруг, кряхтеть по-старушечьи и служить тебе. Я не могу и не смею просить прощения. Ведь все из-за меня, одна я виновата, и ты не можешь представить себе, как мне бесконечно больно. Никогда бы не поверила, что могу так любить и так страдать. Павлик, я не обманываю тебя и не утешаю, но Ашот Леонович клянется жизнью, что рука срастется абсолютно, что ты будешь владеть ею в совершенстве. Но я сама знаю, что такое для тебя время. И я все о тебе знаю, все понимаю, родной. Терпи, ради бога, терпи. Не смею просить тебя ни о чем, но если ты захочешь меня видеть — я здесь. Я теперь всегда здесь. Я поступаю в больницу медсестрой, и, если бы ты позволил, Ашот Леонович взял бы меня в свое отделение. Помни, я не прошу ни о чем. Целую твою бедную лапу. Нина».

В послеоперационной палате стояло восемь коек, но заняты были только две. Далеко от Павла, в противоположном углу, лежал старый человек.

Павел не сразу заметил его — старик лежал тихо, не беспокоил медсестру, читал или лежал просто так, глядя в потолок. Кажется, он состоял из одних только костей — таким рисуют умирающего Дон-Кихота. Да он и похож был на Дон-Кихота — узкое костистое лицо, бородка клинышком, кости острых плеч, выступающие под рубашкой, кости ключиц и глубокие провалы над ними, обтянутые сухой кожей кости рук. Когда доктор Бергер читал, он надевал очки в золотой оправе, и его мудрые синие глаза за толстыми стеклами становились огромными.

Никто не навещал доктора Бергера, никто не присылал записок, никто не приносил передач, никто не справлялся о его здоровье. Когда к Павлу заходила Софья Михайловна, она всякий раз, проходя мимо койки Бергера, говорила:

— Как здоровье, Исай Львович?

И, отложив книгу или отрывая взгляд от окна, он отвечал всегда одинаково:

— Благодарствуйте, Софья Михайловна. Практически здоров. Скоро домой.

Он любил дарить свои вещи. Заметив, что у сестры-хозяйки, которая пришла переписывать инвентарь палаты, сломался карандаш, уговорил взять в подарок авторучку.

— Отличная ручка, честное слово. Настоящий Паркер. Возьмите, не пожалеете.

Он убеждал с такой силой, как если бы от того, возьмет или не возьмет она ручку, зависело что-то очень для него важное. Доктора Анастасяна целую неделю упрашивал взять в подарок свой фонендоскоп.

— Но он вам самому нужен, — смущенно отказывался хирург.

— Пенсионерам и даже пенсионерам республиканского значения ни к чему фонендоскоп. Отличный аппарат, немецкий. Это они умеют делать. Неужели, Ашот Леонович, вы не можете доставить мне это маленькое удовольствие? У меня дома еще два совершенно ненужных фонендоскопа…

В конце концов он всучил-таки Анастасяну изящный замшевый кошелек с немецким аппаратом для выслушивания больных.

Иногда доктор Бергер вставал, спускался вниз, в вестибюль — туда, где сидели родственники больных, ожидая ответа на записки и передачи.

Исай Львович, в своем больничном халате, усаживался на деревянный диванчик и подолгу сидел, молча глядя на людей.

Здесь он видел, как в день, когда оперировали Павла, пришла его мать — учительница Коломойцева и, вспыхнув, отвернулась от молоденькой девочки, сидевшей на скамье у окна. Исай Львович знал Коломойцеву — у нее когда-то училась его дочь. Он был удивлен тем, как резко, демонстративно резко отвернулась Софья Михайловна от этой миловидной девушки в желтеньком плаще, как отошла в другой конец вестибюля и села к ней спиной. Бергер подошел к учительнице. Ему было всегда и приятно и горько видеть людей, которые знали его семью.

— А… здравствуйте, Исай Львович. Ну, как ваше здоровье?

— Чепуха, старческие капризы, практически здоров.

Девушка, сидевшая в противоположном конце вестибюля, подошла к окну справочной, задала какой-то вопрос и ушла.

Тогда Софья Михайловна рассказала доктору Бергеру о своем несчастье.

— Рука заживет. Можете не сомневаться. А прошлое… Дорогая моя Софья Михайловна, разве это только ваш вопрос?.. Вы что, стали курить?

Софья Михайловна неумело надорвала пачку, достала сигарету и, ломая спичку за спичкой, пыталась закурить.

— По-моему, вы раньше не курили. Давно начали?

— С неделю назад. Что делать? Надо чем-то отвлекать себя. Говорят, это успокаивает.

Исай Львович достал из кармана маленькую зажигалку.

— Тогда вот. Берите. Вы начали, а я как раз бросил курить. Мировое равновесие восстановлено. Берите, берите…

Софья Михайловна взяла зажигалку, щелкнула, прикурила, закашлялась и вернула зажигалку Бергеру.

— Нет, нет, — доктор отталкивал руку Софьи Михайловны. — Это — подарок.

— Но позвольте…

— Нет, не позволю. Мне это доставит удовольствие, а вы не можете лишить старого человека его маленькой радости. Это было бы бесчеловечно. Прошлое… Оно касается всех, прошлое. Просто всех, каждого человека, Вовсе не только тех, кто пострадал. Каждый задает себе этот вопрос — как быть? Как жить? Всегда помнить? Нельзя. Забыть? Тоже нельзя. И кто виновен, а кто не виновен? И разве виновны только виновные? И кто имеет право отпускать или не отпускать грехи? А как быть с войной? С виной тех… Милая Софья Михайловна, вы помните мою Женю, вы были когда-то ее классной руководительницей, вы помните, какая выросла чудесная девочка, умная, красивая, доверчивая… Вы знали мою жену — она была педиатром, и вы приносили к ней своего сына… Вы помните, какой это был золотой человек. Ида Наумовна, какой сердечный человек… и как мы чудесно жили втроем, как весело бывало у нас в доме… каждый вечер собиралась молодежь. И вот — тени, тени вокруг меня, ничего, кроме теней… Ничего, кроме сознания непоправимости. Чудовищности всего, что было… Вы можете себе представить — три года, пока наш город оставался в оккупации… я в мыслях ни на одно мгновение — ни на яву, ни во сне не расставался с ними. Поймите буквально — ни на мгновение. И в ужасном нашем отступлении, и под бомбежками, и под артиллерийским огнем, и у себя в госпитале, и на переформировке все время, все время я видел их, говорил с ними. Другой раз проснешься в диком страхе и чего только не передумаешь, каких только ужасов не представишь себе… И вот, оказывается, воображения не хватило, жизнь переплюнула. С кого же мне прикажете спрашивать ответ? С Гитлера? С господа бога, который спокойно смотрел, как терзали мою девочку, как убивали вашего Александра Федоровича, мою жену, миллионы и миллионы безвинных людей? С кого спрашивать? Кто может поправить это, дорогая Софья Михайловна? С кого мне спрашивать за то, что я приговорен к смерти и мне осталось жить

не больше года?.. Ах, Софья Михайловна, страшная штука — жизнь. Дайте-ка сигаретку…

— Вы, кажется, бросили…

— Да, забыл. Бросил. Бросил зачем-то… Знаете, Софья Михайловна, если подсчитать по географической карте, то пророку Моисею потребовалось бы два месяца на то, чтобы вывести евреев из Египта, из рабства и провести в Палестину. Два месяца ему было нужно, со всеми остановками, с субботним отдыхом и так далее. Вел же он евреев шестьдесят лет. Шестьдесят лет, вместо двух месяцев. И вот люди возмутились и подступили к Моисею. Почему, говорят, ты ведешь нас так медленно? А Моисей им отвечает, я вас буду вести до тех пор, пока не умрет последний ребенок, который родился в рабстве… Это очень красиво сказано, но не станем же мы с вами, Софья Михайловна, на позицию Моисея. Это же безумие! И эта девочка — разве она может отвечать за преступление отца! Если стать на такую точку зрения — невозможно жить, невозможна жизнь! Ладно, дайте сигаретку, пусть будет последняя…

На следующий день, когда Софья Михайловна пришла в больницу, девушка в желтеньком плаще уже сидела у окна справочной. Софья Михайловна села невдалеке.

В вестибюле, кроме них, еще никого не было. Справочная открывалась в восемь, через пятнадцать минут.

За открытым, затянутым марлей окном светились на солнце гроздья махровой сирени. Одуряющее ее дыхание заполняло вестибюль, заглушая специфические больничные запахи.

Софья Михайловна незаметно взглянула на Нину и невольно отметила резкую перемену в девушке. Эта перемена была во всем ее облике, трудно было определить — в чем конкретно она выражалась. Нина похудела. Выступили скулы на лице. Волосы гладко зачесаны. Рыжая челочка падает на лоб… Сколько пережила Софья Михайловна из-за этой девочки…

В первые дни, после того как Павла привезли сюда с открытым переломом, к боли и ужасу, которые испытывала Софья Михайловна, невольно примешивалось противное чувство какого-то патологического удовлетворения…

Однако как только она в первый раз вошла в палату и увидела своего мальчика с рукой в гипсе, растянутой на «самолете», жгучая жалость схватила за сердце, и Софья Михайловна с трудом сдержала слезы.

Еще раз взглянула она на сидящую у окна справочной Нину и вдруг встретилась с ее взглядом.

— Здравствуйте, Нина, — сказала Софья Михайловна.

— Доброе утро, Софья Михайловна, — ответила Нина, — передачу еще не принимают.

Наступила пауза.

— Я поступаю сюда на работу, — сказала Нина, — меня берут медсестрой.

— Да? А вы на каком курсе? На третьем, кажется?

— Нет, на четвертом.

— Вот как. Бежит время.

Софья Михайловна щелкнула зажигалкой, закурила.

— Садитесь сюда, Нина, — сказала она и подвинулась на скамье.

…Обходы палат доктором Анастасяном были чем-то средним между торжественным выходом римского папы и залом суда, после возгласа: «Встать. Суд идет».

Окруженный стайкой ассистенток, в таких же, как у главного — шуршащих, накрахмаленных, ослепительных белых халатах, Ашот Леонович неторопливо шел по больничному коридору. Все вокруг сияло, в палатах — полная тишина. Медсестры на местах, санитарки на местах.

Обход главврача был ежедневным торжественным обрядом. Повальная дисциплина в больнице была установлена главврачом и поддерживалась его авторитетом.

Доктор Анастасян считал (и был в этом совершенно прав), что абсолютный авторитет врача, а особенно хирурга — обязательный лечебный компонент. Больные и весь персонал больницы должны безгранично верить врачу. А эта вера поддерживается всей обстановкой больницы. Конечно, при условии, что врач талантлив и не обманывает доверия.

Доктор Анастасян был по-настоящему талантливым хирургом. Операции он делал удивительные по мастерству, по тонкости, по изяществу. Недостатком Ашота Леоновича было безмерное честолюбие. Ему нравилось, когда коллеги просили разрешения присутствовать на какой-нибудь особенно сложной операции. Его, как артиста, вдохновляла аудитория. И еще один недостаток был у Ашота Леоновича… Впрочем, пусть судит читатель — считать ли это недостатком: как-то так складывалось, что доктор Анастасян работал исключительно с женщинами. Все его ассистентки, все ординаторы, все заведующие отделениями хирургической больницы были только женщины. И большей частью миловидные.

Вообще, кроме Ашота Леоновича, в штате больницы не было ни одного мужчины. Даже дворник, даже истопник — все были женщинами. Трудно сказать — отражался ли как-нибудь этот принцип подбора кадров на работе больницы. Среди женщин-

врачей были прекрасные специалисты, защитившие кандидатские диссертации, а заведующая травматологическим отделением получила степень доктора медицинских наук, обогнав своего шефа, имевшего лишь степень кандидата и звание доцента.

…Торжественная процессия переходила из отделения в отделение. В больнице стояла абсолютная тишина. Медицинские сестры распахивали перед накрахмаленным облаком двери палат. Тщательно, до синевы щек выбритый, благоухающий Ашот Леонович останавливался перед очередной койкой, и лечащий врач отчетливо докладывал больного. Иногда главврач задавал врачу или больному какой-нибудь вопрос, иногда сам выслушивал, давал указания, иногда шутил, и тогда все накрахмаленные женщины дружно улыбались.

Анастасян выходил в коридор и в наступившей тишине продолжал делать обход.

Войдя во вторую травматологию — это отделение помещалось на третьем этаже, — Ашот Леонович вдруг остановился в недоумении. В коридоре отчетливо слышался смех. Потом какие-то крики и снова смех…

Главврач нахмурился. Женский штат замер вокруг него. Это было дерзостью, неслыханным нарушением дисциплины.

Возмутительные звуки доносились, очевидно, из первой палаты. Никто не открывал ее дверь перед главврачом, не встречал на пороге. Все было сплошным нарушением.

Ашот Леонович сам взялся за ручку и раскрыл дверь.

Удивительное зрелище открылось перед ним. Больной Коломойцев и медицинская сестра Кузьмина, обнявшись, стояли у раскрытого окна, махали кому-то вниз, на улицу, руками, кричали и смеялись.

Такого в руководимой доктором Анастасяном больнице еще не бывало. На него не обращали никакого внимания. Крики и махание руками продолжалось.

Ашот Леонович вошел в палату и подошел к буйствующей паре. Он заглянул из-за спины Павла вниз, на улицу, и увидел странное зрелище. Посреди мостовой стояла группа молодых ребят с большими плакатами и транспарантом. Буквы на нем составляли текст: «Свободу Павлу Коломойцеву!» На одном плакате надпись гласила: «Ашот Леонович, отпустите Павлика». На другом: «Коломойцев, довольно симулировать!».

Ребята заметили выглядывающего из-за спины Павла доктора Анастасяна, выстроились в колонну и замаршировали перед больницей, высоко подняв свои плакаты.

Нина и Павел тоже заметили наконец главврача.

— Так, так… — сказал он. — Это что за ку-клукс-кланы

маршируют? Ваши друзья? Так. Можете им передать, что администрация больницы приняла их требование и Коломойцева выписывает. Но, если ты, Павел, один раз пропустишь процедуру, я тебя выгоню…

— …Не будь я Анастасян… — закончил Павел.

— Именно, не будь я Анастасян. Собирайся.

И Павел вернулся домой. Рука медленно оживала. Одна за другой стали двигаться фаланги пальцев. Каждый день к десяти утра Павел являлся в больницу на процедуры.

В дом Коломойцевых и в дом Кузьминых пришел мир. После работы Нина забегала к Павлу и уходила в институт. Она перевелась на вечернее отделение. После занятий снова приходила к нему. Часто являлись ребята, и все вместе отправлялись гулять.

Рафик приволок Павлу гантели с пружинами, чтобы разрабатывать руку.

Ребята первое время не могли привыкнуть к переменам в Нине. Это была она и не она. Вместо высокой постройки из волос — гладкая прическа, челка, как в школьные годы. Исчезла какая-то «нервинка» в ее поведении, неожиданные выходки. Нина стала спокойной, уравновешенной.

Ребята поняли, что у нее с Павлом не просто роман, что это большое, настоящее чувство, что это навсегда. И, поняв, примирились с этим. Теперь все они были компанией верных, хороших друзей.

И настал наконец день, когда после тысячи попыток Павел взял в правую руку уголь, почувствовал, что уверенно, крепко держит его и провел на загрунтованном холсте прекрасную точную линию.

…Счастье Нины и Павла не убывало, а становилось все больше, все шире. Когда, казалось бы, им так хорошо, что лучше уж быть не может — приходило второе дыхание счастья. Им не нужно было обязательно оставаться наедине или уединяться — всюду, где бы они ни были, что бы не происходило вокруг, все было их счастьем. Оно меняло форму, обстоятельства, место, но это всегда было их счастьем.

Павел писал целыми днями, пока Нина была в больнице, пока ходила в институт, и каждый вечер они встречались, как после вечной разлуки.

Один только раз омрачилась их жизнь — умер доктор Бергер. Он выписался из больницы почти одновременно с Павлом. Исай Львовичу не нужно было работать, пенсия его обеспечивала, но он вернулся в свою поликлинику, в свой терапевтический кабинет

и снова стал принимать больных.

Доктор Бергер давно считался лучшим в городе врачом по внутренним болезням. Ему верили, старались попасть на прием именно к нему.

Исай Львович был, как всегда, очень внимателен, подолгу расспрашивал больных и записывал анамнез, затем перкуссия, пальпация… Он выслушивал сердце и легкие при помощи обыкновенного деревянного стетоскопа. Обманул он доктора Анастасяна, когда сказал, что у него дома есть еще два фонендоскопа.

Больные и не подозревали, что доктор Бергер, которому они несли свои боли и жалобы, сам смертельно болен. Он был таким же, как и раньше, истинным врачом — не только отличным опытным диагностом, но врачом, который боролся за больного и никогда не отступал перед болезнью.

В тот печальный день во время приема Исай Львович выслушивал очередную больную. Он приложил стетоскоп к ее спине и стал слушать. Больная вдруг почувствовала, что стетоскоп сильно давит на спину.

— Мне больно, доктор, — сказала она и немного отодвинулась в сторону. Доктор Бергер упал плашмя на пол. Он уже несколько секунд был мертв.

Часто Павел и Нина гуляли в Воронцовском лесу. Павел показывал ей следы, оставленные войной. Они долго стояли молча у партизанского памятника, где похоронен был отец Павла. И оба они думали, о страшной пропасти, которая разделяла их прежде. И о жизни они думали, о путях человеческих, которые вели одного к предательству, другого к мученичеству и вечной славе.

Они бродили по осыпавшимся и поросшим травою и кустарником траншеям, они садились на то, что было некогда бруствером, и сидели, прижавшись друг к другу.

Здесь, в этой земле лежали тысячи и тысячи мертвых, и не кощунство ли быть счастливым тут, на этой пропитанной кровью земле, тут, где в каждом листке, в каждой травинке частица умерших…

Но ведь и вся наша планета полна мертвых — тысячи поколений лежат в земле, из которой так же растет трава и поднимаются деревья. А люди ходят по этой земле, любят и ненавидят, борются, страдают, погибают и побеждают — все на той же земле…

— Что это, Павлик?..

Нина наклонилась — из земли выступала какая-то

проржавевшая проволока. Рука Нины коснулась ее.

Не отвечая Нине, Павел обнял ее плечи и поцеловал завиток волос на ее шее.

Павел был так счастлив, так счастлив в это мгновение. И Нина улыбалась, чувствуя теплые губы Павла на затылке.

Прогрохотал взрыв.

Взрыв поднял в воздух огромную массу земли, вместе с деревьями. На том месте, где только что были Павел и Нина, образовалась глубокая воронка, и в нее осела поднятая в воздух, измельченная в порошок земля.

А эхо взрыва неслось по лесу все дальше и дальше. Последнее эхо минувшей войны.

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО

Дуся сидела на кровати, на нормальной кровати с никелированными шишечками и зашивала гимнастерку. Такой я ее увидел впервые.

Теперь трудно представить себе, какой странной выглядела — именно из-за этой своей домашней обыденности — нормальная кровать в землянке сорок второго года.

Здесь была еще одна деталь обстановки — не менее удивительная: электрическая люстра со стеклянными висюльками. Ее подвесили к бревнам наката в виде шутливого украшения: землянка, как и все другие, освещалась гильзой снаряда с фитилем из шинельного сукна.

Висюльки день и ночь мелодично бренчали — от каждого сотрясения.

На патефонном диске вращалась странная пластинка: на ней от начала до конца были записаны… Пулеметные очереди.

Объяснялось это текстом наклейки: «ВТО — Всероссийское театральное общество. Серия пластинок — эффекты для театров. Пулеметная стрельба».

Несмотря на то что здесь, под Сталинградом, казалось бы, и без того не было недостатка в стрельбе, Дуся с интересом слушала пластинку и, когда игла доходила до конца, приподнимала мембрану, ставила иглу на начало, и стрельба возобновлялась.

Санитарная землянка, как и все другие здесь, была вырыта горизонтально в откосе высокого берега.

День и ночь там — наверху шел бой, день и ночь дрожали земляные стены, и однажды из стены, как раз над кроватью, выступила подошва немецкого сапога.

Наверху время от времени немцы зарывали в землю убитых — их хоронили тут же, на месте боя. Нога, которая появилась в Дусиной землянке, принадлежала одному из таких захороненных наверху убитых немецких солдат.

— Так, так… ну, и что же ты будешь теперь делать? — спросил Дусю комбат Потапенко, когда мы с ним вошли в землянку и увидели эту подошву.

— А я сейчас досточкой заколочу, — мягко, по-украински произнося округлое «л», ответила Дуся. — Вот я картинку даже нарисовала. (И снова это милое «л»).

На квадратном куске фанеры была старательно изображена белая хата с претолстенной соломенной крышей. А рядом с хатой, конечно, «садок вишневый».

Дуся прикрепила этот пейзаж к земляной стене, закрыв немецкую подошву.

Мы пили чай почти по-домашнему уютно.

Я много слышал о Дусе, о Ласточке, как ее ласково называли солдаты, слышал о ее храбрости, о том, что она вынесла из-под огня великое множество бойцов, о том, как она иной раз горько плакала, перевязывая какого-нибудь парнишку, как безотказно, только что дотащив из последних сил одного раненого, снова и снова ползла и вытаскивала из-под огня других.

Но не удалось мне тогда разговориться, поближе узнать Дусю.

Солдат с перебинтованной головой, пробегая мимо, прокричал что-то, и комбат с Дусей выбежали из землянки.

Двое суток на участке батальона шел бой — выбивали немцев из большого, трехэтажного дома, где они давно и прочно засели, из которого обстреливали левый берег Волги.

Это был тяжелый, кровавый бой. Первым погиб лейтенант — сталинградский парнишка, который за день до боя показывал мне из укрытия, где что раньше находилось в городе, свою школу показал — от нее уцелела одна стена, показал, где жил, где остались родители, когда он уходил на фронт — на том месте, во всем том районе даже и развалин было не различить — только груды камня.

Погиб он, поднимая солдат в атаку, — встал, крикнул «Ура» и упал — пуля попала в открытый рот.

А солдаты, под убийственным огнем, подползали ближе и

ближе к проклятому «объекту». Двоим удалось проскочить в мертвое пространство — недоступное противнику. Они сделали последнюю перебежку, прижались к стене и стали забрасывать гранаты в окна. У них был огнемет, и они выжгли им фашистов из подвала, потом сами полезли туда.

Я не видел больше ни комбата, ни Дусю и, уходя в соседнюю дивизию, не знал даже, остались ли они живыми после этого боя.

И вот, через много-много лет, совершенно случайно довелось увидеть их обоих.

Я часто встречаюсь с бывшими фронтовиками, много среди них моих близких. И есть нечто объединяющее их всех — отсвет великой войны, что ли, какая-то нравственная общность. Одинаковое отношение к жизненным ценностям, суждение о том, что важно, а что — мусор, особое, солдатское чувство товарищества.

Да это и естественно — испытание огнем войны было и великим очищением душ.

Но вот эта встреча в Крыму… Должен признаться, она произвела на меня большое впечатление, и, описывая своих давних знакомых, я должен был сдерживать себя, чтобы оставаться объективным.

Это было в 1961 году в раю.

Как вы представляете себе рай, читатель?

Я его видел собственными глазами. Это был уголок на гористом крымском берегу. Вы смотрели вниз, и вас ослепляла синева моря и синева неба, вас опьянял воздух, в котором смешивались запахи леса, моря, степей, лежащих за горами. Оглянувшись, вы видели на фоне небесной сини могучие сосны и полянку неповторимой красоты.

За полянкой виднелся забор, а за забором — беленькая дачка. Там-то, за этим забором, на территории беленькой дачки и раздался собачий лай, кудахтанье и истерический крик:

— Полкан! Полкан! Бросай, тебе говорят!

Это был голос Дуси. Той самой Дуси…

Она держала в руке задавленную Полканом курицу.

Дуся — и не Дуся. Та самая и в то же время совсем другая.

Внешне она изменилась мало. Казалась все еще совсем молодой, не расплылась, осталась стройной.

Но это была и не Дуся: какие то, видимо, накопились внутренние изменения, и это отразилось во всем — в глазах, в интонации, в манере говорить. Почему-то совсем исчезло ее милое мягкое «л». Теперь эта буква произносилась ею нормально, как всеми прочими.

Я записал то, что тогда узнал о ней, все, что узнал о событиях

того лета, и только немного сколотил конструктивно — так, чтобы легче читалось.

— Яков! — кричала Дуся. — Иди сюда, посмотри, что он натворил!

Из дома вышел Потапенко — тот самый Яков Васильевич Потапенко, бывший комбат.

Я не «объявился», не напомнил о себе и остался молчаливым свидетелем событий, которые произошли в то лето в раю.

Увидев задушенную курицу, Потапенко почесывает затылок и с удивлением говорит:

— Гм… Опять…

— «Опять», — передразнивает его Дуся. — У людей, собаки как собаки. Нет, ты подумай, задушил и еще в зубах мне принес, у ног положил. Охотник.

— Но он действительно охотник и только не отличает птицу дикую от домашней.

— Господи, до чего башка трещит. Наспалась на бигудях. Куриные котлеты, что ли, делать на обед? Проклятая собака, она мне меню составляет. Боже, какая жара!

— Странно все-таки, что нет ответа из Ленинграда от Фиолетова…

— …а ты рад от меня избавиться. Уедешь, ляжешь в больницу…

— Дуся, как не стыдно.

— Думаешь, не понимаю? Была Дуся, была ласточка, а теперь… что говорить.

— Ну, Дусенька, успокойся…

— Слушай, Яша, у меня мысль — давай сдадим чердак.

— А сами куда? Из комнат выбрались на чердак. Куда еще с чердака?

— В сарайчик. Лето сухое. Напиши объявление: «Сдается мансандра с видом на море». Погляди-ка в ящик: не бросила Машка чего-нибудь? Да, Яша, что будем делать с колодцем — вода затхлым воняет. Может, начерпаем ведер полста?..

— Не поможет. Надо каждый день и помногу брать.

Потапенко открывает почтовый ящик.

— Письмо. И телеграмма.

— Из Ленинграда?

— Да… «Профессор Фиолетов отпуске Ялте санатории ученых попробуй разыскать привет Михаил». Подумай, Фиолетов, оказывается, здесь, в Крыму!

— Сейчас же ехай к нему.

— Человек отдыхает…

— С ума сошел! То собирался к нему в Ленинград…

— Он может отказаться меня принять.

— Никакого права не имеет. Больного человека…

Потапенко вскрыл письмо, пробежал его.

— Чего там Петр Максимович пишет?

— Зовет к себе, на стройку.

— Знаем ихние оклады и ихний климат. Еще чего пишет?

— Об армии вспоминает… как мы с ним наплавной мост строили…

— Это когда ты взыскание схлопотал?

— Вот именно.

— И на гауптвахту вас посадили?

— Было дело…

— Напрасно Петр Максимович тебя сбивает. Работаешь в своем коммунхозе, воспоминания пишешь — пожалуйста, я не против. Нет, Яша, куда нам с Крыма подаваться? Ехай к профессору. А я пойду к жильцам, сегодня срок.

Потапенко уходит.

Дуся скрывается в доме.

Через несколько мгновений раздается рокот мотоцикла и смолкает невдалеке от полянки.

Доносится голос поющего Саши:

— …Когда-то не было совсем студентов на земле,
Весь мир был слеп, и глух, и нем — он утопал во мгле…

Толька, помоги мне…

Вдвоем с Толей они выводят «за рога» мотоцикл с коляской.

Саша продолжает напевать:

…Теперь переверните-ка
Вы каждый континент:
Повсюду жизнь, и шум, и свет,
Где хоть один студент…[3]

— Давай здесь — место подходящее.

— Можно и здесь. — Толя снимает и протирает очки.

Саша достает из коляски мотоцикла вещи.

— Держи — одеяло, подушка, стакан, зубная щетка, полотенце, мыло…

— Надо было все-таки брать всего по два, — говорит Толя. — Вчера ночью ты опять перетянул на себя все одеяло.

— «Надо было»… Если бы ты не забил коляску книгами.

Можно подумать, мы не отдыхать, а вкалывать поехали.

— Это ж не учебники.

— Тем более. Чистая потеря времени. Я придумал лозунг: «Художественная литература — опиум для народа». Ну, пошли к морю. Толька, скажи честно, ты притворяешься или действительно ничего не заметил?

— Где? — оглядывается Толя.

— Неужели ты ничего не заметил в автобусе, который мы обогнали?

— От Ленинграда до Крыма мы обогнали их штук триста.

— В том, который мы обгоняли перед Зеленым Гаем.

— Наверно, там были люди.

— Я говорю серьезно! Обгоняю, понимаешь, автобус и вдруг вижу за стеклом девчонку. Я не успел даже как следует рассмотреть ее, но сразу понял: все. Она смотрит и улыбается. Мы с тобой были на чертей похожи — в пыли, в грязи. Вдруг она в ужасе вскакивает. Вижу — навстречу пятитонка. Не знаю, как я успел выжать газ? Ну, на сантиметр проскочил между автобусом и встречной машиной! А ты даже не заметил?

— Куда, с моим зрением.

— Приезжаем в Зеленый Гай, и автобус за нами. Она выходит. «Не думала, — говорит, — что вы останетесь живыми». — «Да, — говорю, — заглядываться на девушек смертельно опасно».

— Находчиво ответил. Позволь, а где я был?

— Вот эту колбасу покупал на последние деньги. А тут автобус загудел. Куда вы, спрашиваю, Лена, едете?

— Она уже успела тебе и имя сказать? — удивленно спрашивает Толя.

— «Еду, — говорит, — к отцу в Крым». Вот теперь у меня задача — найти ее.

— Ну, по таким данным трудновато будет. Папаш в Крыму много.

— Его фамилия Потапенко.

— И фамилию успела сказать! Она, наверно, скороговоркой говорила, пока я колбасу покупал?..

— Мне тебя жаль. Ты себе даже не представляешь, что это за девочка.

— …самая верная, самая умная, самая образованная. Неужели ты успел за две минуты и это заметить?

— Увидишь ее — сам все поймешь.

— С моим зрением минус девять я вижу только отрицательные явления. Вот, что ты свихнулся, это я вижу.

— Сколько у нас осталось денег?

— Ни грамма. За плащ нам дали пять рублей, два мы истратили на бензин, три — на обед. Надо было хоть рубль оставить, чтобы сыграть твою свадьбу. Положение аварийное.

— Конечно, если ты все проедал на мороженое.

— А зачем ты в Курске шашлык заказал?

— Что, если пойти в местный Совет: так, мол, и так — мы, студенты первого ленинградского медицинского, потеряли рюкзак, а в нем все деньги, сжевали уже плащ, одолжите, мол, вернем из стипендии.

— Чепуха. Надо найти халтуру.

— А что мы умеем?

— Все-таки физически здоровые люди. В расцвете лет. На особо квалифицированную работу мы претендовать не будем. Ну, наколоть дрова…

— В Крыму, в июле — дрова… Может быть, по специальности что-нибудь? Препарировать труп или сделать фистулу собаке?

Слышится гудок. Из-за деревьев появляется нос «Волги». Машина останавливается и глохнет. Ее пробуют завести, не заводится. Еще раз — не заводится.

Из машины выходит профессор. Это небольшого роста человек в очках, лет сорока.

— Черт, та же история…

— Профессор Фиолетов… — шепчет Саша, схватив Толю за руку.

На полянке появляется жена профессора — Татьяна Ивановна.

— Осторожно, Миша, тут какой-то ров.

— Останемся здесь? Смотри, как красиво.

— Пошли искупаемся, — тихо говорит Саша Толе, и они уходят.

— Миша, — обращается к мужу Татьяна Ивановна, — директор не заявит в милицию?

— Ну, и что? Пусть поищут наши трупы в море. Зато на будет проклятого гонга к завтраку. Буду есть, когда захочу. Не увижу больше ни доктора Фукса, ни товарища Козлова во всесоюзной полосатой пижаме, ни мадам Козлову с ее медицинскими вопросами, ни культурника Васю с его гениальными шарадами и аккордеоном.

— Тут, конечно, красиво… но как-то без удобств…

— Зато — ни души. Человек имеет право на одиночество. Это надо было бы записать в Конституции. Меня не будут сто раз в день бодрым голосом спрашивать: как жизнь? Как дела?

— Ты становишься человеконенавистником.

— Обывателененавистником! Мы тут прекрасно устроимся.

Как первобытные люди. Сошьешь мне трусы из рыбьей чешуи. И зачем мы мучаемся в этих чертовых домах отдыха? И без того весь год регламент: клиника, лекции, прием больных, кафедра. Даже удовольствия связаны с регламентом. В театр — в семь тридцать, в консерваторию — к восьми. Лети, спеши, успевай дома одеться, в театре раздеться. В двенадцать спать, в восемь вставать, к девяти в институт. И когда наконец приходит отпуск, вместо свободы — новый регламент: подъем, завтрак, обед, мертвый час, кино. И целый день со всеми здороваешься, как приговоренный: здравствуйте, доброе утро. Как спали? Приятного аппетита! На здоровье. Спасибо.

— Успокойся, дорогой. Тебе нужно серьезно отдохнуть. Ты последнее время стал таким раздражительным.

— Думаешь, легко мне далась эта история с Вадимом.

— До сих пор не пойму — почему ты не выступал на Ученом совете?

— Сам не знаю… тебе покажется мелочью — я неудобно сел. Зажали меня со всех сторон — вставать как-то неловко… И, кроме того, надоели драки, надоела собственная принципиальность. Она уже стала превращаться в нечто вроде чести старой девы. Подумаешь, проскочит еще одна пустая диссертация…

— Значит, ты поступил так, как хотел?

— Как хотел, как хотел… Ладно. Давай устраиваться.

На поляне появляется капитан милиции.

— Инспектор милиции капитан Целуйко.

— Здравствуйте, — отвечает профессор.

— Простите, это ваша «Волга»?

— Моя.

— Разрешите права.

Профессор подает ему права.

— Я разве нарушил что-нибудь?

— А что за прокол в талоне?

— Придрался тут один из ваших. По Ленинграду езжу сколько лет без нарушений.

— Не сердитесь, по здешним дорогам нужно ездить особенно аккуратно, а то задавите человека — себе отпуск испортите, и ему неприятность.

— Я думаю, неприятность!

— Москвичи и ленинградцы приезжают к нам гордые: «Что нам ваша провинция». Погордятся, погордятся, потом, глядишь, со всей семьей на повороте — в пропасть! Хотите здесь расположиться?

— Да.

— С водой только будут затруднения.

— Почему?

— Один колодец. На этой даче.

— Что ж, у них нельзя воды попросить?

— Попросить можно.

— А что же?

— Да так… увидите сами… желаю отдохнуть.

— Простите, где дача Потапенко? — подойдя к ним, спрашивает девушка. В ее руке маленький чемоданчик.

— Инспектор дорожной милиции капитан Целуйко, — козырнув, представляется капитан.

— Лена, — отвечает девушка.

— Вы ищите товарища Потапенко?

— Да. То есть нет, то есть да.

— Дача Потапенко — вот она.

Вдруг Лена, почти падая, садится на землю.

— Что с вами?

— У меня есть валерьянка, — говорит Татьяна Ивановна.

Лена пытается встать.

— Нет, нет, спасибо.

— Вот, деточка, выпейте.

— Спасибо, все прошло.

— Позвольте донести чемоданчик… — предлагает капитан.

— Он легкий.

— Ну, Таня, пойдем устраиваться, — говорит жене профессор. Они уходят с полянки.

— Вы издалека? — спрашивает Лену капитан.

— Из Сибири.

— Отдыхать?

— Да. То есть нет.

— Извините, что расспрашиваю. Это не по службе. Если не хотите отвечать…

— Нет, почему же… А вы всегда здесь? Это ваш пост?

— Пост… нет. Просто послали разыскать одного человека.

— Украл что-нибудь?

— Да нет… Человек знаменитый.

— Нашли?

— Засек. Жив-здоров. Вот возьмите, тут мой телефон, а то вы одна, без спутников… Мало ли…

— Зачем я буду звонить в милицию?

— Вы не поняли. Я в совершенно личном порядке.

— Ну, спасибо.

— До свидания.

— До свидания.

Капитан очень бережно пожимает Ленину руку.

— А как ваша фамилия?

— Просто Катя, — смутившись отвечает Лена.

— Очень приятно познакомиться. Мне послышалось, вы раньше сказали «Лена».

— Это меня в детстве так называли. Уменьшительное имя. Настоящее Екатерина, уменьшительное Лена.

— Очень интересно.

— Глупо, конечно.

— Всего лучшего.

Капитан уходит.

Оставшись одна, Лена приближается к калитке дачи. Останавливается в нерешительности. Протягивает руку к звонку. Не позвонив, отходит. Возвращается. Наконец дергает звонок.

Из калитки выходит Дуся.

— Алё. Вам кого?

— Простите, пожалуйста. Это дача Потапенко?

— Вы, наверно, по объявлению?

— По какому объявлению? Ах, объявлению… Да, конечно, по объявлению.

— Тогда пойдемте. Я вам покажу.

— Что покажете?

— Как что? Вы ведь по объявлению?

— Да…

— Так я вам покажу комнату, которая сдается. Это не совсем комната. Мы написали мансандра. Вы одна?

— В каком смысле?

— Жить у нас одна будете?

— Жить у вас?

— Комната за месяц тридцать. Плата вперед. Посмотрите, какой от нас вид! Вид тоже что-нибудь стоит. До моря два шага. Мед у нас свой. Фрукты. Кушайте от живота.

— Как от живота?

— Сколько желательно. Только не выносить. Квартирантов у нас двое. Тихие, сплошная интеллигенция. С детьми не пускаю.

— А у вас самой нет детей?

— Нет, не беспокойтесь. Пойдемте посмотрите мансандру.

— Видите ли, я не могу все деньги отдать вперед. У меня только пятнадцать рублей.

— Э, нет… Так не пойдет.

— Остальные через несколько дней. Мне вышлют, когда я сообщу адрес. Возьмите…

— Ну, что с вами делать? Авось не обманете.

— Сегодня дам телеграмму.

— Пойдем, посмотрите мансандру.

— Ничего, мне понравится.

— Нет, посмотрите. Так не делается. Проходите…

— А хозяин дома?.. Товарищ Потапенко?

— Нету.

— Ну, пойдемте.

Лена входит в калитку. Дуся собралась было пойти вслед за ней, но из лесу выходят Кузьма Кузьмич с женой — Ириной Николаевной.

— Хозяйка, я плотников видела, которые вчера у вас работали… — говорит Ирина.

— Идут?

— Нет, нанялись в археологическую партию, не ждите их…

Вытираясь одним полотенцем, возвращаются на полянку Толя и Саша. Они останавливаются, услышав разговор Ирины Николаевны с Дусей.

— Свиньи. Кажется, я им цену дала, — огорченно говорит Дуся.

— Найдутся другие.

— Хорошо вам говорить, а мне зарез ремонтироваться. У меня древесный жучок в балках завелся. И второй этаж надо ставить.

Саша шепчет Толе на ухо:

— Понял?

— Что?

— Она ищет плотников, а мы — заработка.

— Ирина Николаевна, курочку вам оставить? — спрашивает Дуся. — Из дома отдыха просили, жалко отдавать.

— У нас еще вчерашняя осталась.

— Как хотите. Только что зарезала.

— Ладно, оставьте. Пойдем, Кузьма.

Ирина Николаевна с мужем входят на дачу.

Дуся собралась было тоже идти, но ее останавливает оклик Саши:

— Хозяйка, а хозяйка?

— Чего вам?

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Скажите, где тут дача Волкова?

— Волкова? Не слыхала.

— Плотный такой. Зеленая «Волга» у него.

— Нету тут Волкова.

— Он ясно сказал — Волков… А может быть, я спутал? Черт, адрес на газете записал.

— А вы, часом, не плотники?

— Плотники. Пошли, Анатолий.

— Зачем вам идти, у меня есть работа.

— Неудобно, ждет человек, — отвечает Саша, собираясь уходить.

— Ребята, не торопитесь. Давайте договоримся. У нас вот она, дача. Что вам искать?

— Как ты, Анатолий?

— А ты?

— Да нет, неудобно как-то перед человеком.

— Неудобно, — подтверждает Толя.

Но Дуся ни за что не хочет их отпустить:

— Что значит — неудобно? Вы даже не знаете, где его искать.

— Гм… А, Анатолий?

— Ну, решено, — говорит Дуся, — я купила еще одну щитовую дачу, разобрала и привезла. Нужно ее поставить на первую, как второй этаж. Понимаете?

— Чего ж тут понимать? Дело знакомое.

— У вас уже была такая работа?

— Недавно тут одну дачу таким же манером ставили.

— Так это вы у Федоровых работали?

— А то кто?

Дуся осторожно задает главный вопрос:

— А сколько бы вы, к примеру, взяли?

— Да как сказать, — тянет Саша. — И чтоб вас не обидеть, и нам чтобы не обидно.

— А все-таки?

— Пора удирать… — шепчет Толя на ухо Саше.

Однако Саша не обращает на него никакого внимания.

— Мы тут у одной хозяйки работали, тактичная была женщина… Раньше чем про цену говорить, позвала к столу, выставила кое-что.

— С моим удовольствием.

— Это другой разговор.

— Сейчас я соберу.

Саша отвечает солидно и даже немного басовито:

— Действуйте.

И Дуся торопливо удаляется.

Теперь, когда она ушла, Толя обеспокоенно говорит:

— Что за авантюра? Нас же побьют.

— Все частные плотники так морочат голову. Еще и почище.

— Но мы никогда топора в руках не держали.

— Вот и пора покончить с отсталостью.

— Да она сразу все поймет.

— Я в драмкружке королей играл, а то плотника… Главное —

пить водку и ни черта не делать. Неделю она вытерпит, а там смоемся.

— Авантюрист!

— Товарищи, заходите! — открыв дверь, приглашает Дуся.

— Пошли, — говорит Саша и застывает на месте, увидев выходящую из дома Лену. Он хватает Толю за руку.

— Евдокия Ивановна, я у себя кровать передвину, можно? — спрашивает Лена.

— Двигайте. Если она не развалится…

— Что с тобой? — спрашивает друга Толя.

— Она!

Увидев ребят, Лена восклицает:

— А, туристы…

— Какие туристы? — обеспокоенно спрашивает Дуся.

— Мы базу для туристов строили. Девушка нас там встречала, — говорит Саша, делая Лене знак молчать.

— Ну что же, ребята, заходите.

Дуся открывает калитку.

— Сейчас, — отвечает Саша и обращается к Лене: — Вы отца нашли?

— Отца? Вы что-то путаете.

Лена тоже делает Саше знак молчать.

— Ну, ребята, закусывайте, а там к делу, — торопит «плотников» Дуся и уходит в дом.

— Как вы меня разыскали? — спрашивает Лена.

— Интуиция.

— С чего это вы назвались плотниками?

— Фирма обанкротилась. Между прочим, знакомьтесь.

— Анатолий, — подавая руку, представляется Толя.

— Основное достоинство — близорукость. С трудом отличает мужчину от женщины.

— Минус девять.

— У нас в школе физик был, — говорит Лена, — стекла в очках вот какие.

— У меня тоже… смотрите.

— Ваши даже толще. А вы меня без очков видите?

— Ориентировочно.

— А что это у вас? — она берет у Толи книгу. — А… Прочли?

— Только что.

— Как странно, правда? Почему она ушла? Ведь она любила его, верно?

— По нормальной логике уходить ей, конечно, было незачем.

— А разве есть еще ненормальная логика? — говорит Саша.

— Тогда почему же?

— По-моему, она боялась, что все рухнет.

— Наверно, вы правы…

— Толька давал мне читать одну петрушку — как человек сделался жуком… Он меня в коридор выгонял — так я ржал. Чуть не умер от смеха, — говорит Саша и тихо Толе: — Иди вперед, я догоню. Как здорово, Леночка, что мы встретились.

Толя уходит в дом.

— Ваш приятель тоже медик?

— Толька? Медик, конечно. Если бы я не встретил вас — все равно искал бы, пока не нашел. Это точно.

— У него есть родные?

— У Тольки? Мать, Анна Андреевна. Леночка, я так себя ругал, ничего ведь не успел вам сказать.

— А что вы собирались сказать?

— Ну… одну очень важную штуку.

— Какую штуку?

— Ну… да вы сами, наверно, понимаете…

— Нет.

— Почему это девчонкам обязательно нужны слова?

— Не хотите — не говорите. Что — этот ваш приятель Толик… У него есть девушка?

— Да что вы все Толька да Толька! Дался он вам! Леночка, неужели вы не понимаете, что я хочу сказать?

— Нет.

— Ну, что ты будешь делать! Кто же теперь объясняется впрямую? Ребята считают — это мещанство, все эти тексты. Надо говорить подтекстами.

— Можете подтекстами. Пожалуйста.

— Да… а где их возьмешь… Вы хотели кровать передвинуть? Давайте помогу.

— Ничего, она легкая. Просто хочу ее поставить так, чтобы я ночью вставать не могла.

— Чтобы не могли вставать?

— Дело в том, что я немножко сумасшедшая.

— Думаете, я шуток не понимаю?

— Нет, правда. Сколько раз тетя Вера заходит ко мне ночью, а я сижу одетая, вещички уложены, и чего-то жду. А это я все во сне одевалась, укладывалась. Окликнут меня — проснусь. И все помню: как вставала, как сидела, ждала чего-то. А вот чего именно ждала — ни разу не смогла вспомнить. Ну, верите теперь, что я немножко того?..

Слышится шум подъехавшего автомобиля и голос Потапенко: «Дуся! Дуся!» И ответ из дома: «Иду, Яша, иду!»

— Он! — вскрикивает Лена. — До свиданья!

Она бежит к калитке, сталкивается с Евдокией Ивановной.

— Простите, я сейчас…

Убегает.

Саша с недоумением смотрит ей вслед. Уходит в дом вслед за Толей.

Потапенко идет навстречу Дусе.

— Видел его? Был в санатории?

— Исчез профессор.

— Как это — исчез?

— Вместе с женой. Директор даже в милицию заявил. А потом смотрит — и вещи и машина тоже исчезли. Видно, удрал. Шесть дней только пожил по путевке. Наверно, вернулся домой, в Ленинград.

— Тогда звони в Ленинград. Подвозил кого-нибудь?

— Да, одного чудака с пацанами. Стоят, понимаешь, в ряд и все «голосуют»… Смешно. «Спасибо, — говорит, — выручили».

— Я думаю — выручил. Эх ты, лопух! Вчера опять кто-то в сад лазил, а ты хоть бы что.

— Слушай, Дуся, давай один раз поговорим серьезно.

— Давай, давай. У меня к тебе тоже серьезные разговоры.

— Только, пожалуйста, спокойно. Знаешь, иногда ты меня ставишь в неудобное положение…

— Говори, говори…

— Вот видишь…

— Ну, говори. Кому я сказала? Говори.

— Нет, если так — кроме скандала, ничего не получится.

— Из-за меня, значит, скандал? Да? Во всем я виновата, да?

— Чепуха.

— Конечно, я чепуху несу. Я — деревня, я — дура, я у тебя — гиря на ногах.

— Дуся…

— Что «Дуся»? Что «Дуся»? Истерзал ты мою душу, изверг. Взял на фронте молоденькую девочку, я еще совсем жизни не знала, пошла добровольно, думала дать пользу Родине. Я ни о чем таком не думала, знала, что санитарке положено, а тут, пожалуйста, явился, любовь закрутил… И я, дурочка, зачем его полюбила…

— Ну, успокойся, пожалуйста.

— И где твоя совесть? Умеешь только сироту обижать. Разве я не для тебя стараюсь? Хочу, чтобы у тебя гнездо было. Если б я, дуреха, тебя не любила… Все же для тебя… И отчего я такая несчастная… Боже мой, боже… Хоть бы сдохнуть скорее. Вот умру, тогда ты меня вспомнишь…

— Слушай, Дуся…

— Оставь меня в покое. Изверг, злодей — вот ты кто!

— Дуся, Дусенька… перестань, пожалуйста. Ты ведь знаешь — я твоих слез не могу видеть. Ну, дорогая моя, ласточка моя…

— Да… ласточка, — говорит Дуся сквозь слезы, — как обижать, так не ласточка… а… крокодила…

И они оба рассмеялись.

— Ну, зачем нам ссориться, Дусенька? Вспомни, что только мы с тобой перенесли… И для того живы остались, чтобы ссориться? Ласточка ты моя…

Дуся шмыгает носом и улыбается сквозь слезы.

— Ну, а зачем ты меня обижаешь? Знаешь, Дуська безответная.

— Вот, вот… ужасно мне нравится, когда ты так носом шмыгаешь… прямо девчонка…

— Ну, уж девчонка.

— А помнишь, как ты в соломе сидела?

— Это в сарае, когда крыша на нас свалилась?

— …артналет, бежать надо, а ты сидишь, в волосах солома, глазенки растопырила и носом водишь, как мышонок… Ах, Дуся, Дуся…

— Какое время было, Яшенька… Услышу другой раз — кто-то по траншее идет, насвистывает — сердце запрыгает, дышать не могу… Яша мой… А помнишь — самолет за тобой прислали? Как услыхала — приказ привезли: комбата в штаб забирают — чуть не померла со страху. Бегу на капэ, падаю, опять бегу — опоздаю! Не увижу, не попрощаюся… Что ж ты теперь никогда не свистишь, Яшенька? Ну, для меня…

Потапенко начинает негромко насвистывать мелодию. Дуся слушает, потом тихонько запевает:

…Только что пришла с передовой
Мокрая, замерзшая и злая,
А в землянке нету никого,
И, конечно, печка затухает.
Так устала — руки не поднять,
Не до дров — согреюсь под шинелью.
Прилегла, но слышу, что опять
По окопам нашим бьет шрапнелью…

Потапенко вторит:

…И за то, что снова до утра
Смерть ползти со мною будет рядом,

Мимоходом «Молодец, сестра!»
Крикнут мне товарищи в награду.
Да еще сияющий комбат
Руки мне протянет после боя:
«Старшина, родная, как я рад,
Что опять осталась ты живою!»

Потапенко протягивает Дусе руки, и она кладет в них свои. Он насвистывает тихо и мелодично. Закрыв глаза, без слов Дуся напевает мотив песни, и они с Потапенко под этот мотив кружатся.

На полянке появляется профессор с Татьяной Ивановной.

Танцующие останавливаются. Потапенко смущенно откашливается.

— Извините, пожалуйста… вы хозяева этой дачи? — обращается к ним Татьяна Ивановна.

— Да. А в чем дело?

— Мы путешествуем, вот остановились тут. Хотим попросить у вас воды.

— Прошлый год, то же самое, такие автотуристы остановились, — говорит Дуся, — до того нагадили, что из дачи, извините за выражение, выйти нельзя было.

— Позвольте, мы вовсе не собираемся тут гадить, как вы изволили выразиться, — вмешивается в разговор профессор.

— Мишенька, ты обещал не волноваться.

— Никакой воды, а то соберутся тут кучей.

— Я, собственно, обращаюсь к вам, товарищ, — игнорируя Дусю, поворачивается Татьяна Ивановна к Потапенко.

— К нему нечего обращаться. Что я сказала, то и будет.

— Видите ли, — говорит Потапенко, — в прошлом году действительно…

— А почему мы должны отвечать за прошлый год? Меня удивляет, что есть еще кулаки, которые отказывают людям в воде, — вспыхивает профессор.

— Миша, ради бога! У тебя сердце…

— Кто кулаки? — кричит Дуся. — Сам кулак!

— Позвольте, как вы смеете?

— А вот смею! И чихать мне на вашу интеллигенцию. Скажите, пожалуйста, они мне будут указывать, как выражаться у меня дома. Да плевать я на вас хотела!

— Ах ты, дрянь такая! — вскрикивает профессор.

— Я не позволю называть мою жену дрянью!

— Нет, это я не позволю!

— Миша, ты обещал…

— Оставь. Я вам покажу частную воду, кулачье проклятое… Заборов понастроили… Окопались…

— Миша… Умоляю…

— Потрудитесь удалиться! — кричит Потапенко.

— А вот и нет! А вот назло не уйдем! И всех туристов будем уговаривать именно здесь располагаться!

Татьяна Ивановна старается его увести.

— Успокойся, Мишенька…

— Забирайте вашего золотушного Мишку, — визжит Дуся, — или я за себя не отвечаю.

— Ради бога… — уводит Татьяна Ивановна профессора.

— Ископаемые…

— Лиловые круги перед глазами, — говорит Дуся, — а ты не встревай. Ты больной человек…

Потапенко замечает Лену, которая давно стоит у раскрытой калитки, и раздраженно спрашивает:

— А это кто?

— Новая жиличка, познакомься.

Потапенко, протянув Лене руку, весь еще в пылу ссоры:

— Потапенко.

Лена подает ему руку.

— Да… Здравствуйте…

— Позвольте, а что это вы… плачете?

— Нет… Нет…

— Вас кто-нибудь обидел?

— Нет, ничего… Просто так…

Лена плачет все сильнее.

Прошла неделя. Мы видим, что на забор дачи Потапенко теперь сверху набита колючая проволока, а на полянке появились палатки, раскладушки, гамаки. На веревках, на крышах палаток, на ветвях деревьев сушатся купальные костюмы, лифчики, полотенца, трусы.

В этом «диком» лагере каждый устроился по-своему. Здесь самые фантастические сооружения из простыней, брезентов, палок, веток и веревок.

Лагерь спит, освещенный встающим над горизонтом солнцем. Пересвистываются, перекрикиваются, переругиваются птицы.

Под одним одеялом спят Саша и Толя. Собственно, под одеялом только Саша — он целиком перетянул одеяло на себя.

Из палатки появляется Зина, девочка лет шестнадцати.

— Боже, какая красота!

Она распахивает полотнища палатки.

— Девочки, вставайте!

Стучит кулаком по брезенту другой палатки:

— Ребята, Петя, поднимайтесь скорее, вы такого в жизни не видели.

Из калитки дачи Потапенко выходит, почесываясь и потягиваясь, Кузьма Кузьмич.

— Ой, извините, я вас разбудила… — говорит Зина.

Вслед за Кузьмой, завязывая на ходу поясок платья, быстро выходит Ирина Николаевна.

— Ничего, Кузьме полезно. Подумай только, ты мог это проспать…

— Здорово, конечно, — меланхолично отвечает он.

— «Здорово»… Холодный квас у тебя тоже «здорово».

Из палаток появляются люди. Кто в трусах, кто в пижаме, кто в купальном халате. Собираются, смотрят на море. Группа освещена красным светом встающего солнца. Постепенно свет становится золотым. Кто-то вздыхает: «Да…»

— И вот такое происходит каждый день, — говорит профессор, — пока мы спим, заседаем, суетимся.

Зина протягивает вверх руки.

— Был бы бог, встать бы сейчас на колени, сказать: спасибо тебе за это счастье!

— Отсталая женщина! — говорит Кузьма.

— Обидно быть стариком в такое утро, — вздыхает профессор.

— Ну, какой же вы старик?

— Самый настоящий. Вчера грохнуло сорок.

Наступает молчание. Кто уселся, кто прислонился к дереву. Свет переливается. Разгорается утро. Снова чей-то вздох: «Хорошо…»

— Миша, — тихо говорит профессору жена, — тут так красиво, но давай поедем в цивилизованное место, в гостиницу, что ли…

— Неужели тебе не нравится?

— Ну, как ты не понимаешь? Мне, например, неудобно без удобств.

— Как странно, — задумчиво произносит Зина, — мы собрались случайно. Я ничего о вас не знаю… Но почему же вы все мне уже кажетесь такими своими? Ведь про вас (профессору) мы знаем только, что вы Михаил Михайлович, а про вас (Кузьме Кузьмичу), что вы муж Ирины Николаевны, а про тебя (Пете), что ты поступил на филфак… почти ничего… как странно… как мало люди вообще знают друг о друге…

— Как хорошо, — говорит Петя профессору, — что вы

остановили нас на шоссе и посоветовали тут остаться…

— И нас тоже, — Зина подходит к Ирине Николаевне. — Спасибо, что вы нас вчера взяли с собой на раскопки… И, знаете, Ирина Николаевна, я решила тоже стать археологом — как вы.

— Ну, что же, детка, я очень рада.

— Я столько думала — кем стать в жизни. И вот уже десятый класс, один только год остался, а у меня ничего не было решено. Какое счастье найти, как вы, целый город… а этот каменный лев… Ирина Николаевна, я влюбилась в него, честное слово… вы заметили — он улыбается? Какие же они были, скифы?.. А можно, я буду пока работать у вас на раскопках?

— Вы же приехали отдыхать?

— Разве может быть лучший отдых?

— Хорошо, девочка. Я поговорю…

Зина бросается к Ирине Николаевне, обнимает, целует ее.

— Ребята! Петя! Ура! Ура! Ура!

— Ты что это?

— Я буду работать в экспедиции весь месяц.

— А жить где?

— Да тут, с девочками. Подумаешь, десять километров! Ирина Николаевна ведь ходит?

— Миша, помоги натянуть веревку…

Татьяна Ивановна привязывает веревку для сушки белья, одним концом к ветке дерева, которое свесилось через забор дачи Потапенко.

— Напрасно вы к этой ветке привязали. Хозяева устроят скандал.

— Ветка на этой стороне? На этой. Ну и все.

Профессор помогает жене натянуть веревку.

Кузьма Кузьмич достает толстенькую колоду карт из кармана.

— Неужели в такую погоду ты сядешь пасьянс раскладывать? — спрашивает Ирина.

— А что? Идеальная погода для пасьянса. Дождя нет. Не жарко пока. Слушай, не нужно меня воспитывать. Да, я такой-сякой немазаный, природу не чувствую, искусства не понимаю, на скифские захоронения мне чихать с высокого дерева. Такой уж тебе попался неудачный муж. На черта ты выходила за технолога? Тебе бы какую-нибудь художественную натуру…

— А технолог может быть только таким, как ты?

— Слушай, Ирка, я — это я. И не морочь мне голову. Вот буду сидеть спиной к морю и раскладывать «Наполеона». — Шепотом: — А тебя я, между прочим, очень люблю, хотя знаю, что тебе какой-нибудь каменный боспорский дундук в сто раз важнее

меня.

Кузьма Кузьмич уходит на дачу. Ирина смотрит ему вслед и, махнув рукой, направляется к морю. Со стороны дачи вдруг оглушительно взревел радиопроигрыватель. Загрохотал марш.

Зина затыкает уши.

— Распоясалась кулачка, выжить нас хочет.

Профессор что-то говорит, но слова уже не слышны. Кто-то грозит кулаком в сторону дачи. Профессор идет к своей машине, сигналит. Те, у кого есть машины или мотоциклы, делают то же самое, остальные достают из палаток кастрюли, сковородки, бьют по ним металлическими ложками и изображают при этом нечто вроде танца дикарей. Радиомарш перекрывается чудовищной какофонией. Некоторое время длится эта борьба звуковых стихий, наконец какофония побеждает. На даче выключают репродуктор. Профессор подает знак — все замолкает. Тишина.

— Какой ужас! Бежать, — шепчет Татьяна Ивановна.

— Ни за что, — отвечает ей Петя, — не бежать, а противопоставить этим типам коллектив. Михаил Михайлович, будьте нашим руководителем.

— Согласен.

— Миша…

— Я согласен. Первый вопрос — вода есть?

— Мы с Зиной ночью два ведра приволокли, — говорит Петя.

— С дачи?

Зина шепчет:

— Ох, и страшно было… Темно, мы крадемся, и вдруг…

— Вдруг я на кошку наступил.

— Что там поднялось!..

— Будем ездить за водой на машине в деревню. Раз в день проехаться — даже полезно.

— Мишенька…

Саша поднимается, расталкивает Толю.

— Вставай, Толька, пора…

— Неужели вы спали под этот грохот? — спрашивает Татьяна Ивановна.

— Нервы крепкие.

— Просто наработались, как звери, колючую проволоку набивали кулаками на забор, — говорит Зина.

— А мы об нее руки изорвали.

— Штрейкбрехеры.

— Просто зарабатывали хлеб насущный.

— Так всякий штрейкбрехер говорит.

— Пошли к морю.

Размахивая полотенцами и купальниками, Зина и Петя

убегают.

— Михаил Михайлович, — спрашивает Толя, — вам не нужна вода? У нас тут порядочно осталось.

— Благодарю… гм… знаете, такая странность — иногда все люди начинают мне казаться знакомыми. Все до одного. Вот и ваши лица мне почему-то кажутся знакомыми — смешно, правда?

— Не так уже смешно, профессор, если учесть, что вот уже два года мы сидим перед вами в аудитории.

— Вот так казус… Только не выдавайте меня. А то начнутся медицинские вопросы… Из-за этого мы с Таней из санатория сиганули… «Профессор Фиолетов, у меня сегодня с утра насморк в правой ноздре»… Позвольте, — указывает на Толю, — ведь вы Миронов? Вот так номер! Таня! (Из палатки выходит Татьяна Ивановна.) Знаешь, кто этот заяц в трусах? Это Толя Миронов!

— Очень приятно. Я слышала о вас от Миши. — Она обращается к Саше: — А вы тоже Мишин студент?

— В самом деле — вы тоже наш?

— Да, Михаил Михайлович. Студент Репин.

— Репин? Не помню что-то…

— Не выделяюсь. Разве что в качестве левого полусреднего…

— Ну, что же, кто-то должен защищать спортивную честь института. Вы действительно работаете у этих типов?

— Обстоятельства.

— Не знаю, как у вас, а у меня все эти заборы, замки, проволока вызывают приступ бешенства.

— Хватательные инстинкты — самое омерзительное в человеке. Лично я давил бы таких, как клопов.

— А знаете, Миронов, — говорит профессор Толе, — ваш доклад на научном кружке кафедра передала в редакцию журнала.

— Ребята мне говорили, я даже читал ваш отзыв…

— Молодец, я боялся, что вы скажете сейчас «спасибо». А на защите Кругликова были?

Толя переглядывается с Сашей и отвечает смущенно:

— Были… Диссертация мне показалась неубедительной, но… есть одно обстоятельство…

— Толька… не смей!

— В чем дело?

— Ерунда, глупость…

— А все-таки?

— В общем, мы перед вами виноваты, — говорит Толя.

Махнув рукой, Саша отходит в сторону.

— Ну-ка, ну-ка…

— Вы знаете, как все защищающие диссертации боятся вашей

манеры — сесть в аудитории подальше, а потом встать и тихо задать один вопросик, и этот вопросик может зачеркнуть трехлетнюю работу.

— Так что же?

— Вот мы — несколько студентов и аспирантов — договорились спасти Вадима… Вадима Кругликова то есть…

— Очень интересно. Каким же методом вы его спасали?

— Не сердитесь, пожалуйста. — это было, конечно, свинством.

— Не слушайте его, профессор, — говорит Саша.

— Я весь внимание.

— В общем, мы устроили вокруг вас толкучку, — продолжает Толя, — и уселись так тесно, чтобы вы не могли встать… (Пауза.) Мне очень неприятно… тем более, что диссертация Вадима… В общем, мы поступили как законченные идиоты…

— Н-да… Такого я, честно говоря, не ожидал… да еще с вашим участием. Но и я хорош… Ведь собирался выступить!

— Просто не могу себе простить…

— А главное — он эту ерундистику защитил… Так… ручка есть… бумага… бумаги нет у вас? Давайте, давайте. Ничего, эту папку подложу… Так… Москва, улица Жданова… Всесоюзная аттестационная комиссия. Прошу обсуждении диссертации Вадима… как его?

— Вадима Петровича.

— Вадима Петровича Кругликова учесть мое отрицательное отношение… точка… мотивированное заключение почтой… доктор медицинских наук, профессор Михаил Фиолетов. Таня! Я еду в Ялту, на телеграф. Ах, арап этакий! Пусть извилинами поработает, а потом садится за кандидатскую.

Профессор кричит через забор на дачу:

— Кузьма Кузьмич! Вы обещали проконсультировать — никак мотор не заведу…

Кузьма Кузьмич выходит и вместе с профессором направляется к машине.

— Эй, штрейкбрехеры! На пляж! — слышится с берега голос Зины.

Толя и Саша убегают вниз, к морю.

Профессор, Кузьма Кузьмич и еще один интеллигент из числа «дикарей», все в полосатых пижамах, ныряют под капот профессорской «Волги». Теперь видны только три пары полосатых пижамных брюк.

— Тут все в порядке, — говорит Кузьма Кузьмич. — Заводите…

Профессор усаживается на место водителя, нажимает

стартер. Жужжание. Двигатель не заводится.

— Еще раз, пожалуйста… — просит Кузьма Кузьмич.

Жужжание, двигатель не заводится.

На полянке появляется высокий человек с большим рюкзаком в руке — Тужиков.

— Гм… Лагерь диких. Здорово, товарищи! Что это вы делаете?

Из-под капота появляются измазанные фигуры.

— Ого! Тут, видно, крупная индустрия!

— Не заводится, не хочет, — говорит профессор.

— Подача в порядке, искра есть.

Тужиков, взглянув под капот, поправляет пальцем отошедший провод.

— Заводите.

— Да я уже пробовал.

— Ничего, заводите.

Профессор садится за руль, нажимает стартер, мотор сразу заработал. Интеллигенты с недоумением переглядываются, с недоверием слушают. Мотор ровно работает.

— Кончики есть у вас? — спрашивает Тужиков.

— Пожалуйста, пожалуйста.

Все бросаются к своим машинам, подают Тужикову тряпки. Тужиков неторопливо вытирает пальцы.

— Пошли умываться, — говорит Кузьма Кузьмич и вместе со вторым интеллигентом уходит.

— Можете заглушить, — говорит Тужиков профессору. — А хорошо тут у вас.

— Да, место изумительное.

— Питаетесь чем?

— До деревни четыре километра, там рыба, птица…

— А вода?

— То-то и оно, вода… Приходится тоже возить из деревни. (Тужиков свистнул.) Собственно, вода есть, рядом. Но тут, изволите видеть, живут кулаки. Как они выросли на нашей почве, непонятно. Но факт налицо А вы, простите за любопытство, тоже хотите здесь остановиться?

— Да вот иду пешим порядком, с палаткой. До Симферополя, конечно, поездом. А вы — москвичи?

— Коренные ленинградцы.

— Земляки! Где живете?

— На Кутузовской, Французская набережная по-старому. Знаете?

— Как же, соседи. Мы на Пестеля. Угол Литейного.

— Напротив кондитерской?

— Совершенно верно. И окна у нас на кондитерскую.

— Подумать! А путешествуете один? Семья дома осталась?

— Да, один путешествую.

Поняв, что Тужиков уклонился от ответа, профессор старается замять неловкость.

— Приятно встретить соседа. Таня, чайку бы… Познакомься, наш земляк, товарищ…

— Тужиков Петр Андреевич.

Татьяна Ивановна выглядывает из палатки.

— Очень приятно. Извините за сервировку. Вода у меня, к счастью, осталась.

— Да, вода, вода… — вздыхает профессор. — Собственность на воду… Удивительно…

— Я, знаете, тоже иной раз погляжу на эти ограды в полтора человеческих роста, да еще с колючей проволокой, да с объявлениями «злая собака», «вход воспрещен»… У меня у самого есть дача — просто домик, никаких заборов, зелень вокруг… а эти замки, щеколды, задвижки, сторожки… не перевариваю я всю эту пакость.

— Как мы с вами одинаково смотрим на вещи, — отвечает профессор. — Морской берег ухитряются разгораживать. Дай им волю, воздух разгородят. Есть у меня одна идея… Танюша! Там бутылочка, так ты ее… А вы, простите за любопытство, чем занимаетесь?

— Рабочий.

— Всю жизнь у станка?

— Выдвигали, конечно. Судьей был, в министерство переводили, а я все обратно к станку, как-то оно больше по мне. Посидишь в кресле, и домой потянет. Секретарь райкома ругается. Я и в войну рядовым пошел в ополчение. Ну, потом уж по-всякому приходилось.

— И шрам — тех времен?

— Да, Отечественной войны памятка. Как раз в этих местах воевали. Здесь наш полк окружили… Потому сюда и приехал. Любопытно поглядеть… Вытащили меня здесь из огня. Командир батальона… Три километра на себе тащил. Ну-ка поглядите сюда…

— Ров.

— «Ров»… Траншея. Вот ходы сообщения, стрелковая ячейка… осыпалось, заросло все…

— Пойдемте. Пойдемте. Мечи, Танечка, на стол все, что есть. Честно говоря, я собрался в Ялту, но это успеется. Прошу. Будьте гостем.

За калиткой дачи Потапенко происходит между тем нечто странное: Яков Васильевич копает под калиткой яму. За его работой наблюдает Дуся с повязанной полотенцем головой.

— Копай, копай. Лагерь, понимаешь, раскинули, половецкий стан… Ничего, друзья. Мы вам такой сюрприз приготовим… Дорогу сюда забудете. Война так война. Весь вид заслонили. Нахальство. Разве у нас такой был вид? Лена, а Лена, — кричит она в сторону дома, — достань из погреба жбанчик с квасом. (Слышен голос Лены: «Сейчас».) А как приберешься, сбегай за хлебом, не забудь. (Голос Лены: «Не забуду».) Фу, устала, далее намокла вся. Что с этой девчонкой делать? Денег не платит. Пусть хоть в доме пользу дает. Паспорта на прописку не могу от ее допроситься. А может, она вовсе не она? А?

— Не болтай чепуху — «не она». Работает, как проклятая. Домработницу из нее сделала. Возмутительно.

— А мне, думаешь, не возмутительно? Мне самой ее, может быть, жальче, чем тебе. Да не могу же я ее просто за так держать. Ничего, девочка молодая, ей полезно. Между прочим, неплохая девчонка, мне даже нравится, что такое по дому бегает… Ах, Яша, другой раз посмотрю на нее… как-то сердце переворачивается… хорошая девочка…

— Предупреди жильцов — пусть через парадную ходят, а то из-за твоей ямы кто-нибудь шею сломает…

Потапенко выбрасывает из ямы облепленный землей тяжелый металлический предмет. Дуся поднимает его.

— Кастрюля, что ли? — она отбрасывает металлический предмет в сторону. — Ночью опять кто-то лазал к колодцу. А наш идиот даже не тявкнул. С такой собакой хозяев прирежут, а Полкан еще руку лизнет и спасибо скажет. (Тронула скамейку, стоящую у калитки.) Смотри, уже разваливается. Вчера только они ее сбили… И что за плотники такие?

Потапенко вылезает из ямы.

— Хватит. Больше рыть не буду.

— Ой, Яшенька, какой ты грязный… — рассмеялась Дуся. — Дай я лицо тебе вытру… Утомился? Почему это мне другой раз так тебя жалко станет — даже в груди больно?..

— Ласточка, ласточка… Каких только глупостей я для тебя не делаю… С ума сошла! Больно!

— Седой! Седой! — вырвала волос, бросилась бежать.

Потапенко ловит ее, обнимает.

— Значит, старик? Да?

— Глупости. А только как вспомню, каким ты веселеньким был… Болен ты, Яшенька.

— Пустяки.

— И куда он пропал, этот чертов профессор… Лена! А Лена! (Голос Лены: «Ау».) Рубашку Якову выгладила? (Голос Лены: «Выгладила, в шкафчик положила»). А брыджи? (Голос Лены: «И бриджи».) Ах, Яша, какого я льва видела!

— Льва?

— Возле раскопки, валяется. Весь каменный, здоровущий, совсем почти цельный. И лапой так делает. Вот бы нам.

— Зачем?

— А перед дачей выставить. Вот для него место, Яша. А что если нанять людей перетащить его?

— Чепуха какая.

— Да он там никому не нужен, валяется. Его отмыть да почистить. Помнишь, у немецкого барона, где мы стояли в Раденберге, там даже два льва было.

— Сравнила, дворец…

— Подумаешь, немцу можно, а нам нельзя?

Потапенко замечает Толю и Сашу, поднимающихся с берега.

— А, плотники! Привет! Работа идет?

— Мы мигом, — отвечает Саша.

Усевшись на пенек, Потапенко ожидает, когда ребята начнут работать.

— Ну, давайте.

Толя и Саша перебирают инструменты, переглядываются. Поворачивают то одной, то другой стороной приготовленные бревна.

— Тут хорошо бы струбцинкой… — произносит Саша.

— Со струбцинкой бы совсем другое дело.

— Ну, хватит, друзья, — говорит Потапенко. — Вы меня за мальчика принимаете?

— Начинается… — шепчет Толя.

— Не понимаю. Колючую проволоку мы вам на забор поставили?

— Даже все пальцы себе поотбивали.

— Вот именно, пальцы поотбивали, — усмехается Потапенко.

— И скамейку эту сделали.

— У меня от них прямо голова не выдерживает… — обращается Дуся к мужу.

— Вы же топора держать не умеете. Плотники. Признавайтесь, что вы за народ?

— Не понимаю, — притворяется Саша.

— Рассказывайте, кто вы такие? Садитесь.

— Мы постоим.

— Нет, отчего же, присаживайтесь.

Саша и Толя с опаской садятся на скамейку. Раздается

угрожающий треск. Ребята хотят вскочить, но Потапенко их удерживает.

— Сидите, сидите.

Раздается оглушительный треск, скамейка разваливается. Толя и Саша на земле.

— Эх, ребята, вы же к бывшему строителю попали. Так кто вы такие?

— Студенты Ленинградского медицинского.

— Нахалы вы, а не студенты, — говорит Дуся.

Потапенко машет рукой.

— Собирайте, ребята, вещички, и с богом.

— Ясно.

— Больше мне не попадайтесь, — говорит Дуся и уходит с мужем в дом. Навстречу им Лена. Она видит Толю и Сашу, сидящих на земле среди обломков скамейки.

— Какое кораблекрушение, — смеется она и помогает ребятам подняться.

— Кончена наша глобальная авантюра, — говорит Толя.

Лена замечает, что Саша хмурится.

— Ты чего такой мрачный?

— Так.

— Глубоко сказано. Я подумаю над этим. Ребята, какой я сегодня сон видела!

— А я, сколько ни старался, ни одного сна в жизни не видел, не знаю даже — как они выглядят, — ухмыляется Саша.

— Расскажи, — просит Толя.

— Понимаете — никаких людей, никаких предметов, никаких событий — ничего. Абсолютно ничего…

— Тогда выходит, тебе ничего не снилось, — угрюмо говорит Саша.

— …только ощущения… Я чувствовала высоту, огромную высоту… Сердце замирает, и страшно дышать.

— А что значит высота? Горы, облака?

— Нет. Просто чувство высоты.

— Понимаю. И тебе было хорошо? — говорит Толя.

— Хорошо? Это не то слово. Я была счастливой… Совсем счастливой. Мне просто снилось, что я счастливая…

— А все-таки свинство, что даже между самыми близкими людьми есть стена, за которую не проникнуть.

Лена смеется.

— Конечно, невозможно взять другого человека в свой сон.

— Значит, стена?

— Нет, сон ведь имеет к этому другому прямое отношение.

— Правда?

— Конечно! Какой ты глупый.

— Я тоже, наверно, глупый, — говорит Саша, — не понимаю, о чем вы говорите.

Толя смеется:

— Ребята, до чего у меня щенячье настроение. Так бы, кажется, и залаял!

Слышится голос Дуси:

— Лена, а Лена!

— Иду-у! А ты, Толик, полай тут пока немножко.

Она уходит.

— Толька, у меня к тебе просьба, — говорит Саша.

— Что за предисловие?

— Плохи мои дела.

— О чем это?

— Ты замечал, что человек меняется от того, кто собеседник? С одним ты остроумен, с другим — двух слов не свяжешь. С Леной я просто осел. Вот письмо. Будь другом, отдай ей.

— Не могу.

— Как это не могу? Не хочешь?

— Саша, мне неприятно, но я действительно не могу.

— Почему?

— Вот уже неделю я собираюсь тебе сказать…

— Что такое?

— Как ты считаешь — можно чем-нибудь разорвать нашу дружбу?

— В чем дело?

— Поклянись страшной клятвой, что мы не поссоримся.

— Чего пугаешь? В шайку грабителей завербовали?

— Клянешься?

— Ну, клянусь.

— Без «ну» клянешься?

— Клянусь без «ну».

— Мы с Леной любим друг друга.

Наступает молчание.

— Как ты сказал? — произносит Саша.

— Сам не знаю, как это случилось.

Саша молчит, потрясенный.

— Мне тоже нелегко. Все отравлено. Как будто в чем-то перед тобой виноват.

Саша молчит.

— Ну, ударь меня, что ли? Ударь!

Саша молчит.

— Ну, что же делать? Хочешь, уеду сейчас же?

Саша молчит.

— Скажи что-нибудь! Ну, что делать, Сашка? Не молчи, ради бога. Саша, Сашка. Ну, Сашка же…

— Ведь мы все время все вместе. Когда же вы разговаривали? — недоуменно говорит Саша.

— Всегда при тебе. Да вот сейчас, например…

Снова помолчав, Саша произносит:

— Чего уж там… Я пошел.

— Саша…

Саша уходит. Толя двинулся было за ним, остановился, тихо свистит, ждет. Выходит Лена. В одной руке щетка, на другую надевает мужской ботинок.

— Что случилось?

— Я говорил с Сашкой…

Саша возвращается. Он видит Толю с Леной, останавливается. Толя и Лена тоже его увидели. Неловкое молчание.

— Толя, не забудь забрать инструменты, их отдать надо, — говорит Саша.

— Ты что это — письмо получил? — спрашивает Лена, заметив в его руке конверт.

Саша недоуменно смотрит на письмо — он совсем забыл о нем.

— Да, получил, — он рвет письмо и уходит.

— Что с ним? — говорит Лена.

— Я ему все сказал и чувствую себя предателем.

— Ну и глупо. Слушай, что это за девица, про которую Сашка вчера говорил?

— С нашего курса одна халда.

— А что у тебя с ней было? Почему она тебя ударила?

— Почему… почему… Я ей сказал, что она идиотка, а она хлоп меня по роже.

— А зачем ты ей так сказал?

— Так она и есть идиотка. Заявляет вдруг, что Чехов устарел. Что же ей конфету было дать?

— А вообще у тебя с ней что-нибудь было?

— С этой дебилкой? Ты лучше скажи — ничего не изменилось?

— О чем ты?

— О твоем сне.

— Я его уже забыла.

— Но ты только что рассказывала.

— Ну, а с тех пор уже минут пятнадцать прошло.

— Знаю, что ты шутишь, а все равно неприятно.

— Глупый. Неужели ты не понял еще, что никогда в жизни

ничего уже не изменится? Не надейся.

— Ленка…

— Сама удивляюсь. Не могу уже думать о себе отдельно от тебя.

— И я. Вот приедем в Ленинград, я тебя приведу к маме… Ты переведешься в Ленинградский институт… Вот только Сашка… ведь он живет у меня в комнате… Ой, смотри, ты вся измазалась. Ненавижу этих людей. Сделали из тебя рабыню. Хозяина твоего прямо видеть не могу.

— Толик, дай слово, никому ни звука.

— Даю.

— Это мой отец.

Пауза.

— И твой отец видит, что тебя превратили в домработницу…

— Но ведь он ничего не знает. Садись, слушай. Это было давно-давно. Отец был инженером. В начале войны ушел на фронт. Меня еще на свете не было. Потом приезжал раненый на побывку и снова на фронт. В начале сорок третьего я родилась. У мамы папина шинель осталась. Она долго ее носила, и я запомнила — когда прижмешься к этой шинели, а она влажная — пахнет как мокрая собака… Вот и все воспоминания об отце. Он маме писал. Я эти письма через много лет читала. Писал о своей жизни, о боях, о том, как его батальон попал в окружение. Потом писем не стало. После войны пришел какой-то солдат, оставил записку и посылку. Мама прочла и заплакала. Сейчас еще вижу мамино лицо в слезах и слышу визгливые частушки, их по радио передавали в это время. Мне трех лет не было, а представь, помню. Мы уехали в Сибирь. Очень маме было тяжело. Она хрупкая, маленькая была. Жить надо было. Про отца она сказала, что погиб. И только перед смертью рассказала правду. Оказывается, бросил он ее. Написал, что любит другую, просил простить, прислал аттестат. Мать аттестат порвала, и мы уехали, не оставив адреса. Не знаю даже, искал нас отец или нет. Мама умерла. Мне тогда девять лет было. Забрали к себе соседи — тетя Вера… Так и жила. Кончила школу, в институт поступила, педагогический… и все время хотелось посмотреть хоть одним глазком на отца. Я ночи не спала. Мы знали, что он с новой женой тут, в Крыму… Ну, я и поехала. Паспорт они у меня спрашивают на прописку, а как я дам, если там написано — Елена Яковлевна Потапенко?

— Ну и что же ты… про отца как думаешь?

— Жаль его. Кажется, он мог бы быть другим. И знаешь, Толик, видно, есть какая-то сила — тянет меня: будто от сердца струна натянута к нему. Он тронет ее нечаянно… Отец… Я вот

стала под его диктовку писать, так… вроде мемуаров… Ему трудно. Слова казенные, уставные, а другой раз такое скажет, такая вдруг прорвется тоска по жизни, по товарищам…

— А ты не хочешь ему сказать?..

— Нет. Я ему не нужна. Нет, Толик, нет, ни за что.

— Бедная ты моя.

— Почему это — бедная? У меня тетя Вера есть, ты теперь есть.

— Всю жизнь буду вот так на тебя смотреть.

— А если очки потеряешь? — Она снимает с него очки.

— Все равно вижу. — Он закрывает глаза, отворачивается. — Сейчас ты улыбаешься, правда?

— Правда. — Она показывает язык.

— Ты показала язык.

— Откуда ты знаешь?

— Глубокое понимание женского характера.

Со стороны дачи слышится, как кто-то насвистывает.

— Иди.

Лена отдает Толе очки.

— Вечером выйдешь?

— В девять.

Толя уходит. Из ворот появляется Потапенко. Не замечая Лену, он идет задумавшись, заложив руки за спину. Насвистывает «В лесу прифронтовом». Свистит он мелодично, не очень громко. Остановился, сел на пенек, думая о чем-то и продолжая насвистывать. Облокотился локтем о колено, закрыл рукой глаза — он, вероятно, в мыслях далеко отсюда.

Боясь ему помешать, Лена тихонько подвигается к воротам и приоткрывает их, намереваясь уйти.

— А… Леночка! — замечает ее Потапенко. — Послушай, я категорически запрещаю чистить мои башмаки… Что это такое?.. Запрещаю.

— Я больше не буду.

— Скажешь Евдокии Ивановне — я запретил.

— Хорошо, Яков Васильевич.

— Я тебя и так эксплуатирую со своими дурацкими воспоминаниями.

— Мне самой интересно.

— Вчерашнее переписала?

— Да…

Лена идет на веранду, приносит оттуда папку.

— Черт его знает, что за штука — писательство, — говорит Потапенко, открывая папку. — Видишь все как есть, а выразить не можешь. Я раньше на писателей смотрел как на людей

несерьезных…

Он читает написанное Леной, хмыкает, теребит волосы. Лена за его спиной стоит, смотрит на него с огромной нежностью. Кажется, она сейчас бросится к нему, обнимет, прижмется к его плечу.

— Удивительно, как это ты написала? Удивительно. Будто сама там была. Ну, откуда ты взяла, что я тогда подумал про командира дивизии и мысленно выругался? Как ты могла это узнать?

— Просто я себе представила, что вы должны были подумать, когда он отказал в подкреплении.

— Даже слова те самые, которыми я тогда подумал. Ну, а откуда ты взяла, что во время десанта вода блестела и слепила нас? Ведь факт, что так было, а я этого тоже не говорил. Вот прочитал у тебя — вспомнил.

— Я себе просто представила, вы рассказывали, а я представляла.

— Прямо неудобно за свое выдавать. Откуда ты слова берешь? Наверно, ты и стихи пишешь? А ты, между прочим, откуда?

— Из Сибири.

— И родные у тебя там?

— Конечно.

— Кто?

— Разные, тетя Вера…

— А отец, мать?

— Отец… на фронте погиб… Давайте заниматься, Яков Васильевич.

— Ладно…

Ходит, останавливается, диктует. Ему это дается с большим трудом. Напряженно думает, пока не скажет.

— …Батальон, значит, высадился. Под огнем, значит, противника. Высадился, значит, Черт его знает. Тут, понимаешь, есть (стучит пальцем по лбу), а сказать — слов нет. В общем, вот так стоят немцы, вот так подходим мы… А что ты пишешь?

— То, что вы говорите.

— А я ведь ничего еще не сказал. Покажи.

— Потом…

— Прямо удивительно, как я устаю… Давай мы лучше позже займемся.

— Хорошо. Яков Васильевич, а вы давно тут поселились?

— После войны.

— А почему здесь?

— Воевал тут. Вот потянуло и вообще… на райскую жизнь

повело. (С горечью.) Спокойная работа, жизнь не пыльная. Чем не рай? И дом — полная чаша… Да, Леночка, большие у нас тут были потери… Кто погиб, кто осиротел, а у кого жизнь вкось пошла… Ну-ка, прикрой ворота, и пойдем.

Лена закрывает ворота. Вскрикнула.

— Что ты?

— Палец занозила.

— Давай руку.

Потапенко надевает очки, берет Ленину руку.

— Вот она торчит. Видишь?

— Да…

Потапенко не замечает, как взволнована девушка. Это отец, отец держит ее руку. Впервые в жизни почувствовала она руки отца…

— Терпи, терпи, — говорит он. — Вот и все. А рука какая худенькая… Совсем еще детская…

Дуся выходит из дома.

— Яков, сходи на погреб — там вишни в корзинах. (Потапенко уходит.) А кто это к нашей ветке веревку привязал? Нахальство какое! Эй, чье это белье?

Дуся отвязывает веревку. Вбегает Зина.

— Зачем вы отвязываете веревку? Михаил Михайлович! Петя!

— Яков! Яков! Яков! — кричит Дуся.

На полянке появляются профессор, Петя, Татьяна Ивановна, Ирина и Кузьма Кузьмич. Они появляются не все сразу, а постепенно, по мере того как разгорается скандал.

Т а т ь я н а И в а н о в н а. В чем дело? Кто сбросил белье? Смотрите, все в грязи.

Д у с я. А кто вам разрешил привязывать свою паршивую веревку к нашему дереву?

З и н а. Не к дереву, а к ветке.

Д у с я. А ветка чья? Нашего дерева.

П е т я. Раз ветка по сю сторону забора…

Д у с я. Это мне нравится. Дерево высунуло ветку, значит, она уже не наша?

З и н а. Не ваша.

Д у с я. А чья?

З и н а. Ничья, всехняя, божья, общественная, только не ваша.

Д у с я. Это мне нравится. Значит, если я высуну голову в форточку, она уже не моя, а ваша, общественная?

П р о ф е с с о р (подходит и, топнув ногой, наступает на Дусину тень). Ну, почему вы не протестуете?

Д у с я. Чего?

П р о ф е с с о р. Почему не протестуете? Я наступил на вашу

тень. Смотрите, я ее топчу. Это же ваша собственная тень.

Д у с я. Вы с меня дуру не стройте. То тень. А между прочим, да, тень тоже моя. Вот отойду, и она отойдет. А дерево я трогать не дам. Лучше отрублю ветку, а не дам. И воду вам, между прочим, тоже не видать. (Профессору.) Думаете, мы не знаем, что вы ночью лазаете на нашу дачу?

Из дома с двумя корзинами в руках выходит Потапенко.

П р о ф е с с о р. Это я лазаю?

Д у с я. Вы лазаете.

П о т а п е н к о. Действительно, из вашей компании кто-то каждую ночь ходит к нашему колодцу.

З и н а. Как не стыдно? Мы из-за вас сидим без воды. Что вы за люди такие?

Д у с я. А вы нас не учите. Вы нам весь вид загородили. Без вида нашей даче совсем другая цена.

П р о ф е с с о р. Цена, цена, цена… Вы посмотрите на себя, чем вы стали? Торгаш с корзинами… Позор.

Д у с я. Вы, пожалуйста, с вашими моралями к нам не лазайте. Подумаешь, отыскался… Сам небось где-нибудь завхозом сидит и на лапу берет…

П о т а п е н к о. Я попросил бы моей личности не касаться. Вы тут туристы, случайные люди.

П р о ф е с с о р (дрожит от негодования, заикается). Я… я… у себя в стране не турист, а хозяин! И если я вижу… если… я вижу…

Т а т ь я н а И в а н о в н а. Миша!

И р и н а. Бросьте вы их, Михаил Михайлович, это уже не люди. У них вон вода заванивается, а они все дрожат: «не тронь», «моя», «собственная»… Не хочу у вас жить. (Кричит в сторону дачи.) Кузьма! Собирай вещи!

П о т а п е н к о. Предупреждаю, если я у себя застану кого-нибудь…

К голосам ссорящихся присоединяется лай собаки, закудахтали куры.

П р о ф е с с о р. Расстреляете?

Т а т ь я н а И в а н о в н а. Мишенька…

И р и н а. Повесите? Четвертуете?..

З и н а. Живьем сожжете?..

Д у с я. Очень грубые надсмешки…

П о т а п е н к о. Я предупредил.

П е т я. А я лазил за водой и буду лазить.

Д у с я. Ах так?

П е т я. Да, так.

И р и н а. Питекантропы!

Д у с я. Убирайтесь отсюдова, пока добром просят!

Т а т ь я н а И в а н о в н а (вдруг бросив профессора, наступает на Потапенко и Дусю). Это вас надо убрать с советской земли!

П р о ф е с с о р. Развелись паразиты…

З и н а. Вас надо за деньги показывать!

П е т я. В зверинце!

Во время этого скандала из палатки профессора выходит Тужиков, он присматривается к Потапенко, узнает его.

Т у ж и к о в. Товарищ майор, вы?

П о т а п е н к о. Тужиков?

Т у ж и к о в. Неужели вы?

П о т а п е н к о. Тужиков! Какими судьбами?

Т у ж и к о в. Вот так встреча, товарищ майор!

Они обнимаются, все вокруг умолкли.

П о т а п е н к о. Знакомься, Евдокия Ивановна. Да, собственно, вы знакомы.

Т у ж и к о в. Не помню, извините.

П о т а п е н к о. Чудак-человек, это же Дуся!

Т у ж и к о в. Дуся? Не может быть.

Д у с я. Я самая.

Т у ж и к о в. Ласточка?

Д у с я. Не признаете, товарищ Тужиков?

Т у ж и к о в. Боже мой! Ласточка… А это что? Товарищ майор, почему вы с этими корзинами?

П о т а п е н к о. Это… гм… это… вишня…

Т у ж и к о в. Какая вишня, товарищ майор?

П о т а п е н к о. Ну, просто вишня, обыкновенная вишня.

Поздний вечер. «Дикари» на берегу поют Сашину песню. Они поют не очень стройно, но с большой охотой.

Когда-то не было совсем
Студентов на земле,
Весь мир был слеп, и глух и нем —
Он утопал во мгле…

Перед крыльцом дачи стоит закрытый мешковиной предмет высотой около метра.

Дуся с Леной сидят на крыльце, слушают.

…Теперь переверните-ка вы каждый континент:
Повсюду жизнь, и шум, и свет, где хоть один студент…
Студент студента повстречал и вместе с ним пошел —

Никто из них не замечал, что дружбу изобрел.
А ну, переверните-ка вы каждый континент —
И друга не отыщите вернее, чем студент…

— Скажите, — обиженно говорит Дуся, — поют. Это же надо — другого места нет на побережье песни петь. Лена, ты отдала шоферу трешку, как я велела?

— Отдала. А что это он привез? Камень какой-то…

— Камень… Много понимаешь…

Она снимает мешковину, под ней обнаруживается каменный лев с поднятой лапой. Лев древний, изъеденный веками.

— Камень… такие петрушки у баронов перед дворцами стоят… Камень…

Дуся обходит вокруг льва, присматривается к нему, говорит задумчиво:

— Посеребрить его разве… у Якова банка краски… — Лене: — Теперь вот что, дорогая, надо нам по-хорошему с тобой поговорить, деньги за мансарду ты мне до сей поры не отдала.

— Извините, Евдокия Ивановна. Я вчера вторую телеграмму тете Вере послала…

— С твоего извинения шубу не сошьешь, и тетя Вера мне, извиняюсь, до лампочки. Мне, может, самой жалко тебе отказывать, да не могу я нести такие убытки! У меня мансандру с руками оторвут. Вон Ирина Николаевна с мужем гордость показали — съехали в продувную палатку к туристам. Скажите, как я расстроилась! Через час пустила жильцов. Самый сезон. Так что ты не обижайся. Дружба дружбой, а табачок врозь. (Посмотрела на льва.) А то известкой выбелить? Тоже красиво будет.

Она закрывает льва мешковиной.

— Ладно, чего-нибудь придумаю. Постой, ты куда?

— Я сейчас соберу вещи.

— Стой. Смотри, пошла сразу… Не могу я тебя на ночь глядя отпустить. Оставайся до утра. И молока возьми кружку, с хлебом попей. И на дорогу я тебе должна собрать. Там сыра есть головка хорошего и колбасы сухой палка. И чего я к тебе так привязалась, девочка? Сама не понимаю… Я без тебя скучать буду. Ах, Лена, ну что за жизнь, честное слово. Суетимся, карабкаемся, стараемся как лучше…

— Евдокия Ивановна, для чего, по-вашему, человек живет на свете?

— Как это «для чего»? Каждый для своего.

— Ну, а вы, Евдокия Ивановна? Для чего вы живете?

— Какие-то ты ставишь идиотские вопросы. А ты для чего живешь?

— Для счастья. Чтобы быть счастливой и чтобы все были счастливы, Для того самого, за что Яков Васильевич воевал. И вы ведь тоже были на фронте?

— Свое отвоевала. Девчонкой была, вроде вот тебя. На мордочку — ничего. Тонькусенькая — ремень, бывало, два раза вокруг обернешь. Сапожки всегда начищены, гимнастерка постирана, поштопана. Весь батальон круги делает… Я, правда, строго себя держала. «Ласточка! — зовут. — Ласточка, заходи к нам чаевать»… Эх, Ленка… А вчерась Тужиков не признал меня… Я чуть со стыда не сгорела, на себя оглянувши… Ну, чем глупые вопросы ставить, пойдем, с антресоли желтый чемодан сними — возьмешь себе шерстяную кофточку, австрийскую… Совсем еще новая. Это я тебе дарю. Закрой калитку, да в яму не угоди… Пойдем…

Поют «дикари» вдали. Появляются Ирина с Зиной.

— Наши распелись, — говорит Зина.

Ирина опускает на землю рюкзак, с которым пришла.

— Смотри, какие тучи… и душно.

— А вы не боитесь, Ирина Николаевна, в палатке спать, если гроза, если море разбушуется…

— Я только из-за моря и живу здесь, на берегу, а то бы поселилась в экспедиции. А бурное море люблю еще больше, чем спокойное. Ну, как — не жалеешь, что пошла работать?

— Что вы, Ирина Николаевна! Мама сердится, что не выношу ведро в мусоропровод. Я написала — мамочка, если бы ты видела, какие у меня теперь мозоли на ладонях.

— А ведро кто все-таки будет выносить? (Прислушивается к пению.) Неужели Кузьма поет с ребятами?..

Среди поющих голосов действительно выделяется тенор Кузьмы Кузьмича:

И вот мы пляшем и поем,
танцуем и поем,
И в одиночку, и вдвоем, втроем, и
вчетвером,
А впятером — тем более, а лучше —
вшестером!
И стук, и гром, и пыль столбом
В пространстве мировом…

— Распелся… — улыбается Ирина, — смешно… Давно не слыхала… Будет гроза…

— Ирина Николаевна, а правда, что к вам комиссия едет?

— Не просто комиссия — сам Введенский.

— Важный дядечка?

— «Дядечка»… Эх ты, будущий археолог. Академик Введенский! По Введенскому учиться будешь. Наши находки подтверждают, что миграция скифов к побережью относится еще к четвертому веку до нашей эры. Вот, например, каменный лев, которого мы нашли…

— Товарищи, приглашаем на ужин! — кричит, подбегая, Саша. За ним Толя со множеством пакетов в руках.

— Зина, пошли!

— С чего это вы разбогатели? С работы вас, кажется, выставили?

— Не выставили — просто корректно попросили удалиться.

— А вы им еще колючую проволоку набивали. Откуда же богатство?

Саша отвечает таинственным шепотом:

— Дельце провернули. Кокнули с Толькой одну старушенцию.

— А мы еще хотели собрать вам деньги — боялись, что вы умрете от истощения…

Лена с маленьким чемоданчиком в руке выходит из ворот дачи.

И р и н а. Что это значит? Куда ты?

Т о л я. Что случилось?

Л е н а. На автобусную станцию.

З и н а. Говори толком, в чем дело?

И р и н а. Они вас выгнали? Да?

Л е н а. Просто тетя Вера не прислала перевода.

Т о л я. С ума сойти! И твой собственный.

Л е н а (быстро перебивает). Яков Васильевич ничего на знает.

З и н а. Кулачье проклятое! Оставайся у нас. Посмотри на небо!

И р и н а. Да, девочка, сейчас вам никуда нельзя идти.

Т о л я. Я тебя не отпущу.

Профессор идет с Тужиковым по берегу моря. В руке у профессора маленькая книжечка. Из нее торчат белые полосы закладок.

— «А ну, переверните-ка вы каждый континент — и друга отыщите-ка вернее, чем студент…» — мурлычет он, перелистывая книжечку.

— Зачем это вы стали изучать Уголовный кодекс? — спрашивает Тужиков.

— И вам советую. Может пригодиться. В Ялте достал.

Тужиков нагибается, поднимает железный предмет.

— Интересно, как она здесь очутилась?

— Что это?

— Странно… Солдатская каска… Осколком пробита. Земля свежая… Откопал кто-нибудь?

Профессор рассматривает каску.

Они выходят на полянку, профессор увидел Зину.

— А, дежурная! Что в лагере?

— За время вашего отсутствия, товарищ командир, никаких происшествий не произошло, за исключением убийства с целью ограбления неизвестной старухи двумя жителями нашего лагеря. Дежурная Зинаида Курочкина.

— Убийцы обнаружены? — будничным тоном спрашивает профессор.

— Вот они — Миронов Анатолий и Репин Александр.

— Что ж, товарищи, можно считать, день прошел нормально. Прошу быть наготове: наш тайный план будет реализован ночью. Приближается гроза, и это нам в высшей степени на руку. Оружие подготовлено?

— Все спрятано в кустах у большого кипариса.

— Какой такой тайный план? — спрашивает у Толи Лена.

— Эта девушка изгнана из вражеского лагеря и просит политического убежища, — говорит Зина.

— Предоставить, — отвечает профессор.

Тужиков отводит профессора в сторону.

— Товарищ командир, прошу разрешения на переговоры с противником.

— Неужели вы на что-нибудь рассчитываете?

— Это мой долг.

— Что ж, попытайтесь.

Тужиков направляется к даче Потапенко.

— Послушай, Сашка, — говорит Толя, — мы по твоему поводу приняли решение.

— Интересно, какая судьба меня ждет?

— Без шуток. Вопрос серьезный. Нам троим нужно разрешить, может быть, самую важную проблему будущего общества. Это не громкие слова, и нечего тебе ржать. Вопрос стоит так: смогут или не смогут люди, когда исчезнут все другие противоречия, победить в себе зависть, ревность, обиды и прочую гадость.

— И вы решили на мне поставить эксперимент. Нашли кролика.

— Не на тебе, а на нас троих. Мы с тобой друзья. Живем в

одной комнате. Между нами ни материальных, ни социальных, никаких различий. И вот является такая Лена, и начинается конфликт. Типичный конфликт будущего человеческого общества.

— Что же вы решили про меня, люди будущего?

— Во-первых, — говорит Лена, — мы уедем отсюда вместе, втроем.

— Лену в коляску, я — на багажнике.

— Трогательный пейзаж, — усмехается Саша.

— Слушай, Сашка, и не возражай. — Толя берет его за руку. — На первый взгляд это, может быть, глупо, и мещанин только посмеется… Но мы сделаем так — Лена переведется в Ленинград. Мы с ней поженимся и мою комнату разделим пополам. В одной половине будем жить мы с Леной, а в другой — ты. Мы по-прежнему будем с тобой всегда рядом… Нет, ты постой…

— Что меня больше всего трогает — это забота о человеке.

— Пойми, чудак, это необыкновенно серьезно. Что же мы, на словах одно, а на деле ничем не лучше этих… (Жест в сторону дачи.)

— Что это вы все «мы» да «мы»… Скажите, пожалуйста! Опыт-то собираетесь на мне одном ставить? Пусть этот Сашка живет рядом. Во-первых, хоть он и дуб, а все-таки приятель. Во-вторых, развлечение — посмотрим, как он будет реагировать на наше семейное счастье. Скажите, какие новые люди!

— Дурак ты, дурак.

— В общем, напрасно вы ко мне вяжетесь. Садитесь в автобус, и привет. Деньги на дорогу теперь у Тольки есть…

— Кстати, откуда у вас действительно появились деньги? — спрашивает Лена.

— Михаил Михайлович одолжил. Сашка проболтался, что мы рюкзак посеяли. Он прямо-таки заставил взять.

— Сашенька, если ты действительно ко мне хорошо относишься…

— Начинается демагогия.

— Пойми, Саша, я никогда не прощу себе, если из-за меня разобьется ваша дружба…

— Боюсь, что ты сильно преувеличиваешь свои возможности.

— Но я ведь серьезно…

— Короче, я иду готовить харчи. Через десять минут приходите ужинать. А что касается ваших утопических предложений, считайте их с благодарностью отклоненными.

Саша уходит.

— Какой дурак… Как же вышло, Леночка, что Дуська тебя

выставила? И с отцом ты не простилась?

— Потому и не осталась до утра. Начнутся из-за меня объяснения с Евдокией Ивановной. Я и в палатке не хочу ночевать. Пойду на станцию — устроюсь на турбазе.

— Утром вместе пойдем.

— Нет, нет…

— Тогда я тебя провожу.

— Жаль все-таки, что Сашка не смог подняться над всем этим…

— Я бы остался с тобой сразу на турбазе, но здесь есть дело…

— Тайный план?

— Я по дороге расскажу. Доведу тебя до базы и вернусь. А утром мы с тобой двинемся в путь.

— Итак, начинается наша жизнь. Дай руку, — говорит Лена.

— Зачем? — протягивает он руку.

— Так. Подержать. А у тебя ногти обкусаны.

— Я уже почти отучился. А у тебя очень глупая лапа.

— Ты не представляешь, какое это странное чувство. Наверно, мне его всю жизнь не хватало — отца. И вот… и эта женщина… наверно, я должна ее ненавидеть — она разбила нашу жизнь. А мне ее жалко почему-то… Она ведь отца по-своему любит… Как это все страшно… И отца ужасно, ужасно жаль… Ну, что за жизнь у него. Вечно под каблуком у этой Дуськи, ничего они не видят. И так меня тянет броситься к нему, крикнуть «Папа… это я, слышишь — это я!» А потом думаю — ни за что! Если б я ему была нужна — разыскал бы, о маме бы горевал. Толик, он…

Лена и Толя поспешно уходят в сторону палаточного городка. С противоположной стороны на полянку выходят Потапенко и Тужиков.

Потапенко держит в руках каску.

— Уложило, видно, беднягу на месте… В сущности, мы были здесь все смертниками — кто уцелел, вторую жизнь живет… А где ты ее взял?

— Возле ваших ворот, на земле…

— Странно… как я мог не заметить? Сигарета есть?

— Так вот, друг, не думай, что я всегда этого не понимаю. Другой раз проснешься — особенно вот в такую грозовую ночь… сердце, видно, реагирует на атмосферные явления — лежишь, и такая вдруг тоска нападет. Вокруг люди живут, и только я без толку землю топчу… Вот они какие, мой веселые дела, брат Тужиков. А тут еще девочка эта, до того я к ней привязался… Сегодня узнаю — Дуся ей от комнаты отказала. Ушла и не простилась. Я уж Дусю и так и сяк… Ну, знаешь, женщины — она

в слезы… Сама, между прочим, жалеет. В общем, капитулировал. Так-то, брат Тужиков.

— Дуся, Дуся… Поверить трудно… Наша ласточка, легонькая, позовешь, кажется, не подойдет, а перепорхнет к тебе… Другой, раз огонь, бомбежка — конец света, а она спокойно перевязывает: «Потерпи, браток, солдату терпеть положено…» Даже говорок ее — не шибко грамотная речь — и то казался милым… Эх, Яков Васильевич…

— Поверишь, все у меня эта девчонка… Пошла куда-то на ночь глядя. Я уж было машину выкатил — за ней ехать. Да куда поедешь?

— А что у вас с Дусей, детей не было?

— Нет. У меня ведь вообще все нескладно получилось. Винить некого — сам виноват. Я до войны женат был, в общем, тебе моя история известна. У нас ведь не баловство было с Дусей. Может, тебе странным покажется, а она и сейчас для меня та самая ласточка. Из-за нее поселился тут и вот все это… Я же, Тужиков, родился строителем, у меня руки, душа, понимаешь, строителя. Я ведь раньше только стройкой жил… И вот — не вернулся, служу тут в канцелярии, чепухой занимаюсь. Стараюсь не думать, газет, поверишь, не читаю… Так-то, Тужиков. Дела… После войны узнал, что у Маши, у прежней жены моей, ребенок родился — не знаю даже, сын или дочь. Пытался их разыскать — никаких следов. Что за судьба, живы ли…

— Яков Васильевич, я хочу сделать вам предложение. Бросайте вы эту хату, пусть Дуся хозяйничает, если так к ней прикипела, бросайте и бегите, пока не поздно. Приезжайте в Питер. Жить будете у меня — квартира просторная. Поступайте к нам, на Кировский. У нас целое государство — дело для такого инженера найдется. Не захотите у нас — весь Ленинград перед вами. Ну, как?

— Черт его знает, до чего соблазнительно… Да вот Дуся… семья все-таки. У тебя у самого семья…

— У меня никого.

— Какой же я эгоист! О себе да о себе… Что же случилось с твоими?

— В общем, нет никого, один.

— Прости.

— Так как же, Яков Васильевич, едете?

— Я должен подумать. Чертово хозяйство, горело бы оно огнем! Наверно, и вправду нужно бросать все и уезжать. Из Питера напишу Дусе — пусть приезжает… Л вдруг не поедет? Духу не хватает рубануть сразу…

— А может именно — рубануть? Прямо завтра тронемся?

— До чего бы это хорошо! Заживу человеческой жизнью. С товарищами. Сколько на свете интересного… Уткнулся носом в эту дачу, будь она неладна…

Со стороны дома раздается собачий лай и голос Дуси: «Яков! Яков! А Яков! Где ты, Яков?!» Потапенко настороженно прислушивается. Голос Дуси: «Яков! Сюда!.. Ах вы, поганцы проклятые! Опять забрались! Я вам покажу вишню! Яков! Яков!»

Потапенко срывается с места и бросается на дачу. Голос Дуси: «Стой! Стой! Яков! Где ружье? Стой, кому говорю!» Выстрел. Второй. Голос Дуси: «Сукины дети! Все задницы прострелю!»

Тужиков прислушивается ко всему этому и, махнув рукой, направляется в сторону палаточного городка. Навстречу ему выходит профессор.

— Если судить по выражению лица, — говорит он, — особенных успехов не достигнуто. Ну, что ж… тем хуже для него… Кажется, гроза в конце концов разразится. Для нашего брата — разбойника самая подходящая погода… Пойдемте, Петр Андреевич.

Вспышка молнии, удар грома. Одна за другой ослепительные вспышки, оглушительные удары. Гроза все сильней и сильней. На даче гаснет свет. Хлынул дождь. Буря все усиливается и усиливается.

Со стороны палаточного городка появляются крадущиеся фигуры профессора, Тужикова, Кузьмы Кузьмича, Толи, Саши, Зины и Пети. У всех в руках лопаты.

— Дорогие друзья, — говорит профессор, — прошу еще раз обдумать. Я изучил кодекс, и — должен сказать — закон не на нашей стороне. Вернее, буква закона против нас. И хотя речь идет о каком-то несчастном заборе — так могут буквой бахнуть… только держись. Мой долг предупредить. Особенно вас, молодежь. Подумайте. Но я считаю, что дух нашего государства и будущее нашего общества по большому счету — за нас. Вот так… Согласны вы, если придется, отвечать перед законом, но примером своим выразить отношение к мещанству, к корысти, к мерзости, которая еще ползает по нашей советской земле?

— Согласны! Согласны!

— Тогда — за дело!

Из палатки выходит Татьяна Ивановна.

— Вот ты где!

— Ты, Танечка, не беспокойся. Я скоро вернусь.

— Да, Татьяна Ивановна, — говорит Тужиков, — не тревожьтесь, мы скоро вернемся.

— Что же, вы меня дурочкой считаете? Вы думаете, я давно не поняла, что вы затеяли?

— Ты, право, ошибаешься, Таня. Ничего такого особенного.

— Давайте лопату!

— Что?

— Давайте, я с вами.

Молния. Гром. Зина дает Татьяне Ивановне лопату.

— Ну, товарищи, шагом марш! — командует профессор и запевает:

> И вот мы пляшем и поем, танцуем и поем,
> И в одиночку, и вдвоем, втроем, и вчетвером,
> И впятером — тем более, а лучше вшестером!
> И стук, и гром, и пыль столбом в пространстве мировом…

Вперед, товарищи, вперед!..

Гремит гром. Сверкают молнии.

Утро. Поют птицы. Забор вокруг дачи Потапенко повален, и теперь дом открыт со всех сторон. Перед крыльцом стоит закрытый мешковиной лев.

На полянке по-прежнему палатки, мотоциклы, профессорская «Волга».

Саша и Толя, завернувшись в одеяло, спят на земле.

Дуся подводит капитана Целуйко к даче.

— Сюда, товарищ капитан, сюда, пожалуйста… Полюбуйтесь. Ну, что скажете?

— Н-да… И с другой стороны тоже?

— Кругом всего участка. Забор, правда, цельный, но весь чисто повален. Вы представляете, какие убытки обратно его ставить? И Полкан сбежал, как забора не стало. Нас теперь даже сторожить некому. С кого я стребую убытки? У меня, конечно, есть подозрение, чья эта работа. Но вы должны доказать, товарищ капитан… Осторожно, тут яма под калиткой была вырытая.

Капитан осматривает место происшествия.

— Евдокия Ивановна, — говорит он, — меня завпочтой просила передать извещение девушке, которая у вас проживает.

— А ну, давайте…

— Видите ли, я должен передать ей лично.

— Укатила Лена. Еще вчера вечером уехала от нас и адреса не оставила.

— Как это неприятно…

— Давайте на всякий случай. Может, она еще вернется. Ленка, Ленка… Про что это тут?

— Извещение на денежный перевод.

— Тьфу ты, глупость какая! (Она кладет извещение в карман фартука) Вот всегда — поторопишься — в дураках останешься… И Ленка без денег уехала…

Капитан постукивает пальцем по одеялу, под которым лежат Толя и Саша.

— Есть тут кто-нибудь?

Саша высовывает голову из-под одеяла, чихает.

— Привет, товарищ капитан.

— Здравствуйте, молодые люди. Когда вы вчера легли спать?

Толя тоже высовывает голову из-под одеяла. Он без очков.

— Саша, я слышу какие-то голоса? (Чихает.)

— Что это вы расчихались, товарищи?

Толя щурится, всматриваясь в капитана.

— Кто это, Саша?

— Это капитан милиции. (Капитану.) Он, понимаете, очки потерял, а без очков Толька родного брата от козла не отличит.

К а п и т а н. Так когда вы легли спать?

С а ш а. Толик, когда мы легли спать?

Т о л я. Когда мы легли?.. Гм…

К а п и т а н. Да, в котором часу?

С а ш а. Как-то я не обратил внимания на время. (Чихает.) Видите — святая правда.

К а п и т а н. А вы ночью ничего не слышали?

Т о л я. Как это ничего? Когда Сашка храпит — только глухой не услышит.

К а п и т а н. Значит, вы не слышали, как тут рядом забор валили?

С а ш а (оглядывается). Ой-ой. Какой кошмар! Тут адский труд надо было приложить… Такой солидный был заборище!

К а п и т а н. Попрошу одеться — запишем показания и подпишем протокол.

Раздается чихание. Из палатки выходят в пижамах профессор и Тужиков.

К а п и т а н. Здравствуйте! Попрошу, товарищи, ответить на несколько вопросов.

П р о ф е с с о р. Это, так сказать… по официальной линии?

К а п и т а н. Да. Я прошу помочь выяснить некоторые обстоятельства.

П р о ф е с с о р. Если мы сможем…

Т у ж и к о в. С удовольствием.

К а п и т а н. Раньше всего позвольте узнать ваши фамилии…

Т у ж и к о в. Тужиков Петр Андреевич.

К а п и т а н (записывает). Адрес? Место работы?

Т у ж и к о в. Ленинград, Пестеля, четырнадцать, квартира

четырнадцать. Работаю на Кировском заводе.

К а п и т а н (профессору). А вы?

П р о ф е с с о р. Фиолетов Михаил Михайлович.

Услышав фамилию профессора, Дуся, которая возилась с поваленным забором, вздрогнув, оборачивается.

К а п и т а н. Место жительства, место работы, должность?

П р о ф е с с о р. Ленинград, Кутузовская набережная, двенадцать, квартира один. Профессор Первого медицинского института Фиолетов.

Д у с я. Профессор Фиолетов! С ума сойти!

К а п и т а н. Скажите, не замечали вы в этих местах лиц, внушающих подозрение? Каких-нибудь типов хулиганствующего вида.

П р о ф е с с о р. Чего нет, того нет. Хулиганов не замечал…

Т у ж и к о в. В нашем лагере подобрался исключительный народ. (Чихает.)

К а п и т а н. Ну, а со стороны моря — не приставали лодки? Может быть, какая-нибудь веселящаяся компания прибывала со стороны моря? А?

П р о ф е с с о р. Со стороны моря?

Т у ж и к о в. Нет, со стороны моря мы тоже ничего не замечали.

К а п и т а н. А вы припомните хорошенько. Какая-нибудь лодка?..

П р о ф е с с о р. Нет, не припоминаю.

Слышится чихание. Из палатки появляется Петя.

П р о ф е с с о р. На здоровье.

П е т я. Доброе утро.

К а п и т а н. У вас, кажется, весь лагерь поголовно простужен. (Пете.) Вас тоже я попрошу ответить на несколько вопросов. Нет ли здесь стола?

П р о ф е с с о р. Пожалуйста, туда — у нас нечто вроде клуба; очень удобные пеньки и складной столик…

В то время, как все они проходят мимо палаток, раздается как бы вслед капитану громкий, «теноровый» чих Кузьмы Кузьмича. Капитан, уходя, удивленно переглядывается с профессором. Старик разводит руками, мол, что поделаешь — эпидемия.

Д у с я. Товарищ профессор…

П р о ф е с с о р (остановился). Да?

Д у с я. Извините, что так некрасиво вышло. Откуда нам было знать, кто вы?

— А с другими, по-вашему, можно так разговаривать.

— Простите, товарищ профессор, я к вам с просьбой. Муж очень сильно болен. Все доктора говорят — надо к профессору

Фиолетову… Мы его уже в дорогу собирали…

— Я здесь больных не принимаю. Сам приехал отдыхать.

— Я, конечно, опасаюсь говорить про вознаграждение.

— И хорошо делаете, что опасаетесь.

— Я уже поняла, какие вы люди. Но только Якова моего… Одна надежда на вас… (Заплакала). Он молчит, не жалуется.

— Ну, хорошо. Я его посмотрю.

— Спасибо, спасибо… товарищ профессор…

Вытираясь концами одного полотенца, обсуждают положение Саша и Толя.

— Как ты думаешь, капитан что-нибудь подозревает?

— По-моему, он все подозревает.

— Ты не видишь, где моя рубашка? — близоруко щурясь, спрашивает Толя.

Саша бросает ему рубашку.

— Что же с тобой будет?

— Может быть, мои глаза еще найдутся.

— На, держи зубную щетку… И вот что, Анатолий. Где эта гражданка? Вы как с ней договорились?

— Она на турбазе. Ждет.

— В общем… такое дело. Дай-ка сюда полотенце… Не могу же я тебя, слепого идиота, бросать… Хочешь — не хочешь — придется нам тащиться всем вместе… так что вернемся от капитана — собирайся.

— Это ты наш план начал выполнять?

— Как же — ваш план! И вообще, с нас, наверное, подписку о невыезде возьмут.

— А мы бросим мотоцикл и пешком пойдем. О невыходе подписок не берут.

— Ребята, а ребята, — кричит Петя, — капитан зовет.

Кузьма Кузьмич выходит из палатки.

— А я было к Ирине собрался — там у них какое-то несчастье случилось.

Потапенко сидит на крыльце. Он сумрачен, курит.

Держа в руке белую майку, стоит перед ним Дуся.

— С ума сошел? Мы за этим профессором ищем по всей стране, я его едва уговорила, а ты не пойдешь?.. Яшенька, родной мой, ну, для меня… пожалуйста… Что только с тобой стало! Ходишь — думаешь, думаешь, сигаретки изводишь… Яшенька… Нет, Яшка, с тобой по миру пойдешь. Нам такой убыток сделали, а он даже не смотрит. Дела, дела… Не одни, правда, убытки — вот наследство получили. Ленка майку забыла — это ж надо, штопка на штопке — смотри, прямо штопка на штопке. Жалко

мне ее как-то… А по курортам ездит. Нынешние девчонки. Смех прямо. На половую тряпку пойдет. У нас как раз прохудилась. Яша, пойдем к профессору… Ой, что это? Гляди… очки! Капитану надо отдать… Товарищ капитан… Смотрите, туточки лежали около забора… Собаку нужно теперь, пускай нюхает.

Капитан кладет очки в планшет.

— Ладно, разберемся.

Он уходит.

— Что это за «разберемся»? Надо по горячему следу пускать. Милиция… Да, совсем забыла. (Достает из кармана извещение.) Можешь представить, какая глупость. Я Ленке отказала, а ей перевод пришел. Вот. «Поселок Первомайский, дача Потапенко. Елене Яковлевне Потапенко». Что такое? Почта у нас — не могут, чтоб не напутать — и дача Потапенко, и перевод Потапенко…

Потапенко уставился на Дусю диким взглядом, вскакивает, выхватывает бумажку из рук.

— Дай! Дай сюда!

Он читает извещение, руки его дрожат — все понял.

— Да что с тобой? Чего ты расстроился? Ну, спутали: чего-то, а тебе что…

И вдруг Дуся тоже поняла. Вскрикнув, закрывает рот рукой.

— Яша… неужели… Она?..

Потапенко не отвечая уходит. Дуся стоит потрясенная открытием.

Шум мотора. Из кузова подъехавшего грузовика соскакивают Ирина Николаевна и Зина. Бросаются ко льву.

— Вот он!

— Ну, конечно, так и есть!

Ирина срывает со льва мешковину.

Лев ярко раскрашен. Туловище серебряное в яблоках, грива желтая, губы красные, глаза синие, хвост золотой.

Дико вскрикнув, Ирина падает. Зина подхватывает ее и осторожно опускает на землю.

— Помогите! Товарищи, помогите!

Все сбегаются.

— Воды! Скорей, воды!

Дуся поднимается на террасу, приносит графин с водой и протягивает Татьяне Ивановне, которая расстегивает воротник Ирининого платья. Однако Толя, опередив Дусю, подоспевает с ведром воды и кружкой.

Татьяна Ивановна зачерпывает воду и брызгает в лицо Ирине, Дуся так и осталась с графином в руке.

Профессор держит Ирину за руку, считает пульс.

— Ничего, ничего, сейчас это пройдет… А что, собственно,

тут случилось?

З и н а. Вот, смотрите! Я утром проснулась, выхожу из палатки и вижу… представляете? Зрелище…

П р о ф е с с о р. Какой ужас! (Дусе.) Вы с ума спятили? Вы знаете, что это такое? Дикари!

З и н а. Я как увидела — бросилась за Ириной Николаевной, а она уже ушла. Я в экспедицию, а там уже паника — лев пропал.

И р и н а. Ты, Кузьма?.. Спасибо, Татьяна Ивановна, мне лучше… Боже мой, не могу смотреть…

Т а т ь я н а И в а н о в н а. Это уголовное дело. (Дусе.) Что ж вы молчите? Почему не ругаетесь?

П р о ф е с с о р. Украшение им понадобилось для помещичьей усадьбы, мещанам чертовым. Видали? И они тянут к себе скифского льва третьего века до нашей эры…

И р и н а. Четвертого.

П р о ф е с с о р. Тем более.

И р и н а (поднимается). Через два часа Введенский приедет!

К у з ь м а К у з ь м и ч (нюхает льва). Может быть, ацетоном отмоется или бензином…

Т у ж и к о в. Вы на грузовой приехали?

И р и н а. Да.

Т у ж и к о в. Разбираться потом будем. А сейчас давайте Лёву на грузовик. Надо отмыть его.

Мужчины поднимают льва.

И р и н а. Боже, какой кошмар!

П р о ф е с с о р. На базар бы. С руками отхватят.

Льва уносят. Ирина, бросив на Дусю уничтожающий взгляд, уходит.

Дуся остается одна. Она стоит несколько мгновений задумавшись, с ненужным графином в руке. Выливает из него медленно воду и идет на дачу.

Льва грузят в машину.

— Осторожнее…

— Снизу, снизу поддавай… так… так… взяли…

— Поехали.

Гудок. Машина ушла.

Кузьма Кузьмич обращается к оставшимся:

— Товарищи, я предлагаю сейчас же перебазироваться. Я нашел местечко — отсюда семь километров. Маленькая бухточка. Рабочий поселок. Ирине до экспедиции полчаса ходу. Как вы?

П р о ф е с с о р. Я — за.

С а ш а. А мы с Анатолием уезжаем домой.

Т у ж и к о в. Адрес записали? Помните, жду в гости.

Т о л я. Обязательно, Петр Андреевич.

Т а т ь я н а И в а н о в н а. И к нам милости просим.

П р о ф е с с о р. Ну, давайте собираться. У нас с Таней еще целая неделя впереди.

Все принимаются за сборы. Саша с Толей укладывают свои вещички в коляску мотоцикла.

Т у ж и к о в. Жаль мне все-таки Якова Васильевича…

С а ш а (Толе). Клади к одной стороне, а то ей будет неудобно сидеть.

П р о ф е с с о р. Ну, друзья, все готово?

К у з ь м а К у з ь м и ч. Готово. А товарищ капитан…

К а п и т а н. Уезжаете?

П р о ф е с с о р. Да, решили перебазироваться. Мы вам еще нужны?

К а п и т а н. Нет. Пожелаю всего лучшего… Между прочим, профессор, у вас ничего не пропало?

П р о ф е с с о р. У меня? Ничего… (Он проверяет содержимое карманов.) Вот тебе раз! Бумажник-то… Гм… И здесь нет…

К а п и т а н. Вот он. С паспортами, с аккредитивом и с деньгами.

П р о ф е с с о р. Ну, как мне вас отблагодарить? А я-то хорош — даже не заметил… Позвольте, позвольте… а где же я его обронил?

К а п и т а н. Возле этого забора.

П р о ф е с с о р. Да? (Берет бумажник.) Мокрый…

К а п и т а н. От дождя, видимо. Как раз у столбика лежал, возле поваленных ворот.

П р о ф е с с о р. Гм… подумайте… какое совпадение!

К а п и т а н. Счастливого пути.

П р о ф е с с о р. До свидания. Спасибо.

Тужиков молча пожимает руку капитана.

К а п и т а н (Толе). Для вас, между прочим, тоже есть кое-что. (Протягивает очки.) Ваши?

Т о л я (берет очки, ощупывает, надевает). Как здорово.

Крепко пожимает руку капитана. Саша вслед за ним проделывает то же самое.

К а п и т а н. Тоже, между прочим, возле забора нашлись…

П р о ф е с с о р. Гм…

К а п и т а н. Что ж, до свиданья, товарищи, привет Ленинграду.

Машина отъезжает. «До свиданья, до свиданья». Толя сел на багажник мотоцикла, обнял Сашу.

Т о л я. Спасибо за все, товарищ капитан!

Уехали. Ушел капитан.

По опустевшей полянке, где был палаточный городок,

проходит Дуся.

— Уехали… скажите, пожалуйста… как от зараженных. Что это? — Она принюхивается, почувствовав какой-то запах. — Что такое?

Она встревоженно оглядывается, замечает мужа, обливающего дом содержимым канистры, и бросается к нему.

— Ой! Сумасшедший! Что ты делаешь?

У него взлохмачены волосы, блуждающий взгляд.

— Рятуйте, люди добрые! Рятуйте! Он дом поджигает. (Вырывает канистру из рук Потапенко.) Ой, лихо мое! Спички, спички отдай! Где у тебя спички, сумасшедший!..

Она ищет по карманам, находит и отбирает у него спички. Потапенко стоит, не сопротивляясь. Убит горем. Когда Дуся забрала у него спички, повернулся, пошел.

— Куда ты, Яша!

Он идет не слыша, не отвечая.

— Яков! Яша! Куда ты! Ну, постой, Яков!..

Потапенко замечает лежащую на камне белую майку. Берет ее, подержав в руке, опускает во внутренний карман пиджака и уходит.

— Да стой же, Яков! — бежит за ним Дуся. — Будь оно все проклято! Я же для нас гнездо строила! Для тебя, Яша!

Она спотыкается и падает в яму, вырытую на месте, где была калитка.

Теперь Дуся видна только до пояса.

— Яков! Вернись! Мы ее найдем! Мы уедем, все бросим, Яшенька!

Дуся плачет.

Откуда-то издали зазвучала музыка — тот самый фронтовой вальс, который Дуся пела вместе с мужем, под звуки которого они так хорошо, так славно танцевали.

* * *

…Да, великим испытанием для человека была война. И та, кто прошел это испытание, кого закалил огонь войны, и по сей день не забывают, как переоценены были ценности, как выступило настоящее и ушло в тень многое, казавшееся в жизни важным, как поняли истинную цену доброты, дружбы, благородства, верности — будь то верность Родине или верность любимой.

Те, что вернулись, те, что уцелели, принесли с собой эти чувства, эти понятия в послевоенную, в мирную жизнь.

И потому-то так велико оказалось влияние фронтовиков на всех участках жизни — куда бы они не попали — в деревню ли, на завод или в институт.

Но шло время — и жизнь мирная создавала новые свои испытания — испытания бытом, благосостоянием, мещанским благополучием.

Я могу засвидетельствовать, что бывшие фронтовики, которых я знаю — а их много у меня таких друзей и знакомых — все сохранили нравственную чистоту, все не поддались «искушениям», сумели отличить истинные ценности жизни и, здраво ценя всякие блага и удобства, не создавали себе из них мещанского кумира.

Может быть, именно потому, что история Дуси и Якова Потапенко была исключением, потому, что она особенно оттенялась судьбами и характерами других фронтовиков — она так поразила меня и мне захотелось о ней рассказать.

А, кроме всего, разве закончилось наше сражение с мещанством? Разве оно не живет среди нас, маскируясь то так, то этак, меняя формы, меняя свои «идеалы», вербуя приверженцев среди людей разных поколений?

СТРАНСТВИЯ ЖУРНАЛИСТА

Теперь мне хочется, читатель, повести вас за собой туда, где довелось мне побывать в качестве журналиста.

Не по всем, конечно, пройденным дорогам, а так — в несколько наудачу выбранных поездок.

Занимаясь своим прямым делом — кинематографом, я часто чувствовал необходимость оторваться от него, «нырнуть» в иную жизнь.

Тогда я брал в одной из редакций — чаще всего в «Литературной газете» — задание и ехал разбираться на месте в каком-нибудь деле. По возможности — запутанном.

Мне кажется важным вернуться хотя бы к некоторым из них потому, что чувства, испытанные тогда, — живы и сейчас, а этические проблемы, с которыми эти дела связаны, актуальны сегодня не меньше, чем тогда.

И, наконец, потому хочу вернуться к этим делам, что я остаюсь и поныне должником тех людей, с которыми тогда столкнула жизнь.

В феврале 1942 года, в качестве военного корреспондента, попал я в «Партизанский край».

Он занимал — этот край — территории Дедовичского и Белибелковского районов Ленинградской области.

«Край» находился за 200 километров от линии фронта, в

глубоком фашистском тылу.

Бывшему политпросветработнику — начальнику Новгородского Дома Красной Армии — Николаю Григорьевичу Васильеву удалось сколотить в этих местах большую партизанскую бригаду.

Она была разбита на множество мелких отрядов, разбросанных по лесам и по уцелевшим деревням.

Вышедшие из окружения — «окруженцы», как их шутливо называли, и бежавшие из плена красноармейцы, колхозники, бывшие советские и партийные работники этих районов — составляли костяк партизанских отрядов.

Удивительных людей повстречал я в этом «Партизанском крае»!

В ТЫЛУ ВРАГА

Самолет идет на запад, прямо на красную полосу заката. Все ближе линия фронта, последний советский городок проплывает и остается позади. Темнеет, вдали видны вспышки огня, такие маленькие, как если бы внизу зажигали спички. Это идет сражение, рвутся снаряды. Слева, далеко внизу виден маленький костер. Это горит город.

Линия фронта остается позади.

Начинается лес, пересеченный болотами и озерами. Мы летим долго, в ледяной лунной ночи, над сугробами, над опушенными снегом лесами. Залетели километров за двести в далекий тыл врага, и вот — условная ракета, — один за другим следуют сигналы, которых мы ждем. Самолет снижается, он идет вниз, прямо в пустынное, занесенное снегом озеро, и уже видны вдали костер и люди, сидящие возле костра, и человек, идущий прямо к самолету, приветливо крича что-то неслышное за шумом мотора.

В руке у этого человека портфель.

Я не представлял себе народного мстителя заросшим до глаз бородой, с берданкой за плечами и ножом у пояса. Но я никогда не думал, что люди, живущие в лесах, взрывающие мосты, устраивающие засады врагу, мстя и принося ему гибель и разрушения, могут выглядеть так мирно. Правда, на груди у этого человека висел автомат, к поясу были прикреплены диски, но в руках у него был портфель, и это придавало ему непоправимо штатский вид.

На много километров по фронту и в глубину тянутся районы, контролируемые партизанами. В этих районах под охраной

партизан сохранились колхозы. Вновь созданы сельсоветы, работают районные «тройки по восстановлению Советской власти». Лен вытереблен, разостлан, замочен — его берегут до того дня, когда районы, освобожденные от оккупации, отправят его по назначению. В счет госзаготовок колхозы передают партизанам сельскохозяйственные продукты.

В этих районах работают школы, медпункты, ветеринарные пункты. Выходит газета «Народный мститель».

Все советские организации подвижны, часто меняют место работы, иногда руководители их уходят на время в леса, затем снова возвращаются в деревню.

В декабре немцы прислали в эти края большую карательную экспедицию. Экспедиция не разбила, а еще крепче сплотила партизан, еще больше народных мстителей вышло навстречу врагу. Далеко не всем участникам карательной экспедиции удалось вернуться живыми. Небольшие немецкие отряды уничтожаются партизанами немедленно. Немцы бомбят сверху деревни, обстреливают с самолетов дороги. Почти все движение в районе пришлось перенести на ночь.

УРОК ИСТОРИИ

Во время карательной экспедиции фашисты, узнав в одной из деревень, что здесь продолжает работать школа, сожгли ее здание.

Учительница вместе с детьми ушла в лес. После ухода карательного отряда учительница собрала детей в другой деревне, и школа продолжала жить.

Мы увидели дом, где сейчас находилась эта школа. Половину дома развалило воздушной волной. Зияющие дыры в стене залатали, забили, законопатили соломой. Школа работала, в ней учились дети.

Мы вошли в оставшуюся половину дома. Меня сопровождал высоченный красавец — партизан Александр А., весь обвешанный гранатами, патронными сумками и пистолетами; на груди у него висел немецкий автомат. Этого парня, бывшего парикмахера, теперь знаменитого партизанского начхоза, знали и любили все.

Комната была наполнена детьми, они сидели вокруг учительницы. В углу перевязывали старичка — брата женщины, в доме которой сейчас находилась школа. Он лежал на боку и придерживал над головой задранную рубаху. На его обнаженной спине темнели две осколочные ранки.

— Шурка… — весело зашептал он, увидав начхоза. — А я-то

попался, Шурка. Табак есть? Это что же, всю осьмушку мне? Дело!

Шел урок. Быстроглазый мальчишка читал по книжке Шестакова первую главу «История СССР».

В избе было тихо. Подперев мордочки руками, слушали ребята чтение. Эти маленькие люди узнавали мир таким сложным, каким он никогда еще не был. Так много уже видели они добра и зла, так горько ошиблись в одних людях и так беззаветно полюбили других, ибо нигде не проявляются с такой полнотой истинные качества человека, как здесь, в тылу врага, нигде с такой легкостью не спадают с людей маски, которые в иных условиях они бы могли носить всю жизнь.

Быстроглазый мальчик читал…

В воздухе загудели самолеты. Учительница не спеша повернулась к окну. Низко, над самой деревней шла пятерка немецких «юнкерсов» с крестами и свастиками на фюзеляже.

Учительница так же неторопливо отвернулась от окна и сказала:

— Дальше.

Мальчик послюнил палец и перевернул страницу.

— …большое место в хозяйстве славян занимали охота, пчеловодство и рыболовство. У славян был родовой строй. Стада, пастбища, пахотные земли составляли имущество рода…

Самолеты пронеслись мимо.

Урок продолжался.

ПИСЬМО В МОСКВУ

Холодная, прозрачная ночь. Тридцатиградусный мороз. Яркая луна. Оглушительно скрипят полозья саней.

По временам ездовой вытягивает губы и говорит «тпру».

Сани останавливаются. Мы прислушиваемся. Облачко синего пара поднимается над спиной разгоряченного жеребца.

Тишина. Ни звука. Продолжаем путь.

— Не наша погода, — говорит командир.

Он сидит рядом со мной в санях большерукий, длинноногий, в черном полушубке, с автоматом на груди.

У командира резкие черты лица, сросшиеся на переносице брови, глубокая ямка на подбородке.

— В такую погоду партизанам делать нечего. Наша сила во внезапности, а разве подберешься тайно к объекту, когда снег скрипит, как проклятый, на тысячу голосов…

Мы проехали с командиром в деревню. Вошли в избу. Здесь было много народа.

Из-за стола поднялся высокий человек.

— Вот удача, — сказал он, — что приехал товарищ командир. Как раз побудет при событии.

На столе лежала синяя школьная тетрадь. Председатель взял ее и раскрыл.

Наступила тишина. Все знали уже, что сейчас произойдет. Мужчины сняли шапки.

Председатель прочел:

— «Москва. Кремль».

И вдруг заплакали женщины. Почти беззвучно, утирая уголками платков глаза, ладонью смахивая бегущие слезы, они плакали все время, пока читалось письмо. Они слушали рассказ о себе и заново переживали свою жизнь за месяцы, проведенные в отрыве от родины.

Когда председатель закончил чтение, снова стало тихо. Люди были сосредоточены. Никто не спешил высказаться, и председатель никого не торопил. Он закрыл тетрадку и положил ее на стол.

— Имею поправку, — сказал коренастый старик с винтовкой за плечом.

Это был один из храбрейших партизан отряда «За Родину».

— Пожалуйста, — председатель подвинулся, давая ему место возле себя за столом.

Но старик остался в углу и спросил:

— Как там, прочти-ка, у нас сказано, что они хотели нас сломить?..

Председатель нашел место и прочел его снова:

— «Кровавые фашисты хотели сломить наш дух, нашу волю. Не выйдет!» Ты про это?

— Про это. Тут не нужно говорить «не выйдет», это ты зачеркни…

— Почему?

— Зачеркни, говорю. Зачеркни. Ну! Совсем иначе надо. Надо сказать так…

Старик стоял, упрямо наклонив голову. В его глазах горел злой огонь.

— Надо сказать: они забыли, что имеют дело с русским народом, и напиши, что русский народ никогда не будет стоять на коленях. Мы не покоримся. Я понятно говорю?

Старик поправил ремень винтовки и распрямил плечи.

— Понятно, понятно, — заговорили со всех сторон. — Это правильно. Надо так сказать.

Поправку внесли, и народ стал подписывать письмо.

Люди эти прекрасно понимали, что подпись может стоить

жизни и подписавшему, и всем его родным.

Я внимательно смотрел на колхозников и на партизан, на то, как они подходили к столу, как подписывали в полной тишине. Это было очень торжественно. Похоже было на какой-то замечательный обряд. В эти буковки, которые выводились простым карандашом, в буквы собственного имени человек вкладывал все, чем он обладал, — свою жизнь, свои надежды, свою честь, свое бесстрашие, свою ненависть к врагу.

Великий народ!

Одна женщина возле меня сказала соседке:

— Я бы хотела, чтобы там, в Москве узнали, что у меня рука не дрогнула и что мне плакать хотелось, когда подписывала…

А немцы думают, что они завоевали эти места и этих людей!

БЕЗ БЮРОКРАТИЗМА

В районе, соседствующем с партизанским краем, бургомистр собрал всех назначенных немцами старост на совещание. Самому бургомистру на совещание попасть не удалось, так как деревенские мальчики после неудачных попыток убить его или хотя бы спалить его дом поймали бургомистра в бане и ошпарили кипятком до полусмерти.

Совещание проводил его помощник. Он сообщил, что старосты должны составить план, какая деревня сколько продовольствия даст германской армии. Совещание было в разгаре, когда вошли в дом три партизана. Двое встали у дверей, а третий подошел к столу и сказал:

— Люди пришли и дали нам сигнал про ваше совещание. Так вот, во-первых, в корне меняю вам повестку: обсуждение про то, как и чем помогать немцам, отменяется. Вместо этого будете сейчас решать другое — именно когда, кто, сколько, чего сдаст партизанскому движению. Это раз. Теперь два: вот этого вашего председателя я сейчас прикажу вывести и расстрелять.

Помощник бургомистра взмолился, но, видя, что партизан остается тверд, попробовал «взять на бога».

— И что ты тут, на самом деле, распоряжаешься, — закричал он. — Расстрелять, расстрелять… А кто тебе дал такое право — расстреливать людей? У тебя есть хотя бы даже и советская бумажка?..

Партизан, презрительно взглянув на предателя, достал из кармана мятую бумажку и бросил ее на стол.

Бургомистров помощник прочел бумагу, пожал плечами и сказал:

— Что же ты мне, извиняюсь, даешь? Тут что написано? «Предъявителю сего поручается сбор утильсырья…» Но здесь же ничего не сказано, что ты имеешь право расстреливать людей.

— Дай сюда, — сказал партизан.

Он намусолил огрызок карандаша, оставив на губе ярко-лиловый след чернильного грифеля, и написал на бумажке между последней строчкой и подписью управляющего базой Утильсырья следующие размашистые слова:

«И имеет право расстреливать антисоветских людей».

Потом он показал бумажку помощнику бургомистра и сказал:

— А теперь — шутки в сторону: все твои преступления нам известны. И кого ты врагу выдавал — знаем. И у кого ты последнее для фашистов отбирал — знаем. И кого повесил — тоже знаем, нам известно. Счет у тебя большой. Пришло время — рассчитывайся.

Бургомистрова помощника расстреляли перед всей деревней, а старостам были даны указания, куда, кто, сколько должен доставить продовольствия для партизан. И надо сказать, что все эти распоряжения на следующий же день были точно выполнены.

СТАРИКИ

Деревенское кладбище было расположено на небольшом холме.

Гроб стоял на снегу, по четырем углам вокруг него — почетный караул с немецкими трофейными винтовками.

Мальчишки, как птицы, сидели на ветках деревьев.

Командир и комиссар отряда подошли, сняв папахи, остановились над открытым гробом.

Убитый в бою партизан лежал так спокойно, как если бы он умер дома, в своей постели. Это был старик с седой бородой, с широким русским лицом, толстоносый, скуластый. На борту его пиджака ярко блестел орден Красного Знамени, такой новенький, какой обычно встречаешь только у военной молодежи, у беловолосых летчиков с синими глазами.

Орден он получил неделю тому назад. Прилетел на самолете представитель командования Красной Армии, отряд выстроили в лесу. На санках лежало сено, поверх сена — газета, а на газете — четыре ордена Советского Союза. Представитель командования передавал ордена в обветренные грубые руки партизан и поздравлял их.

Мне показали маленькую газетку — боевой листок отряда, написанный чернильным карандашом. Там была заметка старика: «Благодарю за награду. Пока течет в моих жилах хоть одна живая капля крови, я буду биться за свободу и счастье моей Родины. Орденоносец такой-то».

Комиссар отряда открыл траурный митинг. Один за другим выступали ораторы с очень короткими речами.

Время от времени низко проносились немецкие самолеты. Тогда оратор переставал говорить, и все поворачивали головы, ожидая, не заметит ли летчик черную на снегу толпу и красный флаг, развевающийся на холодном ветру.

Но самолеты пролетали сравнительно далеко, и оратор продолжал свою речь.

Метрах в двухстах от кладбища играла лиса. Иногда она замирала — огненно-рыжая на ослепительном снегу. Никто, кроме мальчишек, не обращал на нее внимания. Зверья развелось за время войны — тучи, все леса и поля покрыты густой сетью звериных следов.

Комиссар отряда говорил речь. Он сказал о беззаветной храбрости покойного, отвинтил от лацкана его пиджака боевой орден и прикрепил к знамени отряда.

У изголовья в почетном карауле стоял второй старик. Это был толстый человек в ватном полупальто, в огромных стоптанных валенках. Он был ближайшим другом убитого. Он держал на плече винтовку, а по щекам его на седые с прокуренной желтизной усы лились слезы. Старик стоял ровно, не шевелясь. Слезы, замерзая, образовали на его щеках две ледяные дорожки.

Старики — Иван Семенович и Терентий Петрович были старыми закадычными друзьями. Были они однолетками, вместе росли в Ленинграде, в одно время женились. Состарившись, стали еще больше дружить, и, когда Ивана Семеновича назначили директором МТС, Терентий Петрович поехал следом за ним и стал работать на этой же машинно-тракторной станции старшим механиком.

После немецкой оккупации старики ушли в лес. Ивана Семеновича назначили «партизанским интендантом», а Терентий Петрович стал его помощником.

Старики старались устроиться с уютом, куда бы их ни забрасывали превратности партизанской жизни. Они возили с собой ходики, календарь и голубой жестяной умывальник. В лесу, на стоянке, они первым долгом приколачивали к какой-нибудь сосне свои ходики, под ними календарь, а еще ниже бирюзовый умывальник, — вокруг этого они раскидывали свое обозное хозяйство.

Первое время старики побаивались, особенно они начинали беспокоиться с наступлением темноты и на ночь вокруг своего обоза накидывали сухих сучьев, чтобы услышать приближение человека. Постепенно они привыкли к партизанской жизни и стали показывать образцы мужества и бесстрашия. Особенно отличились они в налете на город Д. За этот налет Иван Семенович получил орден Красного Знамени.

В качестве интендантов старики тоже себя полностью оправдали. Последней их «операцией» была расчистка снега на местах больших осенних боев. В результате этой «операции» партизаны добыли из-под снега много оружия и боеприпасов.

Гроб Ивана Семеновича опустили в землю. Отряд поднял винтовки и дал салют.

Лисица рванулась и побежала к лесу.

Похороны закончились, Народ расходился. Командир объединенных отрядов, с которым я приехал сюда, подозвал командира местного отряда, в котором служили старики, и сказал ему:

— Разжалуетесь в рядовые. Сдайте командование. Спасибо скажите, что мы вас не расстреливаем.

По дороге командир объединенных отрядов долго молчал. Он хмурился, перебирал вожжи, зло причмокивал губами, посылая вперед жеребца.

— Я его только потому не расстрелял, — сказал он о командире отряда, — что знаю корни этого дела. Консерватор, понимаете, мозги у него по шаблону крутятся. Привык, понимаете, что бой начинается с артподготовки, — так он и дует…

Отряд, которым командовал ныне разжалованный командир, ушел далеко на север и имел задание действовать в контакте с наступающими частями Красной Армии. Командование соединения дало отряду по радио задание напасть на пункт К.

Командир отряда, недавно назначенный на эту должность, повел свой отряд. Он разведал предварительно огневые точки противника и из трофейных минометов устроил перед нападением огневую подготовку, то есть он поступил так, как действовал бы, командуя регулярной частью на фронте, а не партизанским отрядом в тылу у врага.

Как только они дали первый выстрел, огневые точки врага насторожились и открыли ураганный огонь по наступающим. И самое главное: то, чем сильны партизаны, — неожиданность — была потеряна.

Отряд понес большой урон и не выполнил задания.

— Сколько-то фашистов они там, конечно, положили. Но это

не коэффициент, — говорил командир. — У нас соотношение должно быть, самое малое, один к двадцати, а стремиться надо, чтобы было один к ста. На одного погибшего партизана должно быть уложено сто фашистов. У нас особая калькуляция. Погубил он своей шаблонной головой людей. Жаль. Какие были люди…

СВАДЬБА

Мы пришли в деревню. Несколько домов было разрушено — утром здесь была бомбежка. Решено было двигаться дальше ночью.

Зашли в дом. Нас встретила приветливая бабка.

— Здравствуй, Николай Григорьевич, здравствуй, кровинка, — сказала она командиру. — Ох, тут у нас и грохотание утром было. Так пешом и ходили самолеты, прямо по земле. У нас все в подпол полезли. Гляжу, где они? А они в подпол спрятались. Ох, и накидал он тут бонбы!

Вошли еще другие женщины, обступили нас.

— Здравствуйте, Николай Григорьевич.

— А мы теперь в байне живем, — дома не осталось.

— Как вспомню, что было, — ни питенье, ни яденье.

Командир спросил бабку:

— А ты что во время бомбежки делаешь? Куда прячешься сама? Тоже в подвале небось?

— Я-то? В кровать мырну и голову под одеяло.

— И не страшно под одеялом?

— Не, под одеялом не страшно.

В избу вошло двое — статный парень с курчавыми золотыми волосами, выбивающимися из-под шапки, розовощекий, круглоплечий, увешанный, как полагается партизану, разнообразным оружием, и с ним девушка — небольшая, с остреньким носом и быстрыми глазами.

Она была в белом полушубке, на боку у нее висел огромный «парабеллум», взятый у убитого ею лично фашиста. Теперь девушка уже не воевала — ее перевели в медицинские сестры в том же отряде.

У парня до войны была не слишком воинственная профессия, — он заготовлял молоко в районе. Когда ушел партизанить, первое время волновался, что в районе продукция киснет, потом махнул на продукцию рукой и забыл про нее.

Парень попросил у командира разрешения обратиться. Потом он что-то долго мямлил насчет того, что, мол, война войной, а жизнь жизнью, что жизнь не останавливается, бывают чувства.

Говорил он довольно неконкретно, и девушка, перебив его, подала рапорт.

Там было сказано так: «Командиру товарищу В., от такого-то — фамилия, имя, отчество, должность и от такой-то — фамилия, имя, отчество, должность. Рапорт. В виду обстоятельств личного характера просим Вас разрешить нам войти в брак». И две подписи.

Партизан сказал:

— Хочется, товарищ командир, все ж таки оформиться.

Командир повертел рапорт в руке.

— Это бы, собственно, комиссару надо… Ну, да ладно. Давай карандаш. — И написал в левом верхнем углу резолюцию: «Считать брак состоявшимся».

Вечером, перед нашим отъездом, справляли свадьбу.

Девушки высокими голосами пели частушки:

Думал Гитлер в десять дней
Всех запрячь нас в дышло,
Скоро в лужу сел злодей,
Ни черта не вышло.

Переборы баяна, отыгрыш — и снова:

Полюбила я лесочки,
Партизаны там сидят,
Я снесу туда платочек,
Пирожки в нем — пусть едят…

Собирайтесь, девки, в кучу,
Пойдем Гитлера давить,
Распроклятая немчура
Не дает спокойно жить.

Мы вышли на улицу. Сияющая холодная ночь. Над крутым обрывом высокие ели. Луна отбрасывала резкие тени на бело-зеленый снег. Из избы доносились тонкие девичьи голоса:

Партизана и любила,
Партизана тешила,
Партизану на плечо
Сама винтовку вешала…

Мы пошли вдоль деревенской улицы.

Здесь, в этой деревне, помещался партизанский госпиталь.

Врач — Лидия Семеновна — ввела нас в палату. На нарах лежали раненые. Слева у окна сидел молодой парень с забинтованными грудью, плечами и шеей. Он раскачивался из стороны в сторону — видимо, боль мучила его. Большинство раненых спало. Посреди палаты топилась чугунка. Из открытой двери на пол падал красный свет. Углы были погружены во мрак.

Какой-то парень проснулся, когда мы вошли. Он сел, потирая глаза левой рукой, — правая у него была загипсована, она как-то неестественно держалась, отставленная в сторону, с приподнятым и полусогнутым локтем.

— Эх, видел я сейчас лето… — удивленно сказал парень, — мой город Киев. Играли мы на стадионе в волейбол. Все в майках, в белых брюках. Солнышко светит. Мяч высоко летает, голову задерешь, а там верхушки тополей и синее-синющее небо… Нет ли самосейки закурить у кого, товарищи?

Ему скрутили папиросу.

— Все еще будет, — зло сказал раненый, который раскачивался от боли, — все будет. Жизнь не заканчивается, а только еще разгорается. Нашему народу на долю пришлось убивать зло. Без этого дальше жизнь затрудняется в своем развитии. Но зло мира кончится, и люди жадно задышат, и будут каждый глоток воды ценить, который можно будет спокойно выпить, и будут парни с девушками по берегу моря гулять — рука с рукой и расставаться не надо, — живи, дыши, радуйся, только цени, цени, понимай цену этой жизни, которую для тебя кровью завоевали вот мы, например…

Он сидел теперь неподвижно, уставясь взглядом в огонек, в раскрытую дверку печки.

По его лицу блуждали отблески красного света, и он казался колдуном, вызывающим образы будущей жизни.

— Да… — сказал парень с загипсованной рукой, — счастливые будут, черти, ох, и счастливые…

— А я не завидую, — отозвался из темного угла чей-то голос, — я не меняюсь.

Дровешки потрескивали в чугунке. От скруток поднимался дымок и слоисто стелился по избе.

СЕРДЦЕ ПАРТИЗАНА

В землянке командного пункта ложились спать. Гудела и дрожала раскаленная чугунная печурка — ночью ее старались

топить как можно больше, вознаграждая себя за дневной холод. Вражеские разведчики целыми днями кружили над лесом, разыскивая партизан. Поэтому в наших землянках топили мало и осторожно — дым мог выдать расположение лагеря.

Тетя Фрося, большая, неторопливая женщина, стянула со всех нас валенки и укрыла полушубками. Затем она подсела к печке и, задумчиво глядя в огонь, стала подбрасывать маленькие сосновые полешки. Обязанности тети Фроси были весьма разнообразны. Установила круг их она сама, и все приняли это, как должное. Кроме обязанности убивать фашистов в бою, тетя Фрося должна была готовить пищу для командования партизанской бригады, убирать землянку командного пункта, топить печку, прятать личное имущество каждого обитателя землянки, чистить оружие, поливать воду умывающимся, укладывать народ спать, то есть стягивать валенки, ставить их к печке для просушки, укрывать спящих полушубками.

В землянке жило шесть человек, и в ней было очень тесно. Входя, каждый сбрасывал полушубок, беспомощно оглядывался и говорил:

— Ну, Фрося, куда же повесить?

— Давай, давай сюда! — Фрося безошибочным жестом вешала полушубок в полутемный угол, на гвоздь, только одной ей известный.

Утром никто не мог без нее одеться, вечером невозможно было без ее помощи уехать. Когда торопились, все начинали сразу кричать:

— Фрося, где мой автомат?

— Куда ты девала мои валенки, Фрося?

— Вот, черт, где же мои рукавицы, ты не видела, Фрося?

Тетя Фрося протягивала в угол, под нары руку и доставала рукавицы? Сверху, из-за поперечного бревна, она брала валенки и ставила их на пол. Только одно условие нужно было соблюдать — никто не должен был сам пытаться спрятать свои вещи. Их надо было из рук в руки сдавать тете Фросе.

Муж и сын Фроси были убиты фашистами. Она осталась совершенно одинокой.

Лежа на нарах между командиром и комиссаром бригады, — между «товарищем В.» и «товарищем О.», как их называли в газетах и в сообщениях Информбюро, — я смотрел на тетю Фросю. Она сидела, подперев голову рукой. Ее глаза были закрыты, лицо то освещалось отблесками пламени, то покрывалось тенью.

Комиссар «товарищ О.» покряхтел и сказал:

— Не перевернуться ли нам, а, товарищи?

Николай Григорьевич, лежавший с краю, стал молча поворачиваться на левый бок. Его длинные ноги сгибались в коленях, почти задевая бревенчатый потолок землянки.

Мы лежали на нарах вшестером — так плотно друг к другу, что поворачиваться можно было только всей компанией: начинал крайний, за ним последовательно переворачивались все. Каждый раз, когда кто-нибудь отлеживал руку, этот вопрос — ворочаться ли, нет ли, — дискутировался сонными голосами и в конце концов всегда решался положительно. Теперь мы повернулись молча, один за другим.

К землянке все привыкли и ощущали ее, как настоящий свой дом. Когда уезжали — по делам или на «операцию», — тянуло обратно «домой», в лес. Пять человек, жившие тут, принесли в эту маленькую землянку различные свои биографии, воспоминания о друзьях, о далеких, родных своих людях, раскиданных по всему необъятному Союзу. Здесь, под этой бревенчатой крышей, из пяти разных жизней, из пяти различных характеров создалась эта семья. Меня приняли шестым.

Я стал засыпать и сквозь дрему услышал голос нашего командира:

— Фрося, дай огонька!

Николай Григорьевич закурил.

Мне казалось, я знаю, почему он не засыпает, хоть и ужасно устал за день. Этот человек, — смелый и беспощадный, — чьего имени смертельно боялись враги, который командовал полутора тысячами партизан, во сне иногда жалобно всхлипывал. Однажды я слышал, как он прошептал:

— Мамуся…

Он знал это, знал, что, когда засыпает, то «роняет авторитет», и всегда прибегал к маленьким хитростям, чтобы заснуть последним. Этот человек, которого одни со страхом, другие — любя, за глаза называли «грозой», ложась спать, по детской привычке подкладывал одну руку под щеку.

От папиросы Николая Григорьевича прикурил комиссар.

— Не спится что-то, — сказал он. — И тебе не спится?

— И мне не спится, — откликнулся командир. — Ты о чем думаешь, о Юре?

— Ага.

Я спросил:

— Товарищи, кто это Юра?

Комиссар ответил, что Юрий — партизанский офицер связи. Пять дней тому назад, то есть за два дня до моего приезда сюда, в лес, Юрий пробирался с тремя еще партизанами мимо деревни. Немцы заметили, началась перестрелка. Одного партизана убили,

двое — оба раненые — убежали. Они видели, как Юрий упал, — у него были перебиты очередью автомата ноги. Они видели, как подбежали к Юрию фашисты и как он пытался застрелиться. Но ему это не удалось — его схватили живьем. Случилось самое ужасное для партизана.

Если всегда страшно попасться партизану живым к фашистам, то сейчас это было в тысячу раз страшнее. Немцы взбешены деятельностью партизан в этих краях — им ежедневно наносят удары в самых неожиданных, в самых незащищенных местах, они терпят большой урон. Партизаны парализуют их фронт с тыла. Естественно, что немцам очень нужны сведения о партизанских отрядах. А кто же знает больше офицера связи? Юрию известно абсолютно все: расположение и численность отрядов, пароли, отзывы, тайники, сигналы, посадочная площадка советских самолетов, привозящих боеприпасы. Он знает все секретные тропинки, места, где расположены партизанские лазареты, знает всех разведчиков, засланных к немцам, знает наш лесной лагерь, знает, где командный пункт бригады, тот самый, где мы сейчас лежим в землянке и разговариваем перед сном.

И нечего сомневаться — фашисты делают все, чтобы получить у своего пленного нужные им сведения.

Мне вдруг стало ясно, что, собственно, на тонком волоске воли этого Юры висит сейчас все: человеческие жизни, судьба партизанских отрядов, судьба дела, за которое боролся он сам и его товарищи… Где-то, в каких-то деревнях прячут раненых партизан. Они будут живы или будут замучены фашистами, в зависимости от того, выдержит ли эта ниточка, не порвется ли она раньше, чем другая нить — угасающая нить жизни самого Юрия, испытывающего все муки, какие только может выдумать чудовищная изобретательность озверевших садистов.

И жизни тысяч партизан и колхозников, им помогающих, жизни их детей и стариков, и жизни наши, — тех, что лежат сейчас в этой лесной землянке, — все зависит от силы воли этого человека, которого я никогда не видел и никогда, никогда в жизни не увижу.

Командир и комиссар курили папиросы, — я им привез «Северную Пальмиру» из фронтового военторга. Хотел было я спросить их, не может ли Юра выдать… Но, не открыв еще рот, почувствовал, как обидно, глупо прозвучал бы мой вопрос. Собственно, это было бы то же, как если б я спросил кого-нибудь из них, не способен ли он на предательство. Это был их товарищ, партизан.

— Какой он, этот Юрий? — спросил я. — Расскажите про него.

— Какой он? — переспросил командир. — Ну, такой, обыкновенный, как все. Я, право, не знаю, что рассказать. Ничего такого особенного, средний паренек. Симпатичный.

Комиссар уже спал. Через несколько мгновений заснул и командир. Спала тетя Фрося, сидя у огня. Их сон охраняла преданность далекого Юры.

Я лежал с открытыми глазами, слушал, как ревел ветер, все усиливаясь, как разыгрывалась буря. Деревья свистели и гудели над нами. Я старался представить себе, какой был этот человек. Высокий? Светлые или темные были у него глаза? Что ему нравилось, что успел он узнать за свою недолгую жизнь? Кто его баловал в детстве, кто обижал, какие у него были привычки? Что он читал, был он смешлив или угрюм, любил ли кого-нибудь, кто воспитал его таким, откуда у него эта человеческая сила?

Наутро пришел разведчик и сказал, что в городе, на площади, висит изуродованный труп Юры.

Тетя Фрося заплакала. Командир приказал готовиться к налету на город. Днем из отряда «Храбрый» принесли рюкзак с вещами Юры. Вещей у него было немного — они лежали кучкой внизу, рюкзак оставался полупустым.

В маленькое оконце землянки пробивался дневной свет.

Тетя Фрося развязала узелок, связанный еще Юрием, когда он последний раз укладывал вещи в свой рюкзак. Здесь лежала пачка маленьких бумажных треугольников, — это были письма партизан, которые Юра не успел доставить на посадочную площадку. Там эти самодельные конверты забирает самолет, иногда прилетающий темной ночью из советского тыла.

Я видел, как обращаются с партизанскими письмами в штабе фронта, — каждое из них берут в руки, как драгоценность, и как бы неряшливо, неточно ни был написан адрес, эти письма доставляются обязательно.

Фрося вынула из рюкзака полотенце Юрия с вышитым синим петушком, целлулоидную мыльницу — в ней лежал розовый обмылок — зубную щетку, несколько пар носков, смену белья, маленький надкусанный кусочек шоколада в серебряной бумажке.

Я ждал. Никаких документов, никаких записей, дневника, — ничего, решительно ничего, что рассказало бы об этом человеке, объяснило бы его самого, его подвиг, его сердце.

— Тут еще что-то есть, — сказала Фрося, доставая с самого дна рюкзака нечто, тщательно завернутое в газетную бумагу и перевязанное несколько раз бечевкой. Мы развернули пакет.

Там лежал томик Ленина.

Переплет был обернут бумагой. В книге было много закладок, много пометок на полях, много фраз, подчеркнутых карандашом.

Это был четырнадцатый том. Видно было, что над книжкой когда-то работали. Здесь были пометки на полях писем Ильича Горькому, отметины в текстах декабрьской конференции РСДРП и в «Заметке публициста», и закладка в резолюции об отзовизме и ультиматизме, и выписка из некролога «Иван Васильевич Бабушкин».

Я прочел:

— «…Умерли они, как герои. Об их смерти рассказали солдаты-очевидцы и железнодорожники, бывшие на этом же поезде. Бабушкин пал жертвой зверской расправы царского опричника, но, умирая, он знал, что дело, которому он отдал всю свою жизнь, не умрет, что его будут делать десятки, сотни тысяч, миллионы других рук, что за это дело будут умирать другие товарищи — рабочие, что они будут бороться до тех пор, пока не победят…»

Этот томик Ленина в обернутом бумагой переплете стоит теперь на столе в партизанской землянке, в тылу врага.

Весенние ветры гуляют по лесу. И скоро наступит час нашей победы. Ленинский этот томик мы тогда отдадим в Музей революции и напишем с ним рядом несколько слов про Юру Иванова, воспитанника Ильича, верного товарища.

* * *

Я вам уже говорил, читатель, что иногда я просил редакцию дать мне задание, которое заставило бы с головой погрузиться в какое-нибудь запутанное дело, разобраться в чем-нибудь посложнее.

Мне охотно давали такие задания, особенно, когда нужно было вести нечто вроде следствия, осложненное тем, что дела считались уже «закрытыми», законченными, утвержденными всеми инстанциями.

Разобраться в таком деле наново, доказать правоту того, кто был действительно прав и несправедливо наказан, казалось мне одинаково важным для него и для меня самого.

Любая профессия налагает на человека определенные правовые и нравственные обязанности. Профессия литератора — в особенности. Он не смеет быть равнодушным, не смеет проходить мимо человеческих страданий, не смеет безразлично констатировать нарушение закона. Он обязан быть борцом. Борцом за правду, борцом против тех, кто нарушает наши юридические и моральные нормы.

Мне хочется в связи с этим рассказать о двух людях, о

которых в свое время писала «Литературная газета». Дело прошлое. Век газетных материалов короток. И стоит ли о них вспоминать в книге? Стоит. Не только в назидание. Не только потому, что они каким-то образом характеризуют труд литератора, а потому, что характеризуют наше отношение к закону, к человеку, к праву.

Случаи, о которых я хочу рассказать, как раз касаются попыток нарушить право человека или ущемить его достоинство.

Изо всех сил я старался разобраться в сути дела, найти скрытые пружины, разгадать характеры и обвиняемых и обвинителей, отыскать не замеченное звено.

Не раз пришлось столкнуться с защитниками «чести мундира» — мы же, мол, уже в этом деле разобрались и решили его… Зачем же газете понадобилось снова ворошить все это?

А в «газете» лежало письмо человека, который взывал о помощи, просил заступиться.

Одним из таких дел была история стариков Литвиненко.

Тут мне пришлось столкнуться не с одной только силой «чести мундира», но и с настоящей фальсификацией, с настоящим негодяйством.

И как легко было бы справляться с этим, если бы не равнодушные люди, люди с холодными глазами.

Но прежде чем начать рассказ о стариках Литвиненко, еще одно предупреждение: при публикации в «Литературной газете» статьи «Холодные глаза» и следующей за нею в этой книге статьи «Воспитание дегтем» виновники происшедшего, естественно, были названы своими подлинными именами. И названы и впоследствии наказаны.

Но вот теперь, помещая эти статьи здесь, в этой книге, через несколько лет, я задумался: а следует ли снова называть фамилии этих людей? Не может ли быть, что тот, кто совершил злой поступок, давно исправился? Не может ли быть, что публичное осуждение, наказание или иные жизненные обстоятельства вызвали у этого человека раскаяние, не осудил ли сам свое поведение? И стал, быть может, совсем другим человеком?

А если это случилось, пусть даже не со всеми, а с некоторыми из этих людей, пусть с одним только из них — нужно ли, хорошо ли сегодня вновь «пригвождать его к позорному столбу»?

Тогда, в газетной статье преследовалась цель защитить обиженного, добиться справедливости. Но сегодня — когда дела эти давно решены — есть ли надобность вновь называть эти имена? Нет, по моему.

По этой причине я заменил их инициалами, хотя речь идет об обстоятельствах и о людях вполне реальных.

Впрочем, в «Воспитании дегтем» даже в первой публикации в газете одно имя было обозначено буквой. Это было имя пострадавшей. Прочтя статью, вы сами убедитесь в том, что имя ее нельзя было называть. Ну, а фамилии виновников были, разумеется, тогда опубликованы.

Итак — история стариков Литвиненко.

ХОЛОДНЫЕ ГЛАЗА

В редакцию «Литературной газеты» поступило сообщение о судебной тяжбе некоего пенсионера Литвиненко. Дело тянется восемь лет и решено будто бы несправедливо.

Я поехал в Днепропетровск.

В какую бы из днепропетровских организаций я ни обращался — в облфинотдел, облкоммунхоз, райисполком или народный суд, — всюду имя Литвиненко вызывало раздражение, всюду о нем говорили, как о сутяге, замучившем местные учреждения кляузами.

Слушая эти горькие сетования, оставалось только удивляться мужеству местных организаций, которым удалось выстоять в неравной борьбе с таким чудовищем.

Я направился к Литвиненко.

У Литвиненко

В пригороде Днепропетровска — поселке Карла Маркса, по Торговой улице, 14, стояли полуразрушенные, обгоревшие кирпичные стены. Если обойти их со стороны двора, открывался ход в землянку.

Давно затянулись тяжкие раны войны. Там, где прошла смерть, зазеленела новая жизнь. Но кому не случалось в послевоенные годы, пройдя по шумной улице мимо красивых, только что построенных домов, свернуть за угол и вдруг остановиться перед страшным напоминанием — перед обугленными, искалеченными осколками снарядов развалинами?

Невольно вспомнилась мне эта картина, когда я увидел жилище стариков Литвиненко.

Рядом со знаменитым городом заводов-гигантов, городом, где лифты поднимают жителей в современные, удобные дома, где по вечерам мимо зеркальных витрин движется яркий и шумный поток южан, эти два семидесятилетних старика в землянке!

Как же это случилось?

Вот что удалось мне установить.

Сергей Михайлович Литвиненко свыше сорока лет работал на трубопрокатных заводах. Он был чертежником, техником, конструктором, кончил без отрыва от производства металлургический институт и в пятьдесят лет стал инженером. Его жена с юных лет работала телеграфисткой на железной дороге. Литвиненко — трудовые люди.

В 1914 году они выстроили в предместье Днепропетровска — поселке Игрень (ныне это поселок Карла Маркса) маленький глинобитный домишко на Конечной улице. Когда выросли дети — Сергей стал инженером, а Нина научным работником, и у них образовались свои семьи, — старики в 1935 году отдали им домик, а для себя построили невдалеке, на Торговой улице, другой.

Во время войны Сергей Литвиненко погиб, новый дом на Торговой фашисты сожгли — уцелели только кирпичные стены. Оставшись без крова, старики перебрались в старый домик на Конечную, где жили их дети. Время было нелегкое. Нина Литвиненко и вдова Сергея — молодой врач Тугаева обрабатывали свои участки на Конечной, выращивали (не слишком, впрочем, удачно) овощи, а старик ходил к себе на Торговую — лечил раненые фруктовые деревья. Восстановить дом было трудно, старик собирался с силами, копил средства.

И вдруг все резко изменилось. Началось с того, что финансовый отдел Пригородного района начислил старику Литвиненко налоги за 1947 и 1948 годы не только за его участок, но и за участки детей. «Недоимку» рассчитали по совокупности — вместе с начисленной пеней она составила 12 тысяч рублей.

Напрасно Литвиненко, его дочь и невестка предъявили квитанции об уплате налогов, которые во все предыдущие годы взимались раздельно с каждого из них, напрасно показывали документы о том, что дом на Конечной улице еще с 1935 года принадлежит детям, — ничто не помогло. Пошли суды, завертелось «дело Литвиненко». Стены дома на Торговой были проданы за «долг».

Старик упорно боролся. Годами в жару и в холод, дождь и в сушь ходил он по судам и по прокуратурам, по финотделам и исполкомам в поисках правды.

Думая утвердить свое право «де факто», он несколько раз вселялся в полуразрушенные стены своего дома, то сооружая внутри них временное жилье из досок, то пристраивая к ним кирпичную каморку. Однако все эти разнообразные архитектурные решения заканчивались весьма однообразным выселением и разрушением построек старика, дабы он не мог

снова вселиться в них. Последнее выселение произошло глубокой осенью прошлого года.

Шел снег. Старики сидели на узлах. Надо было уходить. Но в людях уже возник протест, протест против вопиющей несправедливости. Почему, собственно, они должны бросить сад, где каждое дерево посажено их руками, бросить дом, с таким трудом построенный?

И старики не ушли. Они вырыли землянку рядом и остались жить в ней.

Вот и все.

Я начал с изучения документов. После войны в поселке Карла Маркса проводилась инвентаризация. Сотрудник инвентаризационного бюро, основываясь на том, что старик Литвиненко жил тогда в доме детей на Конечной улице, ошибочно записал усадьбу на его имя. После протеста владельцев инвентаризационное бюро исправило свою ошибку, внеся соответствующее изменение в генплан.

Эта ошибка так бы и осталась ошибкой, если бы не появились силы, которым понадобилось ею воспользоваться.

В деле Литвиненко на самом «донышке», как бы являясь фундаментом всего громадного дела, лежат две маленькие бумажки. Это — справки поселкового Совета. Одна из них свидетельствует, что Сергею Михайловичу Литвиненко принадлежат два домовладения: одно — на Конечной, 17, другое — на Торговой, 14.

Сотрудники поселкового Совета прекрасно знали, кому какой дом принадлежит. И все-таки эта заведомо ложная справка была дана.

Значит, «основополагающая» справка лжет. Кто ее сфабриковал? Оставим пока вопрос открытым.

На суде представителем финансового отдела было заявлено, что Литвиненко сам подписал налоговые документы на свое имя по обеим усадьбам.

Отправляемся в райфо.

— Вот видите, — говорит старший инспектор Ф., показывая на подписи, — обе учетные карточки подписаны самим Литвиненко. Значит, он признал, что обе усадьбы принадлежат ему. Вопрос исчерпан.

Я видел много написанных рукой старика бумаг и много его подписей. Вот и тут в деле их имеется немало. У Литвиненко острый, круто падающий вправо почерк, перед фамилией в его подписи всегда буква «С». А тут никаких инициалов, просто «Литвиненко», буквы наклонены влево, и вообще подпись совершенно не похожа на подпись Сергея Михайловича. Чтобы

определить это, не надо быть графологом. Достаточно быть внимательным человеком. Товарищ Ф. вынужден с этим согласиться.

— Да, верно, подпись не похожа… И вообще, — говорит он, — если б спросили мое личное мнение, я бы давно сказал: «Отдайте эти стены старику и прекратите дело».

Итак, подпись «не похожа». Рассматриваю все эти бумажки еще раз. Как будто, ничего нового из них не узнаешь: штамп как штамп, нормальная печать. А вот подписи… Что это, в сущности, за подписи? И вдруг обнаруживаю любопытную деталь: на всех документах, составленных в разных учреждениях, имеется одна и та же фамилия. Учетные карточки с поддельной подписью составлены финансовым агентом Василием Б., а ложная справка поселкового Совета подписана заместителем председателя Ольгой Б.

Что это, случайное совпадение фамилий? Навожу справки. Нет, не случайное: Ольга и Василий — муж и жена.

Дело Ольги Б.

После войны наискосок от сгоревшего дома Литвиненко поселились супруги Б. Вскоре Василий Б. стал парторгом поселковой организации, а его жена — заместителем председателя поселкового Совета.

Через некоторое время выясняется, что Ольга Б. занимается не столько работой в Совете, сколько еще какой-то другой деятельностью. Именно по поводу этой второй ее «деятельности» в поселке поднялась буря возмущения. Ольгу Б. исключают из партии, отдают под суд. Однако у нее уже завелись покровители. Кто-то трижды отменяет назначаемое к слушанию в суде дело и трижды передает его все дальше и дальше, пока оно не попадает за Днепропетровск, в противоположную от поселка сторону, за десятки километров от него. Здесь, в Сурско-Литовском дело и слушалось 2 октября 1950 года.

Еду в Сурско-Литовское, в нарсуд 2-го участка Пригородного района, знакомиться с делом Б.

— Покажите, пожалуйста, дело Б.

Секретарь суда долго ищет. Наконец, складывая папки, закрывает шкафы:

— Нет у нас этого дела.

— А где же оно?

Мне предъявляют копию отношения, адресованного в Днепропетровский облсуд через 10 дней после слушания дела:

«При этом направляем уголовное дело по обвинению Б. Ольги Далматовны по ст. 97 и 105 ч. II УК УССР, согласно устного требования» (чьего требования — не указано). «Приложение: дело на 100 листах». Нарсудья (крючок), секретарь (крючок). Сбоку расписка: «Одно дело для ревизора 13/10—50 г.» (подпись — крючок).

Отправляюсь в облсуд. Сюда дело не поступало. А была ли в октябре 1950 года вообще ревизия? Нет, в октябре 1950 года никаких ревизий не было.

Так, значит, кто-то (крючок) отдал уголовное дело кому-то (крючок) для никогда не существовавшего в природе «ревизора» (крючок). В описанной Гоголем аналогичной истории хоть виновный был: документы свинья сожрала. А в Днепропетровске и свиньи не сыщешь. Она стала крючками подписываться.

В чем же заключалось дело Б., которого мне так и не удалось обнаружить? Капитан С., начальник 10 отделения милиции, подтверждает, что такое дело все-таки было и он вел по этому делу следствие. Б. была полностью изобличена и признала себя виновной в том, что вымогала у жителей поселка взятки за предоставление земельных участков.

Меньше чем через два года Ольга Б., осужденная на пять лет, вернулась домой. Муж за это время круто пошел в гору. Он теперь уже не сельский финансовый агент, а инспектор областного финотдела.

Много прошло лет с тех пор, как супруги Б. «заварили» дело Литвиненко, но до сего дня они имеют возможность любоваться его плодами: до сих пор наискосок от них стоят разрушенные стены, до сих пор ютятся в землянке два бездомных старика.

Несомненно, суд мог установить истину, если бы внимательно и объективно разобрал дело Литвиненко, Но — какой суд? Только народный суд, так называемая «первая инстанция». Ибо только она, «первая инстанция», видела живых людей, только у нее, у «первой инстанции», могло дрогнуть сердце, когда два старых человека, два труженика, рассказывали о своей беде. Но у «первой инстанции» сердце не дрогнуло.

И мне захотелось поговорить с судьей, который решал дело Литвиненко.

Судья П.

Судья П. приняла меня в своем маленьком кабинете. Она движется неторопливо, с достоинством. Вокруг головы уложены косы, в холодных глазах некоторая настороженность — сейчас

она не судит, а отвечает на вопросы любознательного корреспондента, а это не одно и то же.

Ксения Марковна П. хорошо помнит дело Литвиненко. Ей приносят папку, она перелистывает страницы, читает вслух свое решение.

И тут случается нечто, не имеющее отношения к Литвиненко: читая дело, судья П. не может разобрать какое-то слово. Ничтоже сумняшеся, привычным жестом берет она перо, обмакивает в чернила и поправляет непонятное слово.

А мне-то, непосвященному в юридические тонкости простаку, думалось, что судебное дело — святыня, что у судебного работника даже и побуждения такого не может явиться — лезть пером в давно решенное дело! Ведь на основе этих документов выносились дальше определения высших органов.

Ксения Марковна говорит о деле Литвиненко, и меня поражает ее полемический тон — она как бы и сейчас еще продолжает спорить со свидетелями (все они, без исключения, давали показания в пользу старика). Когда я говорю о существе дела, о том, как решение суда отразилось на жизни Литвиненко, в ее голосе, в глазах, в выражении лица появляется отчужденность — это ее не касается и не интересует.

Ладно, не буду обращать внимания на свои впечатления. Посмотрим вместе с судьей само дело. Оно возвратилось сюда, в 1-й участок Амур-Нижнеднепровского района, из областного суда, который своим определением обязал народный суд «выяснить, кому принадлежит домостроение по Конечной, 17, и кто фактически пользовался земельным участком, а в зависимости от установленного решить дело».

Читаем дело. Оказывается, судья П. и не подумала устанавливать, кому принадлежит дом. А по поводу того, кто пользовался участком на Конечной улице, все свидетели указали, что пользовались им дети Литвиненко, и ни один человек не сказал, что участком пользовался старик. И вот, не имея буквально никаких документов или свидетельств, народный суд все-таки решает, что пользовался участком именно старик, и отбирает его дом в погашение несуществующего долга по дому его детей. Вот так-то выполнила Ксения Марковна П. решение областного суда!

Литвиненко утверждал, что при разборе его дела девочка, которая сидела на месте секретаря, не вела протокол, что только на восьмой день после суда, когда старик пришел за копией решения, судья П. диктовала этот протокол, что в протоколе много грубых искажений. Однако П. в ответ на письменные замечания старика вынесла определение: «Протокол велся

секретарем судебного заседания У. во время судебного процесса и показания отражены правильно». Кто же говорит правду? Ответить на это могла бы только У.

— У.? Какая У.? — ответили мне в канцелярии. — Ах, Лиля У.! Она давным давно тут не работает.

Но мне нужна У. Нахожу знакомую ее подруги, потом подругу и, наконец, на Ростовской улице, 83, саму У. Она, впрочем, уже давно не У., у нее фамилия мужа. Да, Лиля, она же Алиса Алексеевна, в девичестве У., работала в народном суде. Она тогда училась в восьмом классе и летом поступила в суд, чтобы немного заработать. Всего она там служила полтора месяца. Ни до, ни после этого не работала вообще, о ведении судебных дел не имела ни малейшего представления.

— Писать протоколы я, конечно, не поспевала, — говорит Алиса Алексеевна, — писала через пятое на десятое, а то совсем не писала. В первый же день мне пришлось уже вести протокол. Дело Литвиненко я хорошо не помню, но смутно припоминаю, что было такое очень длинное дело. Какие-то старики приезжали из Игрени и даже ночевали. Что-то старик говорил, вроде того, что «я должен скитаться».

Протокол судебного заседания — это основной документ, который анализируется всеми последующими инстанциями, который считается объективным и абсолютно достоверным свидетельством. Основываясь на нем, принимают решения все инстанции, вплоть до Верховного суда СССР. Но вот как составляются у судьи П. документы, от которых зависят человеческие судьбы!

Я перестаю быть корреспондентом

Исполком днепропетровского Пригородного района. Кабинет председателя. За столом — председатель товарищ С. и секретарь товарищ Д. Нет, о деле Литвиненко товарищи ничего не слышали, нет, никакого Литвиненко они не знают. Я прошу разрешения ознакомиться с выводами комиссии, которая в 1950 году обследовала поселковый Совет. Председателем комиссии, как мне говорили жители, был тогдашний райвоенком полковник Я.

— А кто именно вам сказал, что была комиссия? Я верю только документам. Дайте на стол документ, что была комиссия — тогда будем искать.

С удивлением смотрю на С., что это он — всерьез? Да, к сожалению, вполне всерьез.

— Я тут председателем уже два года и о такой комиссии не

слыхал.

Напоминаю, что комиссия работала не два, а шесть лет тому назад.

— Архивов у нас нет. И что было до нашего состава, то нас не касается, — отвечают в унисон председатель и секретарь.

Я прошу сообщить, куда передан архив, и высказываю предположение, что, очевидно, и до избрания настоящего состава исполкома в районе тоже была Советская власть. Следовательно, есть и архивы.

— И вообще, — неожиданно говорит со злостью С., — этот старик нахально влез в чужие стены и хотел в них жить.

Вот оно что! Оказывается, вначале мне сказали неправду, будто ничего не знают о деле. Знают и очень «активно» к этому делу относятся!

— Эти стены на балансе сельпо, ясно? И разговор окончен.

Действительно стены дома Литвиненко уже шесть лет назад проданы «с торгов» Одинковскому сельпо.

— Это допотопное дело. Стены на балансе. И архивов у нас нет. Так что…

И председатель выразительно смотрит на часы.

Тут я должен принести извинения редакции «Литературной газеты». Я не оправдал доверия. Вместо того, чтобы спокойно записывать в тетрадку впечатления, я, совершенно забыв о своих корреспондентских обязанностях, «вступил в пререкания»:

— Слушайте, в вашем районе старый труженик, пенсионер, выброшен из своего дома и живет в сырой землянке. Сядемте в машину, поедем туда. Посмотрите, что случилось, как помочь людям.

С. поднялся, властно отодвинул какие-то бумаги.

— У меня в районе сто тысяч населения, — сурово сказал он, — что ж я буду ездить на каждого смотреть?

Долго еще после этого знакомства я не мог успокоиться. Если представителю печати не добиться у этих руководителей района простой справки, то как же может прошибить такой железобетон старик Литвиненко, рядовой труженик? Как хотелось бы мне, чтобы избиратели, те, кто голосовал за депутата С. и за депутата Д., были там, в кабинете, вместе со мной! Чтобы они видели и слышали то же, что видел и слышал я!

В райвоенкомате я узнал, что полковник в отставке Владимир Спиридонович Я. — ныне управляющий конторой Укрместсбыта. Мы встретились. Он подтвердил, что действительно участвовал в обследовании работы Совета поселка Карла Маркса в 1950 году. Комиссия пришла к заключению, что дело стариков правое.

— У меня лично сложилось тогда впечатление, — говорит

Я., — что дело Литвиненко возникло в результате чьих-то темных интересов. Неужели это злосчастное дело до сих пор тянется?

И, наконец, я побывал в правлении Одинковского сельпо, которое считают здесь «законным» владельцем обгоревших стен. В правлении я застал М. — председателя и К. — бывшего председателя. Вот что он сказал, нынешний председатель, а его предшественник подтвердил:

— Стены куплены еще при старом председателе. Зачем он их покупал — нам неизвестно и непонятно. Фактически эти стены, да еще не в нашем селе, Одинковскому сельпо совершенно не нужны. Однако вышестоящие районные организации жмут на нас, чтобы мы построили из них жилой дом. Даже деньги ассигновали. Ну, а мы, сельпо, в этом совершенно не заинтересованы.

Какие же это районные организации жмут насчет жилого дома? Мне почему-то вспомнились слова председателя райисполкома: «Дом на балансе, и разговор окончен». И для кого, собственно, будут строить этот дом, если он не нужен сельпо? Очевидно, какие-то охотники до чужого добра нашлись: ведь поселок Карла Маркса — одно из лучших в Днепропетровске дачных мест.

* * *

Самые высокие судебные инстанции введены в заблуждение теми, кто сфабриковал дело Литвиненко. Вот один из примеров. В определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР по протесту Генерального прокурора Союза ССР сказано:

> «При разрешении настоящего дела не может быть не учтено и то обстоятельство, что принадлежавший ответчику разрушенный дом был продан шесть лет назад, новым собственником восстановлен и обратное у него изъятие этого дома, как у добросовестного приобретателя, было бы вообще незаконным».

Но Верховный суд обманут! Дом никем не восстановлен! Как его сожгли фашисты, так он и стоит сегодня! Я сфотографировал эти обгоревшие стены. Нет у них «добросовестного приобретателя», а есть выброшенный на улицу законный владелец.

Восемь долгих лет тянется дело Литвиненко. Где только оно не побывало! Сколько человеческой энергии, сколько драгоценного времени на него истрачено! Сколько физических и

душевных сил ушло у стариков Литвиненко на защиту своего бесспорного права!

Как много горя могут причинить недобросовестные люди, сколько зла могут совершить преступники только потому, что существуют еще люди с холодными глазами, с пустыми и черствыми сердцами.

У этой статьи, помещенной в «Литературной газете», было и продолжение: все решения, вплоть до решения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР были отменены и старикам Литвиненко возвращен их дом.

Мне хочется рассказать об истории еще одной статьи.

ВОСПИТАНИЕ ДЕГТЕМ

Тупая и жестокая жизнь старой русской деревни родила чудовищный обычай поругания девушки — ворота ее дома вымазывались дегтем.

Ничто не могло быть страшнее этого позора: несчастная становилась мишенью грязных насмешек и диких издевательств.

Казалось само собой разумеющимся, что вместе с самой старой деревней давно умерли и забыты законы ее звериной морали. Но воинствующее мещанство не желает умирать. Даже когда, казалось бы, нет больше для него питательной среды, микроб мещанства дает вдруг неожиданную вспышку инфекции в самом неожиданном месте.

Недавно мне довелось быть в У. На центральной улице города — улице Гончарова — висит застекленная витрина. Над нею надпись: «Бокс — Боевое окно комсомольской сатиры».

В тот день я увидел перед «Боксом» толпу, которая, не помещаясь на тротуаре, вылилась на мостовую. Раздавались непристойные выкрики хулиганов и гогот — нечто среднее между жеребячьим ржанием и воплями Тарзана. Пробиться к витрине было почти невозможно. Когда мне это наконец удалось, я понял причину неожиданного «успеха» «Бокса».

К фотографии молодой женщины была пририсована карикатурная фигура. Рядом помещен текст:

> «Я, такая-то (следовало имя, отчество и фамилия — настоящая и девичья, чтобы задеть всю семью), проживающая там-то (следовало название улицы, номер дома и квартиры), принимаю по расписанию».

Несколько левее редакция поместила на классной доске, между двумя пронзенными стрелой и финкой сердцами, такой текст:

«Расписание любовников
Понедельник
Агафонов — 8-00
Баранов — 8-30
Вертушкин — 9-00».

И так с точностью до получаса на все дни недели.

Сочтя, видимо, что одной прозы недостаточно, редакция воспела свою тему еще и в стихах, все в том же зубодробильном стиле:

«Она по профессии педагог,
Но нигде не числится в штатах
И, забывши и стыда и морали долг,
Занимается грязным развратом.
Весною принимает раннею
Любовников по расписанию».

Я изменил маршрут и направился в горком комсомола.

— Пропагандой? Пропагандой ведает товарищ Л. — вон она за тем столом.

Мы познакомились с товарищем Л. Да, «Бокс» — область ее компетенции. Она отвечает:

— Материал у нас проверенный — лучше нельзя. Зарегистрирован в милиции, горячо одобрен секретарем горкома Б.

Я попросил Л. рассказать все, что ей известно о молодой женщине. Вот рассказ Л.

Однажды ночью некий гражданин вышел из дому с ведрами за водой. Близ ворот он обнаружил парочку, которая, по мнению гражданина, вела себя нескромно. Он сделал парочке замечание.

— Вместо того чтобы прислушаться к замечанию, молодой человек (мужская половина преступной парочки) взял у гражданина ведро и ударил его этим ведром по голове! — рассказала Л.

Отмечу, что текст «замечания» остался для истории неизвестен, ибо все, что знала Л., и вообще все, что было известно по делу, сообщено самим гражданином. Никаких свидетелей при этом не было. Впрочем, некоторое представление о характере «замечания» можно вынести из того факта, что в ответ на

произнесенное гражданином замечание он получил ведром по голове. Не всякое замечание вызывает такую реакцию.

Ничего не скажешь, удар ведром — поступок хулиганский, но и слова гражданина были, надо думать, не вполне вегетарианскими.

Гражданин быстро побежал домой и вызвал на помощь приятеля с принадлежащим ему волкодавом. Волкодава не пришлось пустить в ход, молодой человек исчез. Женщину же захватили и под грозное рычание собаки доставили в отделение милиции.

Дежурный по отделению, выслушав рассказ гражданина, потребовал, чтобы сообщница назвала того, кто был с нею.

— И, представьте, эта дрянь, вместо того чтобы назвать его, заявила: можете меня вешать — не скажу! — закончила свой рассказ Л.

Прибавлю еще то, что я узнал позже, уже не от Л.: дежурный по отделению милиции, на основании одностороннего заявления гражданина, направил женщину на принудительное медицинское освидетельствование. Унизительная процедура не дала никаких результатов.

Внимательно выслушав Л., я спросил, что она еще знает о происшествии.

— Этого разве недостаточно? — удивилась она.

— Ну, а расписание, список любовников, фамилии? Кто их выдумал?

Л. посмотрела на меня с сожалением:

— Вы не знаете, что такое сатира? Берется факт и обобщается. Это художественное оформление — вполне допустимый в таких случаях вымысел. Странно, что вы не понимаете простых вещей.

В тот момент, когда Л. сообщала мне эти ценные сведения по теории литературы, вошел старый, сгорбленный человек. Вид у него был растерянный и жалкий.

— Как мне найти редактора «Бокса»? — спросил он у Л.

— Я сегодня с ума, кажется, сойду с этим «Боксом»! Ну, что вы хотите?

Старик оказался отцом поруганной. Он пришел спросить, почему его дочь ославили на весь город, обозвав проституткой. Почему это сделано, кто это разрешил?

— У меня — хорошая дочь. Никогда за ней не было ничего худого.

Л. ответила старику что-то невразумительное, сказала, что секретаря горкома товарища Б. нет, предложила зайти в другой раз и заспешила по своим руководящим делам.

Я пошел со стариком к нему домой.

В квартире, адрес которой сообщался в «Боксе», я нашел хорошую трудовую семью, милых людей. Отец — член партии, директор магазина. Мать проработала всю жизнь счетоводом. Сейчас она — домашняя хозяйка. Брат — инженер-строитель, коммунист. Младшая сестра — студентка, секретарь курсовой комсомольской организации. Наконец — сама пострадавшая: шесть лет назад она окончила институт и с тех пор работает по специальности. В 1952 году вышла замуж. У нее от этого брака ребенок — трехлетний сын. Два года тому назад брак фактически прекращен. Она живет с родителями, преподает в институте.

Тотчас после «сигнала» из отделения милиции ее с работы уволили. А спустя два месяца сатирики из «Бокса» спохватились, что пережитых женщиной унижений мало, и возвестили всему городу, что она профессиональная проститутка.

Семью я застал в ужасном состоянии. Растерянные, несчастные старики, заплаканная сестра, которая не может идти в свой институт, сама женщина с застывшим, каменным лицом. И маленький сын, чувствующий тревогу взрослых, смотрящий им в лица испуганными глазами.

— За дочерью, — говорил старик, — никогда не было ничего дурного. Она очень хорошая, внимательная, добрая. Мы ее воспитали, помогли получить высшее образование. А теперь — видите, в каком положении наша семья. Я буду добиваться, чтобы наказали виновных за клевету, Но нам это уже не поможет…

Говорил я с матерью женщины, с ее сестрой, с ней самой, и у меня создалось твердое убеждение, что это хорошая, чистая семья.

Беседовал я и с соседками. И они подтверждают, что это хорошая семья, что сама оклеветанная всегда вела себя безукоризненно и не давала оснований далее для самых невинных сплетен.

Заходил я еще в отделение милиции, где рассказали мне то же, что я раньше узнал от Л. Да, был такой случай, да, гражданин с приятелем привели молодую женщину, да, она отрицала свою причастность к инциденту, да, дежурный отправил ее на медицинское освидетельствование. Собственно, он, может быть, и перестарался, но руководствовался исключительно благими намерениями, в том смысле, что вдруг когда-нибудь прокурор спросит: а что предпринято по делу? Вот дежурный и обеспечил себя — принял меры.

Рассказ мой окончен. Я опасаюсь, не изобретут ли товарищи из горкома комсомола еще несколько «сатирических» приемов: попробуют застигнутых за поцелуями молодых людей вываливать

в перьях; в качестве верного способа борьбы с нарушителями моральных устоев — привязывать «преступников» к позорному столбу перед окнами горкома…

…Давно уже набила оскомину шаблонная газетная формула: кто ответит за это?

Но на сей раз я хочу задать именно этот шаблонный вопрос.

Кто ответит? Кто ответит за поруганную честь семьи, за позор, за слезы, за поломанную жизнь молодой женщины, за горе ее отца и матери? Кто ответит за тот «воспитательный» эффект, который произвели «сатирические» упражнения «Бокса» на молодежь?

Выяснилось, что именно эти вопросы в У. не волнуют как раз тех, кого больше всего должны волновать. Никто даже не подумал о том, чтобы в какой-либо форме реабилитировать оклеветанную, извиниться перед нею, наконец. Несчастная женщина оставила сына старикам и уехала искать работу как можно дальше от родного города. Ретивых же сатириков слегка и без видимого эффекта пожурили — они и сейчас считают себя «в основном» правыми…

* * *

Через некоторое время в «Литературной газете» появилась такая заметка:

По следам выступлений «Литературной газеты»

«ВОСПИТАНИЕ ДЕГТЕМ»

2 июня сего года в «Литературной газете» был опубликован фельетон А. Каплера «Воспитание дегтем». В сотнях писем, поступивших в редакцию в связи с этим фельетоном, читатели с возмущением осуждают тех работников, по чьей инициативе была оклеветана советская семья, и требуют наказания виновных.

Секретарь городского комитета КПСС тов. В. сообщает, что бюро горкома обсудило фельетон, признало его правильным, а факты, изложенные в нем, соответствующими действительности. Бюро горкома КПСС строго осудило грубую ошибку, допущенную в газете «Бокс», и считает, что она является результатом

безответственности секретаря горкома ВЛКСМ т. Б. и заведующей отделом пропаганды и агитации горкома комсомола т. Л., а также отсутствия контроля со стороны отдела пропаганды и агитации горкома КПСС.

Первому секретарю У. горкома комсомола Б. объявлен выговор с занесением в учетную карточку.

Состоявшийся на днях пленум городского комитета ВЛКСМ освободил Л. от работы в горкоме.

Как сообщил редакции секретарь обкома ВЛКСМ тов. С., бюро обкома приняло постановление «о серьезных недостатках в работе горкомов, райкомов ВЛКСМ по выпуску сатирических газет». Намечено укрепить состав редакционных коллегий, провести семинар редакторов.

В ряде писем, полученных редакцией в связи с опубликованием фельетона «Воспитание дегтем», читатели требуют привлечения клеветников к суду. Но по закону привлечение к судебной ответственности за оскорбление и клевету производится по заявлению самих потерпевших.

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Настало время, дорогой мой читатель, познакомить вас с последней главой этой книги.

В ней речь пойдет о далеких временах моей юности.

Странно, но люди, с которыми встречался, дружил в те бесконечно далекие годы, видятся мне сегодня совершенно так же ярко, как те, с кем расстался час назад.

Что это? Свойство моей только памяти, или так бывает у всех.

Не знаю.

Я помню взгляды, интонации, освещение, запахи, чувство голода и предчувствие счастья, пожатие руки, и гром орудий, и окровавленное тело моего друга, насмерть засеченного петлюровцами на Казачьем поле, и добрый голос матери, и первые свидания, и первые походы в «Иллюзион», и кайзеровские

войска на улицах моего Киева, заросший тиной пруд на пятой линии Пуща-Водицы, и вшей, и сыпной тиф, и теплушку — три недели до Москвы…

Огромный мир, никому, кроме меня, невидимый, никому неизвестный…

Вот несколько извлечений из этого мира, которые я предлагаю на прощание вашему вниманию, читатель.

ХУДОЖНИК

Моей записной книжке — той, в которой занесены адреса и номера телефонов, — много, очень много лет, почти столько же, сколько мне самому.

Это узкая и длинная книжка — когда-то она была единым целым, но давно растрепалась, ее переплет оторвался, разломался, листки то и дело разлетаются, и я собираю их, стараясь снова расположить по алфавиту.

Печальная книга, в которой то и дело встречаешь имена людей, ушедших из жизни. Взгляд останавливается на имени, обозначающем нечто теперь только для одного меня, на адресе — названии улицы, которой давно нет в природе, на номере телефона, по которому уже никто не ответит.

Я не вычеркиваю их, и эти записи переплетаются с реальными, действующими, существующими.

Живые и мертвые тут сплелись в единый поток моих представлений, моих воспоминаний.

Вот одна запись на букву «В». И адрес.

Если бы я поехал в Ташкент и зашел по этому адресу на улицу Черданцева, бывшую улицу Художников — я нашел бы там Нину Ивановну — жену В. — и Наташу — их дочь. Я увидел бы там множество законченных и только-только начатых картин, уйму театральных эскизов — то, что осталось от хозяина.

Я почувствовал бы снова атмосферу любви, безграничной любви к умершему.

Славная, умная Наташа все отваживает женихов: никто не кажется ей интересным — всех она невольно сравнивает с отцом, на всех смотрит его насмешливым взглядом, и никто этого сравнения не выдерживает.

Я обошел бы квартиру, заглянул в ванную комнату, на террасу, и снова, снова предо мной возникла бы трагическая сцена, это ужасное самоубийство…

Он был очень веселым и очень добрым человеком. Его любимейшим образом с самого раннего детства и на всю жизнь стал Дон-Кихот.

И сам он был благородным рыцарем, великодушным идальго, готовым пожертвовать собой ради людей, ради красоты, ради правды.

Не причинять никому беспокойства, никому не мешать… человек не имеет права мешать жить другому человеку… — говорил он.

В юности В. болел сыпным тифом и менингитом — оттого

навсегда речь его стала немного заторможенной.

Но в сочетании с его юмором эта замедленность речи была как-то очень органична, очень естественна.

Слушая его и зная иронический склад этого блестящего ума, вы ждали окончания фразы, предвидя, что последует нечто неожиданное и остроумное. И неизменно ваши ожидания оправдывались. Он был настоящим художником. И не только потому, что вся его жизнь состояла из интересов живописи и театра, он был художником по взгляду на жизнь, по отношению к людям, по душевной тонкости и легкой ранимости. Он был художником потому, что, отражаясь в нем, окружающий мир преобразовывался, зацветал чудесными красками, потому, что люди, с которыми он встречался, очищались его воображением от всего наносного, суетного и становились гораздо лучше, чем были на самом деле. Он был добрым волшебником, и окружающий мир подчинялся его желаниям и превращался в другой мир — тот, в котором он жил.

В суровое время гражданской войны был образован у нас в Киеве укрепленный район. Во главе этого грозного учреждения стоял комендант, по фамилии, кажется, Осадчий.

Мы его никогда не видели — он существовал где-то там — на недосягаемых высотах, а мы скромно делали свое маленькое дело в клубе при штабе укрепрайона. Мы — это художник В., который руководил кружком (или, как он громко именовался — студией) живописи, поэт Длигач — руководил литературным и я, грешный — театральным. Клуб помещался рядом со штабом в прекрасном барском особняке на Александровской улице.

Мы — три юных руководителя — были помещены на жительство в маленькой комнатке рядом с залом.

Нам поставили две кровати и один топчан. В углу комнатки стоял гигантский медный самовар, видимо, принадлежавший раньше какому-то ресторану.

Самовар был человеческого роста, и с ним вместе нас тут в комнатке помещалось четверо.

Великим неудобством нашего жилья было то, что единственная дверь из него выходила в зал. А зал, волею начальства, превратили в общежитие уборщиц. Казалось бы, для того, чтобы прибирать в штабе и примыкавшем к нему клубе, нужны были одна-две уборщицы. Между тем их было сорок семь.

Секрет состоял в том, что ничего похожего на какие-нибудь нынешние штатные расписания не существовало, а в уборщицы в основном поступали киевские проститутки.

Профессиональная жизнь при военном коммунизме у них не складывалась, ночные патрули то и дело арестовывали ихнюю

сестру, жить как-то надо было, а тут слух — в укрепрайоне дают хороший паек и делать не надо ровно ничего. И они действительно ровно ничего не делали — все сорок семь.

Клуб и штаб зарастали грязью. Военком штаба — товарищ Потажевич — время от времени вызывал какую-нибудь из проституток и, заикаясь, читал ей длинную мораль с цитатами из Маркса и Энгельса. Чище от этого в штабе не становилось.

Женщины щелкали семечки, валялись на кроватях, лениво переругивались и ожидали лучших времен. Они не сомневались, что вся эта ерунда скоро окончится и они вернутся к нормальной жизни.

И через этот вот зал, где стояло сорок семь кроватей, где валялись сорок семь бездельных девок, нужно было всякий раз проходить, чтобы попасть в наш теремок с самоваром или выйти из него.

Сорок семь грубых девок, матерщинниц, похабниц.

Длигач и я легко переносили эти проходы — мы отвечали грубой шуткой на грубую шутку и выражались не хуже наших соседок, но для В. это было мучением ужасным.

Сразу же распознав в нем стеснительного юношу, девки изощрялись при его появлении в самой грязной брани. Они хватали его, хохоча, делали непристойные предложения, перебрасывались им, толкая от одной к другой, щипали, валили на койки.

Особенно доставалось несчастному, когда он вынужден бывал ночью выйти по нужде.

Он терпел, пока это было возможно. Мы ему советовали подумать об окне или о самоваре. Прыгать из окна было невозможно — это был высокий второй этаж. Самовар числился за самим военкомом, и к нему боязно было прикасаться, а не то, чтобы пользовать его как ночную посуду. И В. приходилось, когда становилось невтерпеж, идти через зал.

В общежитии обычно в это время девки резались в карты, курили и бранились.

Появление В. было для них спасением от смертной скуки.

Обычно мы с Длигачем нехотя вставали и отправлялись на выручку. Девки беззлобно ругали нас, когда мы отбивали у них своего друга, и нехотя возвращались к картам.

Но самое удивительное, самое необъяснимое было то, что В. мгновенно забывал о своих обидах и снова наши соседки, как и все женщины в мире, становились для него святыней.

Если нужно было о чем-нибудь спросить, он обращался к какой-нибудь из этих шлюх, как самой уважаемой даме. Он старался услужить любой из них, если мог. Он вел себя как

настоящий воспитанный человек, больше — как рыцарь, как идальго.

Это крайне удивляло женщин. Что-то в этом его поведении было для них непонятным и тревожащим.

После очередной грязной ночной сцены, после насмешек и издевательств, которым он подвергся, В. утром перехватывал у какой-нибудь Муськи-лягушатницы тяжелую корзину с пайками хлеба, который она пришла раздавать.

— Позвольте, я понесу… — И он шел по залу следом за Муськой, держа корзину, пока женщины сонными руками, протянутыми из-под одеял, разбирали хлеб.

В. скручивал козью ножку или отдавал свою пачку махорки какой-нибудь сиплой Нюрке, если она жаловалась, что «курить нет ни хрена».

Однажды В. попросил Нюрку попозировать ему. Не понимая толком, чего он от нее хочет, Нюрка согласилась посидеть на табуретке.

Она сидела, тупо жрала семечки и плевалась лузгой. Лузга повисала у нее на губах и на подбородке, лузга валялась вокруг нее на грязном полу.

В. стоял за мольбертом и писал. Целую неделю по два, по три часа в день Нюрка сидела на табурете и давала себя рисовать. Иной раз в нашу комнатку заглядывала какая-нибудь из женщин и отпускала грязную шутку. Нюрка отвечала ей такой же похабелью, и сеанс продолжался. Заглядывать на холст В. не позволял.

Наконец наступил день, когда портрет был закончен, и женщины ввалились в нашу комнату смотреть на «Нюркину карточку».

В. снял с картины тряпку, повернул мольберт и, дымя козьей ножкой, отошел в сторону.

На мгновение женщины умолкли, ошеломленные тем, что увидели. Затем раздался гогот.

На мольберте стояла картина, изображавшая прекрасную женщину, которая кормит грудью ребенка. Это была Нюрка, и это была совсем не она. Неужели у Нюрки такие глубокие темные глаза?..

А ведь, кажется, у нее действительно такие чудесные глаза. Никто этого никогда не замечал, да и сама Нюрка не видела себя такой. И этот младенец — с ума сойти: Нюрка-сипатая с ребенком. Сыпались сальные шуточки, прокатывался смех.

Но почему-то смех был не таким, как обычно, и вдруг замолкал, и наступало молчание.

За спиной кормящей матери стояло синее-пресинее небо, и

маленькие белые облачка, похожие на ягнят, плавали на нем. Нет, это все-таки была Нюрка, но очищенная от всего грубого, скверного, житейского.

Художник увидел сквозь грязь то прекрасное, чем могла бы стать эта женщина. Он такой ее видел, он написал ее такой. И этот младенец с толстенькими ножками, с розовыми пяточками…

Женщины разошлись.

Я возвращался поздней ночью, когда умолкли их песни и ругань, когда все они спали.

Проходя мимо Нюркиной кровати, я остановился, услышав какие-то странные, невозможные здесь звуки: заглушенные подушкой и одеялом, слышались всхлипывания…

Укрепрайон наш вскоре расформировали. Закрыли клуб, распустили уборщиц.

Мы собирали свои пожитки. Я вышел из нашей комнаты в опустевший зал и вдруг увидел, как Нюрка, сипатая Нюрка, задержавшись в дверях, схватила руку В. и поцеловала ее.

Но самым поразительным было то, что наш друг принял это совершенно спокойно, как нечто естественное.

Он стоял в проеме двери, освещенный сзади солнцем, и похож был на святого со старинной иконы.

…Это случилось девятого марта. В то утро редакция нашей газеты, нашего органа губкома и губисполкома была взбудоражена необычайно.

Обнаружилось, что в стихотворении, посвященном Женскому дню и опубликованному накануне, имелся акростих, по выражению главного редактора, «хулиганского и контрреволюционного характера».

Вчерашней газеты ни у кого, естественно, не осталось, и сотрудники бросились к подшивкам.

Местный поэт изобразил в этом стихотворении решительно все, что принято, что нужно было писать к восьмому марта. Никаких погрешностей идейного рода в опусе не содержалось.

Что же касается акростиха… Мы сложили первые буквы строчек, и получилось… м-да… некрасивая получилась история.

В городе нашем был другой популярный поэт, по имени Владимир Агатов.

Был он человеком способным, писал стихи «для души» и стихи для газеты. Писал тексты романсов, писал в стихах тексты для плакатов про борьбу с голодом, про борьбу с белобандитами, про борьбу за светлое будущее, про борьбу с венерическими болезнями, про борьбу с тифом.

Если видишь вошь —
Товарищ, уничтожь…

Среди стихов «для души» были у Агатова талантливые вещи. Впоследствии, в годы Отечественной войны, им были написаны знаменитые «Темная ночь» и «Шаланды полные кефали».

Но то, что он писал ко всякого рода датам — для газеты, было сплошной «барабанщиной».

Однако именно эти стихи безошибочно принимались и публиковались, иной раз их даже оттискивали красной краской.

Так вот, сложив первые буквы праздничного, «женского» стихотворения поэта Дмитрия Урина, мы получили такой текст:

Стихотворение хотя и
небогатое,
Но лучше, чем халтура
В. Агатова.

В редакции все были подавлены. Пропустить этакую штуковину!

Главного редактора уже выволакивали «на ковер» — в губком. Теперь он буйствовал и искал виновных.

Одним из таких виновных у него оказался почему-то и художник В., который иллюстрировал крамольное стихотворение своим рисунком.

Сама по себе картинка — немного условная — широкоскулые женщины в косынках, несущие кто знамя, кто серп, а кто сноп сжатой ржи, — сама по себе эта картина не содержала решительно ничего идейно-порочного. Но в свете случившегося редактор усмотрел в ней тоже крамолу.

Каждый день, до того, в газете появлялись рисунки распространенных в те годы левых направлений. И редактор был даже их покровителем. Никакого реализма в художественной практике газеты не наблюдалось, и это считалось нормальным.

Все революционные праздники в те времена оформлялись «левыми» художниками, с транспарантов и плакатов глядели рабочие и крестьяне, состоящие из различных геометрических форм.

Теперь же редактор неожиданно решил, что все это — направления вредные, и, грозно сдвинув мохнатые брови, разъяснял это вызванному в кабинет В.

Начальственные громы не производили на В. ровно никакого впечатления, и это еще более распаляло редактора.

Сияя лысым черепом, сверкая грозными очами, неправдоподобно увеличенными толстыми стеклами очков, то и дело расстегивая и застегивая пуговички на своей видавшей виды гимнастерке, редактор говорил:

— …Заразили, заразили, понимаешь, пролетарскую газету своими, понимаешь, кубизмами! Нет того, чтобы рисовать нормальные человеческие, понимаешь, лица. Нет! Хари, футуристические рыла, вместо, понимаешь, пролетарских лиц, один глаз на лбу, другой, извиняюсь, стыдно сказать где… А что ты этим хочешь выразить? Контрреволюцию разводишь? А стишок ты читал, к которому этих уродок пририсовал, а? Что из первых букв хулиганство получается, знал, конечно? И посмеивался, признайся, посмеивался?..

В., наконец, скрутил козью ножку, которая ему не давалась, насыпал в нее махорку, достав щепотку из брючного кармана, закурил, стрельнув в редактора кусочком серной спичечной головки, и произнес своим замедленным способом:

— Я стихи сверху вниз не читаю. И снизу вверх тоже не читаю. И по диагонали не читаю…

Услыхав это, редактор побелел.

Он нажал изо всей силы кнопку звонка и закричал вбежавшей секретарше:

— Давай сюда, понимаешь, эту… сегодняшний номер… и всех посади — пусть читают, понимаешь, снизу вверх, по диагонали, по параллелепипеду, по трапеции — сейчас же… и доложишь — что там еще окажется… а ты — иди отсюда, иди… — набросился он на В., который подкинул ему эти новые сомнения.

Дымя вонючей козьей ножкой, В. вышел из кабинета грозного редактора.

И мы с ним пошли обедать в «Хлам».

Учреждение под такой вывеской помещалось на Думской площади. «Хлам» — означало «Художники, литераторы, артисты, музыканты».

Нечто вроде литературно-артистического клуба. Содержателем ресторана был здесь осетин, по фамилии Хаиндров. Осетин Хаиндров заказал некогда В. роспись стен в верхнем помещении, где находилась нормальная столовая, и в подвальном, которое, собственно, и было «Хламом».

Здесь имелась маленькая эстрада, с которой поэты завывали свои стихи. Здесь до глубокой ночи, а то и до утра спорили братья литераторы чуть не до драки, а то и в самом деле до драки.

Здесь, в подвале табачный дым бывал таким плотным, что

противоположная сторона помещения тонула в сизой мгле, а свет электролампочек едва пробивался сквозь туман.

В «Хламе» разыгрывались великие баталии между приверженцами разных направлений искусства, а то и просто пьяные драки с участием поэтов, артистов, проституток и официантов.

В верхнем зале Хаиндров велел расписать стены различными съедобными натюрмортами, а также видами обнаженных купальщиц и лебедей. Художник честно выполнил этот «социальный заказ».

Зато в нижнем помещении — в «Хламе» — он позволил В. писать на стенах что душе угодно.

И В. здесь отыгрался за мерзость, которую ему пришлось изображать наверху!

Художник выложился здесь до конца. Чего-чего только тут не было — и летающие по воздуху мужики, и гигантский рыбы, в животе у которых просматривались насквозь, видимо, проглоченные ими, целые коллективы людей; иные стены были расписаны абстрактными формами самой удивительной расцветки, и вдруг — гигантский глаз, которому суждено было смотреть на все, что по ночам здесь происходило. На потолке была изображена неимоверных размеров нога в сапоге.

За труды художника осетин Хаиндров расплачивался обедами. Каждый день В. имел право бесплатно получать борщ и гуляш в верхнем помещении «Хлама». Это было великим подспорьем для него в ту пору.

Гоген и того не получал, расписывая свою хижину на Таити.

Итак, мы отправились обедать в «Хлам» — В. бесплатно, я за свои кровные.

Нэп был в разгаре. За столиками в верхнем зале «Хлама» в основном сидели нэпманы со своими нэпманшами.

Контраст между этими преуспевающими дельцами, мгновенно откуда-то появившимися, как только была разрешена частная торговля, и остальными гражданами, — этот контраст был разителен.

Социальные признаки ясно обозначались во всем — в одежде, в лицах, в меню, которое заказывалось официантке, в манерах, во взглядах — во всем! Зимой у нэпманов было нечто вроде униформы — на дамах обязательные котиковые манто и высокие фетровые боты, на мужчинах котиковые шапки и котиковые шалевые воротники на шубах, подбитых лисой или белкой.

Синтетику в те годы еще не изобрели. Подделывать кошку или крысу под котика тоже еще не научились. И шли на нэпманов и на их нэпманш чистопородные морские котики.

Сколько же, боже мой, пришлось истребить этих милых, большеглазых, беззащитных существ, чтобы одеть мгновенно разжиревшие тела нэпманских животных. Откуда только появились бриллианты, золото, платина…

Сидя здесь, в «Хламе», эта публика обделывала свои дела. Что только тут не продавалось и не покупалось! Сукно, лес, железо, кокаин, галоши, мука, губная помада, кожа, электромоторы, граммофонные иголки, кирпич, духи, повидло, сапоги…

Откуда только все это явилось? Казалось, в голодной, разрушенной стране хоть шаром покати…

Для нас, впрочем, как и для подавляющего большинства, жизнь оставалась все еще полуголодной…

Тем более ненавистными были для нас эти сытые, самодовольные, мгновенно раскормившиеся самцы и самки.

На этот раз мы ели не вечный гуляш, а рагу из настоящего барашка, обгладывали косточки и запивали обед чистейшей водопроводной водой.

Нас усадила за свободный столик сама мадам Хаиндрова, велела официантке подавать и величественно вернулась на свое место за кассой.

Воздух в зале гудел — сделки, сделки, сделки… шепоты, стук сдвинутых стаканов, стук вилок и ножей. Пальцы пересчитывают червонцы…

— Свободно? — раздался над нами густой, жирный голос.

Типический нэпман с ярко крашенной блондинкой остановился возле нас.

Не ожидая, пока сядет дама, нэпман плюхнулся на один из свободных стульев.

Дама с интересом посмотрела на В., у которого как раз в этот момент изо рта торчала баранья косточка, и уселась между ним и своим нэпманом.

За окнами послышался цокот подков. Все повернулись к зеркальной витрине.

По брусчатой мостовой, грациозно переступая тонкими ногами, почти танцуя, двигались две лошадки — серая в белых яблоках и, немного отставая от нее, вороная.

На «яблочной», поджав короткие толстые ноги, сидел сам Голубков — комендант города, на вороной — его адъютант Бабанов, которого весь город называл Сеней. Оба в ярко-красных галифе, в блестящих сапожках с серебряными шпорами.

Толстый Голубков был похож на молодого мясника и как-то не сочетался с лошадью — он сам по себе, она сама по себе. Зато Сеня Бабанов, с коротенькими усиками, с розовыми щечками, стройный, всегда подтянутый, казалось, родился, чтобы натянуть

красные галифе и сесть на лошадь.

Таким цирковым манером проезжала эта пара по городу каждый день, ровно в четыре. Население привыкло к этому спектаклю. Говорили, что по Голубкову можно проверять часы — почти как по знаменитым выходам из дома Иммануила Канта.

Проезд коменданта означал, что все, мол, в порядке, в городе спокойно, жизнь идет своим нормальным ходом.

Наш нэпман мрачно пил и ел, не разговаривая, не обращая ни на свою даму, ни на нас ровно никакого внимания. Пышущая здоровьем дама расстегнула пальто и предъявила окружающим огромное декольте.

Вырез был настолько глубок, что ни у кого не могло оставаться сомнений по поводу количества и качества того, что за ним помещалось.

Я посмотрел на В. — он был чем-то крайне озабочен.

Коротко взглядывая время от времени то на нэпмана, то на его пышногрудую подругу, В. начал рисовать на столе.

Нэпман сопел, чавкал, громко глотал вино и густо краснел. Лысина, лоб, нос, щеки мало-помалу покрывались капельками пота, потом капельки стали сливаться в ручейки.

Дама держала бокал рукой, унизанной кольцами и браслетами. Мизинец она отставляла, как принято было по правилам мещанского хорошего тона. В ушах у нее сверкали серьги с крупными голубыми бриллиантами.

Оба не произносили ни слова.

Мы с В. вначале обменивались по их поводу понимающими взглядами. Но затем В. увлекся рисованием и, видимо, забыл обо мне, Он посматривал на наших соседей исподлобья, колючими, ставшими злыми глазами.

Подошла мадам Хаиндрова, я рассчитался, и мы поднялись.

— Ой, боже ж мой! — всплеснула руками мадам. — Опять вы мне столик спортили!..

Она схватила тряпку, собираясь стереть то, что В. нарисовал.

Нэпман взглянул на рисунок и, зарычав, выхватил тряпку из руки мадам Хаиндровой.

— Пустите, мусью, больно…

Отпустив Хаиндрову, нэпман наклонился над столом, разглядывая рисунок.

Я тоже заинтересовался им.

Это был бегло набросанный портрет нэпмана и его дамы, но это было и нечто гораздо большее.

Со всей силой классовой ненависти В. изобразил все, что думал об этом типе людей.

Не карикатура, нет, скорее обобщение, нэп сквозь

увеличительное стекло.

Острая манера рисунка напоминала прославленного немца Георга Гроса, его антивоенные серии.

Но это не было подражанием Гросу — в манере В. было что-то свое, особое, неотделимое от темы, от изображенного им нэпа.

В первое мгновение, взглянув на рисунок, я чуть было не расхохотался — очень уже здорово были схвачены, гиперболизированы и высмеяны характерные черты наших соседей. Но, всмотревшись в рисунок, я расхотел смеяться. Это двое животных были не смешны, а страшны. Страшно было то, что за ними чувствовалась их среда.

Нэпман вытащил бумажник, вытянул из нее купюру и сунул мадам Хаиндровой в руку.

— Велите мне отрезать ножки. Крышку стола я заберу.

И, обернувшись к В.:

— Надеюсь, вы мне продадите рисунок?

В. замялся, он был смущен.

— Берите, пожалуйста, если нравится…

— Спасибо, — сказал нэпман и протянул В. руку: — Позвольте представиться…

И он назвал свою фамилию. Это был один из самых знаменитых русских художников.

Когда В. краснел, то это начиналось с ушей. Сейчас они у него вспыхнули, и краска разлилась по лицу, залила шею.

Художник рассмеялся и обнял В.

— Я их сам не переваривaю. Но что делать — не вы первый принимаете меня за нэпмана…

Он протянул мне руку и повторил свое имя.

— Жена, Ольга Романовна…

— Позвольте, товарищи, пригласить вас вечерком сюда, вниз. Мы приехали только на день из Москвы.

…Казалось, что этот густо-фиолетовый табачный дым нужно раздвигать руками.

Разноцветные фонарики плавали в нем, едва освещая сидящих за столом людей.

Френчи, толстовки, визитки со «штучными» — полосатыми брюками, даже несколько смокингов. Чего только здесь не было!

Курили, кажется, все без исключения. И мужчины и дамы. Нэпманская публика тут была перемешана с богемой. Длинноволосые поэты и музыканты, тощие натурщицы и художники в бархатных блузах, с повязанными вокруг шеи пышными бантами, откуда-то взявшаяся компания лилипутов, глушивших водку не хуже иных крупногабаритных посетителей.

Эстрадная певица, известная более не по театру, а по скандальным историям, рядом с ней мальчик лет пятнадцати с обезумевшим взглядом; нанюхавшийся, как всегда, кокаина известный драматический актер модного в те времена амплуа — «неврастеник»… У рояля аккомпаниатор, имя которого много лет появлялось во всех афишах.: «У рояля — Гвоздков».

У одного нашего, не страдающего излишком интеллекта друга была присказка — когда ему рассказывали какую-нибудь новость, он добавлял: «У рояля Гвоздков».

— Ты знаешь, Виктор женится!

— У рояля Гвоздков.

— Отменили хлебные карточки!

— У рояля Гвоздков.

И вот теперь сам настоящий Антон Гвоздков во фраке, наклонив над инструментом свой неимоверной величины нос, на который нависли пряди длинных волос, импровизировал что-то бурное.

Он то ударял по клавишам с огромной силой, подскакивал — при этом взлетали и снова падали на плечи, на лицо пряди волос, то вдруг замирал на пианиссимо и играл, тихо покачиваясь, едва касаясь клавиш рояля кончиками длиннейших пальцев.

В. изобразил его на стене прямо над инструментом.

Клавиши разлетались от удара во все стороны, нос был вдвое крупнее, и волосы стояли дыбом, как у циркового рыжего. Но сходство карикатуры с оригиналом было поразительным.

Мы сидели за столиком в стелющихся по подвалу полосах сиренево-желтого табачного дыма.

— Так, так, — говорил изрядно подвыпивший художник, держа В. за пуговицу толстовки, — значит «эпатэ лей буржуа»?.. Пощечина общественному вкусу… Но, позвольте, когда Шишкин рисовал сосновые леса, это тоже было новаторство…

— Собачью чепуху вы говорите, — невозмутимо отвечал В., успевший привыкнуть к художнику и уже забывший, что перед ним знаменитость, — и еще раз — собачью чепуху. Когда Шишкин рисовал свои цветные фотографии, уже существовал Сезанн, и Манэ, и Писсаро… Имажинисты бедствовали, пробивали свои пути, а Шишкин был просто удачливым, провинциальным фотографом. Какое же тут, к черту, новаторство?..

— Позвольте, а вы русскую живопись признаете?

— Конечно. И очень высоко ставлю, но не Шишкина, он меньше всего представляет ее.

— Молодой человек, я вас уважаю, но русскую живопись в обиду не дам… Я, если хотите знать, за отечественную живопись

могу и морду набить…

— Да ты что, ошалел? — дергала художника за руку жена. — Вы, мальчики, на него не обращайте внимания…

— На меня? Не обращать?.. — ярился художник. — Да ты, дура, знаешь ли, кто я есть? И кто ты, в конце концов? Кто тебя из грязи вытащил? Я тебя из грязи вытащил… Скажи, пожалуйста, сколько тебе платили за сеанс? А? Рупь за натуру со всем прочим. Вот твоя цена. А я что из тебя сотворил? А? Говори, сука, что я из тебя сотворил?..

По временам Гвоздков переставал играть, на эстраду поднимался какой-нибудь поэт и читал свои стихи.

Слушать было невозможно, стучали ножи и вилки, хлопали пробки, громко разговаривали за столиками, и принесенный кем-то псенок по временам протяжно взвывал, как бы подражая чтению стихов.

Однако же поэт, стоявший сейчас на эстраде, не обращал ровно никакого внимания на все эти помехи.

Он читал, ритмически покачиваясь и взмахом кулака вбивая в дымный воздух каждую строку.

Слышал ли его хоть один человек, кроме него самого?

Две миловидные сестры, проживающие в гостинице «Сан-Ремо», что помещалась в том же доме, над «Хламом», — Ната и Оля — отваживали пристающего к ним кавказского человека в черкеске с газырями.

По четвергам — а это был четверг — сестры отдыхали, не занимаясь своей древней профессией.

Кавказец просто не знал их распорядка, жаловался на одиночество и просился в компанию.

Вдруг наступила тишина.

Никто не заметил, откуда взялись эти люди, когда вошли. Три человека в ярко-красных масках, с револьверами в руках стояли в центре подвала. У выхода и у двери в кухню — еще двое, тоже в красных масках и тоже с револьверами.

Красная маска! Давно уже терроризировала город эта шайка. За ней числилось множество ограблений и несколько убийств. Ни угрозыску, ни Чека пока не удалось поймать ни одного из бандитов.

Поэт стоял на эстраде, на полуслове прервав чтение.

Такой мужественный, самоуверенный за минуту до этого, он теперь поник, увял. Его могучие кулаки разжались, кисти рук безвольно висели вдоль тела.

Все замерли. Стояла тишина.

Потом заговорил один из стоявших в центре зала, между столиками — видимо, главарь. Это был человек небольшого

роста, очень тонкий, я бы сказал — изящный, элегантно, по моде тех времен одетый — галстук бабочкой, черный пиджак и полосатые, отлично отглаженные брюки, светло-серые гетры, лакированные башмаки.

— Господа, — сказал он, и оттого, что это был голос интеллигентного человека, всем стало как-то еще страшней, — прошу оставаться на местах и поднять кверху руки. Пожалуйста, поднимите руки. И дамы тоже. Благодарю вас.

Он подошел к первому от эстрады столику и молча подал знак своим помощникам. Двое здоровенных верзил в красных масках, вперевалку переходя от столика к столику, начали вытаскивать из карманов посетителей кошельки, бумажники, мундштуки, часы. У женщин отбирали сумочки, снимали с рук кольца, браслеты. Помощники были полной противоположностью вожака — грубые типы, они проделывали свое черное дело с хамской бесцеремонностью, ко всем обращаясь на «ты»: «А ну, двинься», «А ну, повернись», «А ну, лапы кверху».

Дрожащую мадам Хаиндрову детина отодвинул от кассы и пересыпал содержимое ящика в саквояж.

Все молчали, никто не смел противиться красным маскам. Никто не смел даже взглядом выразить недовольство.

Мужчины, на глазах у которых бандиты грабили женщин, грубо толкали их, срывали кольца с пальцев, засовывали руки за вырез платья, выискивая спрятанные кошельки — мужчины отводили взгляд и молчали.

Вожак ходил по проходам между столиками, наблюдал за ходом операции, не принимая в ней участия.

Он остановился у нашего столика. Достал левой рукой из внутреннего кармана пиджака золотой портсигар с крупной монограммой, левой же рукой открыл его и вынул толстую — «посольскую» папиросу. Затем у него в руке появилась английская зажигалка, и он закурил, глубоко, с наслаждением затягиваясь.

В это время один из верзил приблизился к нам.

Первым подвергся обыску В. Грабитель брезгливо бросил на стол его носовой платок не первой свежести, огрызок карандаша и с удивлением убедился в том, что ничего больше в его карманах не содержится.

В. во время этой унизительной операции сопел и, пригнув голову, исподлобья мрачно смотрел на бандита.

Второй жертвой стал я. Несколько мелких монет и испорченные карманные часы без стрелок были также пренебрежительно брошены на стол.

Я запомнил на всю жизнь это чувство отвращения от того, что тебя ощупывают чьи-то руки.

Толстый бумажник, туго набитый новыми червонцами, изъятый из кармана художника, верзила передал вожаку и тот небрежно сунул его в карман. Затем изъяты были закрытые массивные золотые часы и, наконец, круглая деревянная коробочка.

Открыв ее, бандит застыл в изумлении: на него оскалились две челюсти — запасные протезы знаменитого художника.

Их владелец был несколько смущен, хмыкал, покашливал.

Решив, видимо, что челюсти представляют из себя некоторую ценность, бандит бросил коробочку в саквояж и перешел к даме.

Он отобрал ее сумочку, снял с покорно протянутых ему дрожащих рук кольца и браслеты и побросал все туда же, в саквояж.

Вожак курил, стоя рядом с нами.

Верзила взялся за серьги. Он пытался отстегнуть замочек, но ему это не удавалось. Нецензурно ругаясь сквозь зубы, он снова и снова пробовал отпереть замочек.

Женщина сидела неподвижно, повернув голову так, чтобы бандиту удобнее было снимать серьгу.

Положив папиросу в пепельницу, вожак отодвинул своего подручного, переложил револьвер в левую руку и мгновенным движением дернул серьгу.

Женщина дико вскрикнула, кровь хлынула из мочки уха. Серьга осталась в руке вожака.

Он грубо повернул голову женщины и выдернул вторую серьгу. Снова раздался крик.

И тут случилось нечто совершенно неожиданное.

В. схватил со стола вилку и, крича грязные ругательства (запомнил все-таки уроки наших уборщиц!), ткнул изо всей силы вилкой в лицо вожака.

Вожак выронил револьвер и схватился руками за лицо.

Тогда В., мирный В. взял упавший на стол револьвер и, не целясь, выстрелил.

Мгновенно поднялась паника. Все вскочили с мест, заорали. Стоявшие у дверей бандиты тут же исчезли.

Вожак и двое подручных бросились к двери. Послышалась стрельба. За дверью образовался затор.

Ворвались милиционеры и кинулись к В., стоявшему с револьвером в руке, рядом с обливающейся кровью женщиной. Они схватили беднягу, обезоружили, завернули ему руки за спину и стали подталкивать к выходу. Я бросился следом, пытался что-то объяснить… Куда там!

Остаток ночи В. провел в милиции. Бандитов задержать не удалось. Наутро все разъяснилось, и В. отпустили.

— Чтобы я когда-нибудь в жизни еще впутывался… Да будь я проклят… Да пусть я лучше сдохну… Идиот… Идиот… — ворчал он, сдергивая с себя одежду, кишащую вшами после ночи, проведенной в приятном обществе бродяг и воров.

Жизнь В. складывалась трудно. Он долго бедствовал, нигде не мог устроиться. То, что писал, оставалось на чердаках, в подвалах.

Больше всего хотелось ему стать театральным художником, но это ему никак не удавалось.

Застенчивый человек, он не мог заставить себя пойти в театр, предложить свои услуги. А если иногда робко с кем-нибудь и заговаривал — то либо говорил не с тем, с кем нужно, или не производил впечатления — всегда в старенькой, обтрепанной одежде, в прохудившихся башмаках, небритый, нестриженый…

Однажды у нас в городе организовался новый молодой театр — один из тех, что скороспело рождались и тут же умирали.

Я должен был ставить трагедию в стихах «Царь Голод». Ее написал наш киевский поэт Рафаил Скоморовский. Оформлять спектакль я пригласил, конечно, В.

В центре Киева, на Крещатике, имелось театральное помещение, носившее название «Пел-Мел» — так оно именовалось, когда в нем играл театр миниатюр. Так оно и продолжало быть «Пел-Мелем», хотя театр миниатюр вот уже год как приказал долго жить.

Вы входили в обыкновенный, будничный двор жилого дома, поворачивали налево, и вам открывалось довольно большое, угрюмое, сараеобразное помещение.

Впрочем, зрительный зал и сцена были довольно хороши.

Чего только мы не навертели в этой постановке! Тут можно было обнаружить все наши пристрастия, все симпатии. Что-то от Мейерхольда, что-то от Евреинова, что-то от конструктивизма, что-то от непереваренного Макса Рейнгарта…

Актеры с превеликим трудом, скрывая страх, двигались по высоким конструкциям в мечущихся лучах прожекторов и читали рифмованные тексты с глобальными обобщениями.

В. был абсолютно счастлив. Он без конца переделывал эскизы декораций и костюмов, прибегал ко мне глубокой ночью и будил, чтобы показать рожденное им новое решение. Никто ни о чем не просил его. Нам всем сразу же понравилось то, что он принес в первый раз, и оформление считалось утвержденным.

Но так считали мы, не В.

Без конца совещался он со старшим электриком, дядей

Пашей, носил ему водку, менял освещение сцен и добивался эффектов действительно поразительных.

Собственно, оформление было единственным, что получилось в этом спектакле.

Автор и режиссер провалились. Ни в чем не повинные актеры, которые добросовестно выполняли мои идиотские указания, тоже, конечно, провалились.

Театр после пяти или шести представлений распался.

Мы, естественно, считали себя несправедливо непонятыми. И, может быть, единственное, что дал этот спектакль, — был тот толчок в жизни В., который навсегда сделал его театральным художником.

Он создал великое множество прекрасных спектаклей в Ташкенте, куда переехал и где окончательно осел в последние двадцать лет своей жизни.

Он оформлял оперы и драмы, оперетты и эстрадные представления.

В Узбекистане В. высоко ценили, приглашали его во все театры, присвоили ему почетное звание заслуженного деятеля искусств.

Более всего любил В. работу в театрах для детей. Здесь его менее всего сковывали рамки узко понимаемого реализма. Он создавал поразительные зрелища для детей, и ребята крепко полюбили его. Он был их добрым сказочником, он вводил их в мир чудесного, он приучал их любить краски, жизнь, веселье…

После многих лет скитаний, когда В. поселился в Ташкенте, пришло к нему, наконец, счастье и в его личной жизни.

Образовалась прекрасная семья — любимая и любящая жена, любимая и любящая дочь. Как хорошо, как весело они жили!

На улице Художников, ныне улице Черданцева, был их дом. Напротив — мастерская.

Был у них и четвертый член семьи — пес, очень похожий на своего хозяина.

Один за другим появлялись оформленные В. спектакли. Я был в Москве на двух его выставках. Одна из них — в ВТО, в доме актера — была выставкой эскизов к шекспировским постановкам.

Здесь были вещи большой художественной силы, поразительного проникновения в дух шекспировского театра.

Я не знаю более сильных решений «Короля Лира» и «Гамлета», чем у В.

Была другая выставка его работ — в Доме кино, связанная с декадой узбекского искусства в Москве. И эта, вторая выставка была снова большим успехом художника.

Так жил он, весело, счастливо работая. Весело и счастливо

приходил в свой дом, к своей семье.

И вот неожиданный трагический финал.

Он заболел. Была сделана операция. Сделана неудачно — задет какой-то нерв.

И это превратило его в беспомощное существо. Он нуждался в постоянном уходе.

Когда он лежал в больнице и когда вернулся домой, жена и дочь, преданные бесконечно, не оставляли его ни на минуту одного, сменялись, дежурили. А его — такого стеснительного, такого душевно-ранимого — терзало сознание, что он в тягость родным, что он портит их жизнь.

Его женщины самоотверженно ухаживали за ним, выполняя все, что должны делать медицинские сестры, а это его убивало, он стеснялся, проклинал свою болезнь, себя, жизнь…

В тот страшный день Нина Ивановна была в театральном институте, вела занятия со своими студентами. Дома дежурила дочь.

В. обманул ее. Он попросил Наташу сходить купить для него что-то…

Остался один. Один дома, один в мире…

Один, как бывает одинок человек только перед лицом смерти… И когда Наташа вернулась домой — он был мертв.

Не причинять никому беспокойства, не мешать никому… Человек не имеет права мешать жить другому человеку — говорил он, мой дорогой друг.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Мы завидовали умению Сергея балансировать поставленной на кончик носа тросточкой.

Это было удивительно! Самая обыкновенная тросточка, с которой Сергей постоянно разгуливал, держалась какой-то волшебной силой на самом кончике его носа, опровергая все законы физики.

Сотни раз каждый из нас безуспешно пытался проделать этот трюк, но тросточка неизменно сваливалась с благородного козинцевского носа, а на моей картошке она вообще не желала задерживаться, даже на одно мгновение.

Впрочем, через некоторое время Юткевич был разоблачен: обнаружив на кончике его несколько вытянутого носа небольшое углубление, мы решили, что именно благодаря этому так прочно стоит у него на носу проклятая тросточка, и объявили Сергея шулером.

Семья Юткевичей переехала к нам в Киев из Харькова и поселилась в Пассаже — на Крещатике, 25.

Сергей был художником, так же как Козинцев, и тоже художником крайне левого направления.

В этом хилом мальчике, почти таком же тоненьком, как его умеющая стоять на носу тросточка, содержалась фантастическая эрудиция.

Все о театре, все о живописи. История. Направления. Биографии. Все о литературе. Все обо всем.

Откуда, каким образом пятнадцатилетний подросток мог все это узнать?

Козинцев и Юткевич были настоящими феноменами. Однако же в этом море эрудиции были течения, особенно им близкие. Были у них выраженные пристрастия: доктор Дапертутто — то бишь Всеволод Эмильевич Мейерхольд (журнал «Любовь к трем апельсинам» Мейерхольд, как его редактор, подписывал этим именем: «доктор Дапертутто»), Леф, цирк, театральные теории и парадоксальные пьесы Евреинова, конструктивисты, башня Татлина, театр Форегера, имажинисты, постановки Марджанова и особенно все, что касалось итальянской «комедиа дель арте». Был в те годы издан толстый том итальянской «комедиа дель арте» в переводах Переца. Появлялись статьи великого знатока «комедиа дэль артэ» Константина Миклашевского.

И Козинцев и Юткевич в 15 лет были вполне законченными театральными художниками. Они писали эскизы к предполагаемым постановкам русских народных балаганных

представлений и к итальянским народным комедиям: писали арлекинов, капитанов, коломбин, всяческих Панталоне, Труфальдино и т. п.

Помнится, волшебные сказки Карло Гоцци были у нас в чести, а пьесы Гольдони почитались уже чем-то нечистым — неким низким реализмом.

Я был очень высокого мнения о живописи обоих своих друзей, и вскоре мне пришлось физически отстаивать это свое убеждение.

Жил в нашем городе один театральный критик. Был он тоже молодым человеком. Не таким щенком, как мы, но все же молодым — лет этак восемнадцати-девятнадцати.

Он печатался в театральном журнальчике, а иной раз даже в самой «Пролетарской правде». Статьи его были талантливы, остры, но очень злы. Он обладал способностью отыскать у актера какую-нибудь особенно уязвимую черту и «обыгрывал» ее садистически. И вот однажды мы узнаем, что этот самый критик в присутствии нескольких наших знакомых с пренебрежением отозвался о живописи Юткевича.

И, что самое важное, среди этих нескольких был и Сувчинский — знаменитый музыковед и меценат, который собирался приобрести у Юткевича несколько его работ!

Богомерзкий критик заявил, что живопись Сергея — плагиат! Не более и не менее!

Сувчинский, невзирая на злую болтовню критика, купил у Юткевича картины, но наше возмущение от того нисколько не стало слабее.

Все мы сходились на том, что негодяя нужно проучить, и строили фантастические, совершенно невыполнимые планы.

Решение нашлось неожиданно. Как-то, провожая одну из наших артисток (их у нас было всего две), критик неосторожно зашел в наш зрительный зал.

Было это перед началом репетиции, и, кроме меня, никого в театре еще не было. У нас был свой театр «Арлекин». Позже я расскажу, как мы получили его.

Увидев критика, я энергично отвел его в сторону и спросил, правда ли, что он таким образом отозвался о творчестве Сергея.

Недооценив мое физическое развитие и, что еще важнее, мою преданность другу, критик произнес бранные слова в адрес Сергеевой живописи.

Недолго думая, я дал ему по физиономии. Критик тоже не долго размышлял и залепил мне сдачи. Мы схватились и повалились на пол.

Артистка бегала вокруг нас и совершенно справедливо

кричала:

— Товарищи, как вам не стыдно?

До сих пор помню это ощущение — как я его хорошо лупил! Допускаю, впрочем, что и у него сохранились такие же приятные воспоминания.

Услышав шум, прибежали сверху, из ресторана «Франсуа» два официанта и швейцар. Вход в ресторан и в наш театр был общий.

Разнять нас с критиком оказалось совсем нелегкой задачей: мы дрались с упоением.

В конце концов это все же удалось. В последний момент, когда нас отнимали друг от друга, кто-то из благодетелей — я никогда не узнал, кто именно — усатый ли швейцар или один из краснорожих официантов, — так умело поддал мне коленом, что я после того мог принимать только две позы: стоять или лежать. Третий вариант был для меня долго исключен.

Мой неэтичный поступок пошел противнику неожиданно на пользу. Ввиду того, что слух о сражении и о его мотивах быстро распространился, над нашим злым критиком стали посмеиваться, особенно те, кто когда-либо был обижен им. А таких было превеликое множество. Рассказы обрастали все новыми и новыми подробностями. Получалось, будто его чуть ли не вымазали дегтем и выкинули в окно.

Критик терпел, терпел, потом взял билет и уехал в Москву. А в столице сразу же вовсю развернулись его способности. Человеком он был действительно одаренным, и множество выходивших в ту пору театральных изданий стали помещать его статьи. Вскоре он занял заметное место в театральной журналистике.

Получалось, что я ему как бы помог, и это меня угнетало.

Впрочем, через некоторое время у него в Москве случилась новая неприятность, и значительно большего масштаба.

Оставаясь все таким же злым, критик однажды дошел до того, что в рецензии на спектакль крупнейшего московского театра написал: актриса такая-то появилась на сцене с лицом помятым после бурно проведенной ночи.

Это вызвало, естественно, негодование всей театральной Москвы. Но особенно освирепели товарищи актрисы — весь коллектив поклялся отомстить.

Прошло некоторое время, Страсти, казалось бы, поутихли. В театре премьера. Считая, что инцидент исчерпан, наш критик как ни в чем не бывало является в театр и смотрит спектакль.

В антракте его приглашают за кулисы выпить чашку кофе. Потеряв всякую бдительность, он отправился за кулисы.

…Как его били! Как его хорошо били! В этом принимала

участие вся труппа. Точнее — мужская часть труппы. На протяжении всего антракта нашим критиком перебрасывались как волейбольным мячом.

Куда там киевская кустарщина!..

И вот — удивительное дело — помогло!

Оскорбительные эпитеты исчезли из его статей, он стал писать добрее, но, честно говоря, и слабее. Представьте себе скорпиона, которому запретили жалить! Ползать — пожалуйста, а кусаться — ни-ни…

Я встречаю его иногда. Он стал вполне почтенным и благополучным — то, что называется «видным» театральным деятелем. Критикой он давно перестал заниматься, но зато и не бьют больше. Грустно.

Однако вернусь к нашей компании. Нам было ясно, что мы будем своим искусством служить народу. Оставалось выяснить — каким образом это делать?

Хорошо бы организовать в противовес благополучному буржуазному искусству, в противовес репертуару тогдашнего драматического театра — «Черной пантере», «Тетке Чарлея», «Орленку», «Дворянскому гнезду» — нечто прямо адресованное демократическому зрителю. Уличные представления — вот о чем мы думали. Хорошо бы выйти на улицы с самым народным видом искусства — с «Петрушкой»…

И вдруг мы узнаем, что есть возможность достать совершенно потрясающие куклы — их продает жена знаменитого месье Шарля. Великий кукольщик, объездившим весь мир, месье Шарль болен, и жена продает часть труппы.

Однако деньги… Где взять деньги?

Помощь объявилась с совершенно неожиданной стороны. О наших планах узнал Илья Григорьевич Эренбург. Он в те времена служил в собесе — отделе социального обеспечения. Каким-то образом Илье Григорьевичу удалось доказать руководству собеса, что организация кукольного театра — прямая задача этого отдела. Что за аргументы он при этом выдвигал — трудно угадать. Но факт остается фактом — собес дал нам деньги, и мы отправились покупать куклы.

Дом стоял, помнится, на Мало-Житомирской улице. Большой, угрюмый, весь в дождевых потеках, он встретил нас удушливым запахом лекарств, пропитавшим, кажется, каждую ступеньку грязной лестницы.

В передней квартиры, где жил Шарль, удушающий запах был еще сильнее.

К нам вышла заплаканная женщина и сказала — да, куклы продаются, Шарль умирает… Если вы не боитесь… тиф, тиф…

Она провела нас в большую полутемную комнату, сплошь заставленную ящиками, сундуками и корзинами. Некоторые были приоткрыты, и в них видны были куклы, застывшие в самых невероятных, фантастических позах. Одни перегнулись через борт корзины, уронив голову и бессильные руки, точно и они умирали. Другие, подняв лица, смотрели на нас удивленно, насмешливо, строго…

Окна были закрыты ставнями, и свет проникал только сквозь щели. Тонкие солнечные полосы рассекали пыльный воздух, и в углах, куда они не добирались, было совсем темно.

Нам было не по себе в этом странном мире. Дверь в соседнюю комнату оставалась открытой. Там, в глубине, стояла очень большая, низкая кровать. На ней лежал маленький, высохший старичок. Его глаза были закрыты, он дышал редко, тяжело.

Месье Шарль — великий кукольный мастер — умирал. Он не знал, не видел, как его детей продают потому, что нужно платить врачам, платить за квартиру, нужно на что-то жить…

Мы взяли несколько больших, прекрасных кукол и оставили женщине деньги, которые нам дали в собесе.

Мы взяли не марионеток, а куклы, в которые вставляется рука кукловода — так называемые «петрушки».

Теперь, согласно нашим идеям, нужно было дать бой разным там психологическим, символическим и прочим не признаваемым нами направлениям и создать настоящее народное представление.

Пьеса? Для начала мы остановились на пушкинском «Попе и работнике его Балде». Почему? Не знаю. Текст разбивался на три голоса. Перед ширмой стоял Шарманщик. Он произносил тексты от автора и по временам крутил свою машинку. Шарманщиком был Юткевич.

За ширмой прятались мы с Козинцевым. Он и я были кукловодами. Мы выкрикивали реплики своих кукол. Низкие голоса были на моей совести. Козинцев, который в те годы говорил высоким голосом, говорил за тех действующих лиц, коим, по нашим представлениям, надлежало пищать тонкими голосками.

Получалось так: Шарманщик — Юткевич крутит машину, она проигрывает несколько тактов старой полечки. Затем начинается текст.

ЮТКЕВИЧ.

Жил-был поп,
Толоконный лоб.

Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.

КОЗИНЦЕВ (фальцетом).

Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?

КАПЛЕР (густым басом).

Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник…

При этом мы с Козинцевым, стоя за ширмой, изображали при помощи кукол встречу попа с Балдой. Нам посоветовали до того, как предстать на площадях перед народом, все-таки проверить свои представления в более скромных условиях. По этой причине мы начали свою деятельность в артистическом клубе под названием «Бродяга».

В те годы много было таких учреждений. «Бродяга» помещался на спуске Софиевской улицы. Если посмотреть вверх, вдоль улицы — между двух рядов огромных ветвистых деревьев открывались поразительной красоты золотые купола Софиевского собора. А если не смотреть вверх, а спуститься на несколько ступеней, вы попадали в полуподвал, стены которого были расписаны условной живописью. Для этой росписи употреблялась обыкновенная клеевая краска — художники не рассчитывали в это быстротекущее время на вечность.

Условной была в «Бродяге» только эта стенопись. Все остальное — столики, бифштексы, водка — были вполне реалистическими.

Вот в этом-то подвале мы начали разыгрывать историю о том, как Балда перехитрил самого беса и выиграл спор с попом.

— Бедный поп подставил лоб, — выкрикивал Юткевич, —
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка.
Со второго щелка
Лишился поп языка.
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.

А Балда приговаривал с укоризной:

И Козинцев тонюсеньким фальцетом заканчивал:

— Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.

При этом куклы очень забавно изображали драматическое столкновение героев.

Несмотря на то что наше творчество оплачивалось одним лишь нравственным удовлетворением, через некоторое время пришлось его прекратить.

Формально «Бродяга» управлялся неким литературно-артистическим советом, а фактически вся полнота власти принадлежала заведующему рестораном — кавказскому человеку огромной величины.

Наименование «заведующий» тоже было лишь формальностью, ибо кавказский человек был просто-напросто хозяином этого ресторана.

Зимой и летом, утром, днем и вечером он ходил в роскошной папахе из золотистого барашка. Впечатление создавалось такое, что он и ночью ее не снимал. Что там находилось под папахой — никто никогда не видел: лысина ли, пышная ли шевелюра. Все могло быть.

Нос также независимо от времени дня и времени года оставался всегда темно-фиолетовым и имел классическую форму баклажана.

Поставленные близко-близко друг к другу, впритык к носу, глаза были постоянно повернуты на баклажан.

Я видел в жизни множество косых людей, но такого косого — никогда. Казалось, что он ничего, кроме своего носа, не видит. К сожалению, это было не так.

Широкая кавказская рубашка перетянута узеньким пояском с украшениями черненого серебра. Все это обтягивало большущий каменный живот, который поддерживался тонкими ножками в мягких сапожках.

Теперь представьте себе Юткевича и Козинцева перед этим гигантом. Оба худенькие-худенькие, кажется, дунь — улетят. Юткевич в своей неизменной тюбетейке, с тросточкой в руке; Козинцев необыкновенно аккуратно одетый, в рубашке «апаш», из воротника которой поднималась тоненькая шейка, чистый-пречистый, похожий на маленького петушка.

— Ви, дети, кончайте свой петрушка.

— Позвольте, что случилось? — интеллигентно спрашивает

Козинцев.

— Ничего не случился. Клиент недовольный.

— Но мы не собираемся ориентироваться на обывательский вкус! — вращая между пальцами тросточку, гордо парирует Юткевич.

— Давай кончай петрушка. Клиент плохо кушает. Разговаривать мешаешь. Эй, Сулейман, выноси петрушка!

Пришлось эвакуироваться и искать новую базу, чтобы готовить большое представление на площади.

Но тут произошло событие, в корне изменившее наши планы.

Отделом народного образования в Киеве заведовал известный писатель, старый революционер Сергей Мстиславский.

Кадры отдела он подбирал по принципу — личности поярче. По этой причине заведовать театральным не то сектором, не то подотделом был приглашен знаменитый режиссер Константин Александрович Марджанов, а его заместителем — талантливый театральный критик Микаэло, как он подписывался, а проще говоря, Самуил Акимович Марголин — будущий режиссер Вахтанговского театра.

Марджанов, который был, кроме того, художественным руководителем Соловцовского театра, с нежностью относился к юным дарованиям.

В качестве таковых мы однажды были вызваны в ТЭО, и нам объявили, что пустующий подвал под рестораном гостиницы «Франсуа», тот самый, в котором раньше помещался замечательный театр «Подвал Кривого Джимми», этот подвал передается нам!

И вот под художественным руководством почти уже шестнадцатилетних Козинцева и Юткевича создается новый театр «Арлекин».

Вы входите через роскошную зеркальную дверь в здание гостиницы «Франсуа», вернее, в вестибюль ее ресторана. Отсюда можно пойти налево — в ресторан, а можно пройти прямо вперед, к невысокой двери, над которой нарисован лежащий в изломанной позе Арлекин.

Не помню, кто из двух друзей изобразил его, но если Юткевич, то это был автопортрет. Узкий, длинный разрез глаз, тонкий, вытянутый нос, острый овал лица, острые плечи, острые коленки, острые локти. Не хватало только тюбетейки и тросточки на кончике носа.

Итак, вы вошли во вторую дверь, прошли под Арлекином и спустились по лестнице в подвальный этаж.

Здесь наш дом, наш театр.

От «Кривого Джимми» кое-что осталось: гигантская бочка, на

которой восседало одноглазое чучело — сам Кривой Джимми, несколько цветных фонарей и часть мебели, то есть маленькие и большие дубовые бочки. Маленькие служили в кабаре сиденьями, большие — столами.

О «Кривом Джимми», об этом замечательном театре, родившемся в Москве и переехавшем в Киев, к сожалению, очень мало известно. Между тем это было явление выдающееся.

Потомок «Кривого зеркала» и «Летучей мыши», «Джимми» не был ни их подражателем, ни прямым последователем.

«Кривой Джимми» создал свой стиль, свой репертуар и был совершенно своеобразен в постановочных решениях.

Это был театр высокой культуры — литературной, живописной, музыкальной. Театр тонкого юмора и высочайшего актерского совершенства.

Труппа «Джимми» составляла коллектив в настоящем смысле слова. Все делали всё. Не было больших и маленьких ролей. Такие звезды, как Владимир Хенкин, Федор Курихин, Иван Вольский, Александра Перегонец (казненная во время войны фашистами), Александра Неверова, играли всё подряд и всё с огромным наслаждением. Лучший в стране конферансье — А. Г. Алексеев постоянно вел программу.

У театра был один-единственный автор, который писал решительно все, весь репертуар театра. Пьесы, песенки, монологи, тексты танцевальных номеров, тексты для «хора братьев Зайцевых», все, все, все. Это был Николай Агнивцев.

Очень высокий человек, с длинными, «поповскими» волосами, в черной бархатной блузе и клетчатых брюках, в руке дорогая трость с массивным набалдашником. На запястье браслет в виде толстенной цепи из огромных стальных звеньев.

На полтуловища (буквально) выше всех окружающих, он проходил по улицам Киева как инородное существо, как пришелец из другого мира. Человеко-жираф.

«Жрецы искусства» в те годы часто одевались так, чтобы видом своим отличаться от простых смертных.

Среди простых смертных была в те поры распространена мода на толстовки. Это объяснялось весьма материальными мотивами: под толстовку не нужна верхняя сорочка, не нужен галстук, ее можно сшить из чего угодно — начиная от небеленого холста и кончая куском портьеры.

«Жрецы искусства» тоже часто ходили в толстовках, но сшиты они бывали из чего-нибудь сверх-неожиданного. Из лилового бархата, к примеру. А то видел я на одном из них толстовку из золотой парчи.

Эти снобы носили свои толстовки полурасстегнутыми — так,

чтобы была видна белоснежная сорочка и галстук, повязанный бантом.

Именно такой бант носил под своей черной бархатной блузой и Агнивцев. Только его бант отличался от прочих гигантскими размерами.

При этом своем богемном виде Агнивцев был безотказным работягой, что как-то не вязалось ни с его внешностью, ни с поразительно ленивой походкой.

В афишах театра и в программах обозначались все — «виновники» представления, кроме одного — режиссера.

Против слова «режиссер» стояли три звездочки, как на бутылке доброго коньяка.

За этими звездочками скрывался Марджанов.

Не знаю, по какой причине он не ставил свое имя. Может быть, ему, знаменитому театральному новатору, постановщику прогремевших только что по всей стране «Фуэнте овехуна» и «Саломеи», казалось несерьезным, недостойным ставить свое имя на афише кабаре. Может быть.

Однако же и без подписи талант Марджанова, вкус Марджанова, новаторство Марджанова проявлялись в каждой программе и даже в самой обстановке театра.

И вот мы наследники знаменитого подвала.

По поводу названия театра никаких сомнений — конечно, «Арлекин».

И никаких сомнений по поводу первой постановки: «Балаганчик» Блока.

Почему мы решили ставить именно «Балаганчик»? Почему это было для нас так ясно и не вызывало сомнений? Не могу вспомнить. Итак — «Балаганчик» в постановке режиссеров Козинцева и Юткевича.

Наконец-то у нас свой театр. Все делаем своими руками. От уборки помещения до шитья костюмов и постройки декораций. И играем сами все роли. Кроме Козинцева, который наотрез отказался.

На каждого приходится по нескольку ролей. Это нас не смущает. С Мистиками, парами влюбленных, с ролью Автора и Арлекина все как-то улаживается. И все-таки труппу приходится пополнить — нам не хватает Коломбины и Пьеро.

Юткевич приводит Леночку Кривинскую — маленькую балерину, и проблема Коломбины решена.

Леночка — ученица балетмейстера левого направления — Брониславы Нижинской.

Главный балетмейстер Киевского оперного театра, Нижинская позже уехала с несколькими учениками в Париж, к

брату — прославленному русскому танцовщику. Балет Нижинской, который обосновался в Монте-Карло, прогремел по всей Европе и существует, кажется, до сих пор.

Так вот — Леночка. Ее движения были удивительно мягки, пластичны. Благодаря школе Нижинской ей удалось создать какой-то очень своеобразный рисунок образа Коломбины.

Все шло отлично пока… пока не пришлось Коломбине заговорить. К несчастью, Блок написал для Коломбины текст. Правда, одну только единственную фразу:

«Я не оставлю тебя».

Но Леночке представлялось кощунством говорить на сцене. Зачем? Если нужно выразить нечто — боже мой! — человеку для этого даны руки, ноги, лицо, все его тело… Но говорить? Это противоестественно.

Что нужно передать? «Я не оставлю тебя»? Пожалуйста…

И Леночка изображала нам это «Я не оставлю тебя» в десятках разных пластических вариантов.

Как только мы не убеждали ее!

В конце концов она все же произнесла эти слова… Но, боже мой, что это было! Она сказала их каким-то бесцветным, бездарным голосом.

Ладно, решили мы, может быть, еще удастся ее научить.

Но какими мелкими, ничтожными показались нам эти трудности с Леночкой по сравнению с тем, что ждало нас впереди!

На роль Пьеро был приглашен молодой человек — Миша В., впоследствии ставший известным польским кинорежиссером.

В те времена это был томный юноша, со смуглым, оливкового оттенка, вытянутым книзу лицом, с огромными глазами, в которых застыла навсегда мировая скорбь, что вступало в противоречие с ярко-красными, сочными губами.

При всей условности постановки, при всей ее левизне все же требовалось, чтобы Пьеро любил Коломбину, чтобы зрители ему верили.

Но добиться этого от нашего нового артиста было совершенно невозможно.

Миша брезгливо отворачивался от очаровательной Коломбины, от женственной, изящной Леночки.

В сцене их встречи — вместо того чтобы броситься навстречу своей Коломбине, Миша с трудом заставлял себя как-то боком, не глядя, подойти к ней и сказать Мистикам, которые приняли ее за Смерть:

«Господа! Вы ошибаетесь! Это Коломбина! Это — моя невеста!»

Как он это говорил! С каким отвращением брал ее за руку!

Сцену повторяли сотни раз, и с каждым разом все шло хуже и хуже. Никакого намека на любовь из Миши нельзя было выдавить, а отвращение к прелестной Коломбине все нарастало и нарастало.

В пантомиме, любовной сцене Пьеро и Коломбины, сочиненной режиссерами, Миша был просто непереносим.

Мы были молоды, многого в жизни еще не знали и никак не могли понять: что же происходит с Мишей, откуда такое отвращение к милой Леночке, почему он не может его скрыть?

С огромнейшим трудом удалось при помощи различных театральных ухищрений, при посредстве мизансцен и световых эффектов сделать менее заметным это ужасное обстоятельство. Но уж ничего большего добиться было нельзя.

Как сказал бы одессит: «Об любить не могло быть речи».

Загадка оставалась загадкой. И только один раз у меня в голове шевельнулось некое подобие ответа на тайну.

Дело было так — мы с Мишей сидели вдвоем в кафе над днепровским обрывом. Блестели разноцветные шарики мороженого в металлических вазочках. Мы ели его костяными ложечками. Миша ел и бормотал в нос стихи Гумилева.

Мимо нас, мимо столиков кафе прогуливалась постоянная публика бывшего Купеческого, ныне Пролетарского сада. Симфонический оркестр старательно играл танец маленьких лебедей из порядком набившего оскомину (уже тогда!) «Лебединого озера».

Вдруг Миша запнулся на полуслове. Я проследил невольно за его взглядом. Мелькнул лоснящийся прямой пробор, разделивший чью-то голову на равные части, наглый взгляд…

И Миша, глядя вслед хлыщу, механическим движением достает из кармана… пудреницу, открывает ее и как ни в чем не бывало пудрится!!! Затем извлекает из того же кармана палочку губной помады и, смотрясь в зеркальце пудреницы, привычным женским движением подкрашивает губы.

Я окостенел.

Не замечая моей реакции, Миша прячет свой снаряд и, не доев мороженого, поднимается.

— Пойду прошвырнусь немного. Засиделся… — говорит он и исчезает.

…Декорации нам удавались. Эскизы без особых сложностей переносились на холст. С костюмами было куда труднее. Одно дело левый рисунок на бумаге, иное дело — превращенный в

реальные панталоны, треуголки, юбки или штаны.

Все становилось обычным, острота рисунка бесследно исчезала, и вещи обретали форму наших бренных реалистических тел.

В конце концов справились мы и с этой бедой. Пущены в дело проволочки, крахмал… И вот уже появляются задуманные художниками острые углы, условные линии…

Между прочим, именно в это время произошла та неэтичная драма с критиком, о которой я рассказал.

Приближалась наша премьера. Занятые ею, мы почти не замечали, как все тревожнее с каждым днем становится в городе.

Иногда доносилась орудийная канонада: невдалеке шли бои с петлюровцами.

А у нас в это время проходили последние репетиции…

Я стоял меж двумя фонарями
И слушал их голоса,
Как шептались, закрывшись плащами,
Целовала их ночь в глаза…
И свила серебристая вьюга
Им венчальный перстень-кольцо.
И я видел сквозь ночь — подруга
Улыбнулась ему в лицо…

Была у нас еще одна неразрешенная техническая задача: к сцене бала у Блока есть ремарка — к влюбленным, одетым в средневековые костюмы, подбегает Паяц и показывает длинный язык. Влюбленный в ответ на это бьет с размаху Паяца тяжким мечом по голове. Паяц падает, перегнувшись через рампу. Из головы его брызжет струя клюквенного сока. При этом Паяц пронзительно кричит: «Помогите! Истекаю клюквенным соком!»

Роль Паяца исполнял Юткевич. Как сделать, чтобы из Сережиной головы брызгал бы клюквенный сок? Мы совещались со знакомыми инженерами, слесарями, бутафорами. Просидели вечер с одним полусумасшедшим изобретателем.

Он согласился обсудить нашу проблему только после того, как мы выслушали, что именно он изобрел и всю историю его скитаний с этим изобретением.

Мы все выслушали, но никакого разумного совета не получили.

И тогда мы пошли к Донато — к нашему любимому Донато, которым восхищались, которому поклонялись, к знаменитому клоуну Донато, главе труппы полетчиков.

Семья Донато снимала квартиру на Николаевской, наискосок

от цирка, стены цирка были заклеены плакатами в три человеческих роста, на которых изображалась то летающая труппа Донато, то он сам в клоунском костюме, в рыжем парике, со светящимся красным носом. По нашим сведениям, Донато объездил весь мир и был лучшим на земном шаре цирковым артистом.

Каждый вечер он «работал номер», как говорили в цирке, и каждый вечер это было настоящим чудом.

Когда к юной четверке полетчиков — двум юношам и двум девушкам, показавшим, как казалось зрителям, вершины искусства, смелости, грации, когда к ним вдруг поднимался вверх по лестнице неуклюжий клоун в аршинных ботинках, спадающих гармошкой невообразимой ширины штанах на коротких, ярких подтяжках, в каком-то дурацком сюртуке, надетом на дюжину жилетов, — цирк смеялся, еще не подозревая о том, что последует за этим.

Неуклюжий рыжий поднимался на площадочку, подвешенную высоко, под самым куполом цирка.

Отсюда, под хохот зрителей, он пытался повторить полет юных воздушных гимнастов, срывался, в последнее мгновение непонятным образом повисая на одной руке.

Его с трудом втаскивали снова и снова на площадку, он ронял свои ботинки-гиганты, а поднявшись, начинал раздеваться. Один за другим летели жилет за жилетом. Он падал, его едва успевали поймать за ногу, снова втаскивали наверх, а зрители хохотали, и тут же начинался полет. Я не берусь описывать его. Могу только сказать, что не видел никогда ничего более прекрасного, более опасного и смелого.

Кроме полетов, Донато «работал» партерного рыжего, акробатический номер и еще что-то. Половину цирковой программы исполняла труппа Донато. Она состояла из его многочисленной семьи — сыновей, дочерей, золовок и зятьев. Самым младшим был пятилетний сын.

И всю эту семью мы застали дома, за обедом. Донато предложил нам присоединиться, поесть борща. А когда мы отказались, он велел младшему Донато показать нам кое-что.

Пятилетний Донато слез со стула и, держа в руке ложку борща, сделал с места заднее сальто. Борщ остался в ложке, и он съел его.

После обеда мы рассказали Донато о своих затруднениях, и он тут же их разрешил.

По совету Донато, мы изготовили несложное приспособление, главной частью которого была резиновая футбольная камера. К ней были приделаны небольшие пружинки и шнурочки.

Налитая — по началу водой — камера помещалась на груди у паяца, а отросток, через который она обычно надувается, выпускался из-под жабо паяца. Когда Юткевич, получив удар палкой, падал, перегнувшись через рампу, он должен был надавить на камеру и дернуть один из шнурков. Это открывало отросток камеры, и из него вырывалась вода. Создавалось впечатление, что жидкость бьет из головы паяца.

Механизм действовал безотказно — мы проверяли его несколько раз.

Теперь требовалось только наполнить камеру жидкостью ярко-красного цвета.

Пробовали разводить краску — раствор получался каким-то бледно-коричневым, краска быстро оседала.

В конце концов наполнили камеру красными чернилами.

Теперь эффект должен был получиться. Эффект действительно получился, и очень большой.

На генеральную репетицию, которая была для нас неизмеримо важнее самой премьеры, был приглашен «весь театральный Киев».

Поначалу все шло хорошо. Занавес раздвинулся, и зрители встретили декорацию аплодисментами.

— …Неверная, где ты? — взывал Пьеро. —
Сквозь улицы сонные
Протянулась длинная цепь фонарей.
И пара за парой идут влюбленные,
Согретые светом любви своей…

Обменивались репликами Мистики, вырывался на сцену Автор, очень эффектно, как бы ниоткуда появлялась ослепительная красивая Коломбина, и Пьеро молитвенно опускался перед ней на колени…

Марджанов был доволен и аплодировал, высоко поднимая руки, Микаэло — Марголин, широко улыбаясь, смотрел то на сцену, то на зрителей: мол, каковы наши мальчишки! Недаром мы возились с этими щенками…

В первом ряду сидели самые сановитые гости из наробраза и иных — прямо или косвенно причастных к искусству учреждений. Дошло дело до коронного номера Сережи Юткевича.

Весь увешанный бубенцами, в красно-сине-желтом костюме паяца, он в два прыжка приблизился к влюбленным и, изогнувшись, застыв в замысловатой позе, показал им язык.

Влюбленный, которого изображал здоровенный синеглазый детина, размахнулся и ударил паяца бутафорским мечом по

настоящей, нисколько не бутафорской Сережиной голове.

— Помогите! — закричал фальцетом паяц и упал, перегнувшись, как поломанная кукла, через рампу. — Истекаю клюквенным соком!

Тут открылось мудрое приспособление, и прямо в публику ударила струя красных чернил…

Наша машина исправно сработала. Первый, второй и даже третий ряд был облит струей красных чернил.

Как мы доиграли спектакль? Не помню. Помню только, что почти вся публика тут же, не дождавшись конца действия, ушла.

Марджанов и Микаэло терпеливо досмотрели спектакль до конца. Может быть, потому, что они сидели с краю и струя чернил в них не попала.

Мы сыграли несколько представлений, сократив, конечно, длину струи красных чернил.

Жизнь нашего «Арлекина» была недолгой.

Второй и последней его постановкой было «Балаганное представление», сочиненное Козинцевым и поставленное им вместе с Юткевичем, в их же декорациях. На этот раз они оба были и актерами — играли клоунов.

Здравствуйте, штатские и красноармейцы,
Французы, турки и индейцы,
Греки, испанцы и прочие народы мира,
для вас сия сатира…

Так начинался спектакль. Когда мы играли его в третий раз и шарлатан (это была моя роль) произносил монолог:

Я гадаю на кофейной гуще,
на лесной пуще,
на черном черниле,
на зеленом мыле,
по деревянным палкам,
по железным банкам…

раздался оглушительный грохот, с потолка посыпалась штукатурка, зрители испуганно вскочили с мест, замерли артисты.

Второй удар — второй разрыв снаряда был еще сильнее, еще ближе, погас свет, завизжала какая-то женщина в зале. Все бросились к выходу.

Наутро город был в руках петлюровцев.

«Арлекин» умер.

Не могу сказать, что наш недолговечный театр создал какие-нибудь непреходящие эстетические ценности.

Но пути искусства неисповедимы, и нет никаких сомнений, что, например, на формирование режиссера Григория Козинцева эти первые его опыты, первые театральные пристрастия оказали большое влияние.

Совсем скоро они отразились в его ленинградских театральных, а затем и кинематографических постановках комедий. Еще позже та же «эксцентрическая биография» Козинцева неожиданно оказала влияние на его драматические произведения и, в конце концов, помогла найти неожиданно прекрасные режиссерские решения даже в такой далекой от эксцентрики реалистической работе, как «Трилогия о Максиме».

Вне сомнений, эта же «эксцентрическая биография» определила очень многое во всей режиссерской деятельности Юткевича.

Первая любовь не забывается.

КИРПИЧИКИ

Помнит ли еще кто-нибудь знаменитые «Кирпичики», песенку, которую пела вся Россия в двадцатые годы нашего столетия?

…На окраине где-то города
Я в убогой семье родилась.
Горе мыкая, лет семнадцати
На кирпичный завод нанялась…

Вот история этой песенки.

Я ехал в Москву, имея в кармане драгоценную бумажку — вызов первого Государственного театра для детей.

Замечательный это был театр: Ильинский, Зайчиков, Алексеева-Месхиева… Он был в то время моей мечтой, этот театр.

И вот я приглашен в его труппу и еду в Москву, к началу сезона. Но не суждено было моей голубой мечте осуществиться, не стал я артистом детского театра.

Когда наш поезд после многодневного пути из Киева прибыл в Москву, я лежал на нарах теплушки в тифу, без сознания.

Санэпидтоварищи выгрузили меня и доставили в больницу. Вместе с осложнениями тиф «занял» у меня три с половиной месяца. И когда меня наконец выписали, сезон был потерян, а я годился только для того, чтобы служить наглядным пособием по анатомии.

Однако же в театральное общежитие меня приняли, и стал я медленно поправляться.

Сюда-то, в общежитие, однажды ворвался мой друг и сожитель по комнате, молодой актер детского театра.

Он был взволнован и взъерошен.

— Скорей, скорей, скорей, — кричал он, вытаскивая из под тюфяка свои парадные клетчатые брюки, — скорей, опоздаем!..

Он показал мне пропуска на генералку «Леса». Мейерхольдовского «Леса», которого все ждали с таким нетерпением!

Мы и мечтать не смели об этих пропусках…

Времени — в обрез. Складываем и подсчитываем свои капиталы. Кажется, хватит на извозчика.

Бежим. Вот они — санки. Торгуемся, садимся, натягиваем на себя суконную полость, обшитую собачьим мехом. Поехали.

Глубокий снег лежит на улицах.

Нашу клячу легко обходят лихачи.

— Э-эй! Паберегись!

Жирные лошади, покрытые цветными, сетчатыми попонами, высоко подбрасывают передние ноги и откидывают комья снега сильными задними ногами.

Нэпманы в каракулевых и котиковых шапках гордо поддерживают своих женщин за котиковые и каракулевые талии.

С оглушительным треском медленно обгоняет нас автомобиль.

Артель крестьян, бредущая с мешками и сундучками за спиной, опасливо оглядывается на рычащее и дымящее чудище.

Проплывают недоступные витрины Охотного ряда. По Тверской, навстречу нам, спускается отряд красноармейцев… Неужели опоздаем?.. Наш одёр трусит мелкой, неторопливой рысцой, мы почти стоим на месте…

Премьера Мейерхольда! «Земля дыбом», «Рычи, Китай», «Великодушный рогоносец», «Трест Д. Е.»… На премьеры Мейерхольда сбегались все — поклонники и ненавистники, утверждатели и отрицатели. Правые и левые. Съезжались театральные деятели из Питера, из Тифлиса, из Киева.

Съезжались из Берлина и Парижа, из Токио и Нью-Йорка…

Вот каким событием бывали премьеры Мейерхольда.

Еще бы! Гениальный режиссер, великий новатор показывал свои открытия.

Вместо пяти человек в ложу набивалось душ двадцать.

А на сей раз в нашу ложу натолкалось, кажется, еще больше. Двинуться, изменить положение было невозможно.

— Ты давно из Киева? — услышал я у самого уха знакомый голос.

Рядом со мной, впритирку, стояла Ася — моя землячка.

Не помню, как она появилась в нашей киевской компании — молодых актеров, художников и музыкантов.

Ася тоже была причастна к искусству — Марджанов принял ее в студию Соловцовского театра, — но как не похожа была она на всех нас, как не подходила к нам!

Среди лохматых «леваков»-художников, самоуверенных молодых актеров и курящих, сидя в изломанных позах, юных актрис эта — такая простая — девочка выглядела дико. Он была маленькой, узкоплечей, робкой. Гладко зачесанные на прямой пробор волосы, крестик на серебряной цепочке, линялое, много раз стиранное платьице. К ней приглядывались с интересом, ибо известно было, что Константин Александрович принял ее в студию и считал талантливой.

Он, но не мы. Мы в этой девочке не замечали никаких

способностей. Разве что — голос. У нее был красивого тембра голосок, но такой маленький, что в те домикрофонные времена не было никакой надежды на то, что он мог бы быть услышан в зрительном зале. У Аси был всегда немного испуганный вид. На наших сборищах она забивалась куда-нибудь подальше, в уголок и только слушала, никогда не смея вступить в разговор. Когда лее к ней обращались, краснела и отвечала так тихо, что приходилось ее переспрашивать.

А мы шумели, горланили, спорили, ругались, мирились, дымили, читали стихи, слушали музыку…

Ася была девочкой с Соломенки, из семьи мелкого железнодорожного служащего. В нашей шумной компании она казалась просто неуместной Но вот однажды Ася удивила нас.

В Киев с литературными вечерами приехали знаменитые московские поэты.

Все они гремели в те поры, все были знаменитыми.

И один из них мимоходом, не прилагая к тому никаких усилий, покорил Асино сердечко. Он был на очень, очень много лет старше ее. Весь «сделанный», все на нем не просто так, все продумано — и гладкий пробор, и галстук, и преогромнейший перстень на указательном пальце, и манера читать стихи — бормоча, как бы пренебрегая мнением слушателей.

Маленькая Ася не пропустила ни одного вечера. Она покупала самый дешевый, так называемый входной билет и стояла на балконе, весь вечер не двигаясь, сцепив пальцы, неотрывно глядя на далекого своего кумира.

И случилось так, что один из наших актеров зашел за кулисы. Он был знаком с Асиным идолом, и они вместе вышли после окончания вечера на улицу. Это был последний литературный вечер. У выхода стояла толпа поклонников. Актер заметил нашу Асю. Она восторженно смотрела на поэта, широко раскрыв глаза.

Шутки ради актер подозвал ее и представил. А поэт смеясь сказал:

— Поехали с нами!

Сели в пролетку, отправились в ресторан «Ренессанс» на Институтской улице.

Потом изрядно выпивший кумир повел девочку к себе в гостиницу.

А на завтра, осыпаемые цветами поклонниц, поэты сели в поезд и укатили обратно в Москву.

Долго после того никто из нас не видел маленькую Асю. Марджанов справлялся о ней, но мы ничего не знали. И только через месяц или два обнаружили, что Ася уехала в Москву.

Ни слезы матери, ни смертельная болезнь отца не остановили

ее. Уехала, все бросив, уехала. И вот — эта встреча на «Лесе». Она простояла спектакль не шевелясь, судорожно сцепив пальцы, — такой я помнил ее по Киеву. И только новое что-то появилось в ее облике — хоть и слушает, хоть и переживает, а в то же время вроде бы вся светится радостью, не может сдержать эту радость.

Когда в сцене Аксюши с Петром из-за кулис послышался старинный русский вальс, когда заиграл его на гармонии знаменитый Макаров так, что сердце у меня сжалось и горло перехватило, я услышал шепот:

— …Платок… есть у тебя платок…

Платка у меня, конечно, не оказалось. Лицо Аси было залито слезами, но в то же время продолжало светиться счастьем.

Где только отыскал этот вальс Мейерхольд? Как догадался соединить его именно с этой сценой любви, придав ей вдруг такое неожиданное звучание?.. Как верно пригласил Макарова — никто иной не смог бы так сыграть эту простенькую, душу разрывающую мелодию.

Оглушенные, раздавленные, счастливые вышли мы из театра и отправились с другом провожать Асю. Она шла между нами, опустив голову, улыбаясь, долго молчала. Падал снежок. Потом я спросил ее, как она живет в Москве.

Оказалось, что устроилась уборщицей в театр Мейерхольда — моет полы, подметает, стирает какие-то тряпки и… счастлива.

— Я бы и сам пошел хоть в дворники к Мейерхольду, — сказал мой приятель.

— А я вообще счастливая. Если вы еще не видели совсем, совсем счастливого человека — смотрите на меня. И завтра, если хотите знать, самый важный день в моей жизни…

От полноты счастья Ася запела тот макаровский вальс из «Леса» — чудесный вальс, который все время слышал и я, да не смог бы спеть, начисто лишенный музыкального слуха. Потом, поднявшись на носки, Ася поцеловала каждого из нас в холодную щеку и побежала вверх по лестнице, которая вела в общежитие, там было ступенек десять — каменных ступенек на этой лестнице. До сих пор слышу этот перестук каблучков — ритм радости, ритм счастья, и — хлопнула дверь.

Не торопясь, пошли мы по бульвару домой, в свое общежитие.

Все смешалось, как смешиваются запахи весеннего цветения, — «Лес», Ася, ночная, заснеженная Москва, макаровский вальс…

Та-та-ти-та-там,
Та-та-ти-та-там,

Та-та-ти-та, та-ти-та, та-там…

Прошло немного времени после премьеры «Леса», недели три, вероятно. Я вернулся в Киев. Мать — добрейшая на свете женщина, для которой высшей радостью было угощать кого-нибудь, вдруг получила такую благодарную возможность — откармливать собственное чадо, возвращая его из скелетообразного состояния снова в шаровидное.

В один из первых дней этой блаженной жизни я очутился в гостях в доме, где постоянно происходили наши сборища.

Среди прочих был здесь в этот вечер и киевский поэт Павел Герман.

Не поэт, собственно, а то, что французы обозначают словом «паролье» — то есть сочинитель слов для песен.

В те времена поэты смотрели на песенников, на «паролье», как на существа низшие, смотрели, так сказать, с высоты своей поэтической «избранности».

И даже какой-нибудь совсем уж бездарный поэтишка, публиковавший никудышные вирши «к случаю» в киевской «Вечерке», и тот не признавал в Павле Германе своего собрата — он сам почитал себя жителем Олимпа, а такой Герман проживал, по его представлению, где-то там — на земле, вне пределов истинной поэзии.

По правде говоря, романсы Германа часто бывали, мягко выражаясь, не самого строгого вкуса. Но как они распевались! Со всех эстрад страны, все самые популярные певицы и певцы пели «Последнее танго», «Не надо встреч», «Чайную розу» или «Зачем же ложь?»…

Песни бывали лучше и хуже, и романсы Германа публиковались наперебой разными музыкальными издательствами. Их выпускали большими тиражами и обязательно с портретом какой-нибудь тогдашней звезды на обложке.

Ты напомнила о прошлом, о далеком,
Позабытом, пережитом полусне,
Милый друг, ни разговором, ни намеком
Не буди воспоминания во мне… —

пела знаменитая тогда Эльга Аренс и заканчивала припевом:

Все, что было, все, что ныло,
Все давным-давно уплыло.

Только ты, моя гитара,
Прежним звоном хороша…

Павел Герман — это целая эпоха эстрады тех лет. Кажется, не было ни одной эстрадной певицы, которая бы не пела (с оглушительным успехом!) его романсов. Знаменитая Тамара Церетелли, Изабелла Юрьева, Белогорская, Вадина, Антонина Еремеева, Ольга Симонова, Зинаида Рикоми…

Я забуду тебя очень скоро,
Как прочитанный старый роман.
Эти взгляды любви и укора,
Эту боль, злую боль старых ран…

Или:

Дни за днями катятся,
Сердце лаской тратится,
Обрывая тоненькую нить.
Пусть туман колышется,
Пусть гитара слышится.
Не мешайте мне сегодня пить…

Но шло время, и у Германа стали появляться гражданственные песни. Запели с эстрады знаменитую «Звездочку», а вслед за нею появилась и песня об авиации «Все выше», объявленная в 1933 году приказом Реввоенсовета СССР «авиационным маршем военно-воздушных сил РККА», Не каждый поэт удостаивался такой чести!

Авиамарш вот уже десятилетия поют в нашей армии. Этот марш распевали бойцы революционной Испании в тридцать шестом…

Вот тебе и «Чайная роза»!

Вернусь, однако, к вечеру, о котором начал рассказывать.

Собравшиеся потребовали, чтобы я рассказал о Москве — я был последним, кто побывал в столице.

Рассказать о Москве — для меня значило, конечно, рассказать о «Лесе».

Я попытался это сделать, но пересказать постановку Мейерхольда… И как рассказать об этом удивительном вальсе, который я до сего времени все слышал и слышал!..

— А ты спой, попробуй спеть, — сказал Герман.

Я только рассмеялся.

— Ну, тогда попробуй подобрать, хоть одним пальцем…

Я подошел к инструменту и стал одним пальцем искать нужные ноты… Боже мой, какая ужасная беспомощность! Наверно, так чувствует себя немой, которому необходимо сказать что-то крайне важное.

Я слышал этот вальс во всем его очаровании, но пальцы беспомощно фальшивили, тыкались не в те клавиши.

…Среди гостей был известий аккомпаниатор Дмитрий Колесаев.

С какой жалостью смотрел он на меня.

И тут пришло мое спасение — открылась дверь, и вошла Ася.

— Вот кто напоет вам это…

Но что сталось с Асей?

Молча прошла она в угол, села на диван и… закурила папиросу. Это была она и не она.

Потухли глаза, запали виски, дрожат руки, зажигающие спичку.

Кажется, даже волосы потускнели.

— Асенька, дорогая, — обратился к ней Герман, — выручайте. Этот бездарный осел не может нам ни напеть, ни подобрать вальс из «Леса»…

Ася слышала, что к ней обращаются, но, видимо, не понимала ни слова.

Она смотрела на Павла, морщила брови, стараясь вникнуть в смысл его речи.

Наконец поняла и покачала головой.

— Ну, пожалуйста, ну, чуть-чуть, совсем тихонько…

Ася прикрыла рукой глаза и тихо запела. Аккомпаниатор, которого в Киеве все звали Митей, подсел к пианино и, прислушиваясь к ее голосу, едва прикасаясь к клавишам, стал подбирать мелодию.

Так продолжалось несколько мгновений, и вдруг…

Вдруг из-под Митиных пальцев полился вальс… Как сумел он понять, почувствовать очарование той народной мелодии и как смог так мгновенно уловить ее!

Внешность Мити еще с нежного, школьного возраста и на протяжении всей жизни давала его друзьям благодарный материал для карикатур.

Толстые щечки, две черные-пречерные маслины вместо глаз, поднятые дыбом волосы, состоящие из тугих, сине-черных пружин.

Природа в этом случае сама оказалась талантливым карикатуристом. Сейчас маслины сияли, черные пружины

дрожали, Митя подскакивал на стуле, смотрел на нас и излучал счастье.

Все собрались вокруг фортепиано.

Все, кроме Аси. Она все так же сидела в углу, все так же закрывала рукой глаза… а из-под ладони бежали по лицу струйки слез.

Я подошел и положил ей в руку носовой платок — благо, на сей раз он у меня был.

А Митя все играл и играл, торжествующе оглядывая окружающих, как бы приглашая разделить с ним радость.

Заметив Германа, не переставая играть, спросил:

— Ну, Павел, слова? Можешь сочинить слова?

Павел ушел в соседнюю комнату и закрылся там.

Хозяйка разносила чай.

Ася успокоилась, пила чай, односложно отвечала на вопросы, но оставалась все такой же погасшей.

Вернулся Павел. Митя сел за пианино. Герман стал рядом и, глядя в бумажку, стал читать глухим своим голосом текст. Он даже и не пытался петь, а только проговаривал слова.

А Митя играл медленно, медленно…

…За веселый шум, за кирпичики
Полюбила я этот завод…

— Ася, Асенька, пожалуйста, — просили все.

И, взяв у Германа бумажку, Ася спела песню.

Вальс был так хорош, полон такого очарования, что невзыскательный текст даже не покоробил нас.

Это был текст знаменитых «Кирпичиков».

Вальс — по просьбе Германа — впоследствии аранжировал композитор Валентин Кручинин. Колдовское «чуть-чуть» талантливого композитора сделало вальс еще прелестнее, еще очаровательнее.

«Кирпичики» запели, пошла песня гулять по России. Не было тогда города, не было деревни, где их не пели бы.

Не бог весть какие слова, а вот понравились, запелись…

На заводе том Сеньку встретила.
Лишь, бывало, заслышу гудок,
Руки вымою и бегу к нему
В мастерскую, накинув платок…

А Ася… Через несколько дней после того вечера мы узнали,

что Ася исчезла. Она не возвратилась домой, и никогда никто ничего больше не узнал о ее судьбе.

В старом домике, на глухой улочке Соломенки горевала мать. Заходили утешать ее свои, соломенские, и мы, пришлые. А какие могли быть утешения…

Ушла, не вернулась, исчезла. Никакой записки, никакого объяснения, ничего.

Что случилось там, в Москве, что сталось с Асей — никогда, ничего, никто так и не узнал…

* * *

А теперь, дорогой читатель, я хочу поблагодарить вас за терпение, если вы дочитали мою книгу до конца.

Не желая вас запугивать, хочу все же сказать, что она является только первой из числа тех, что я пишу.

Все они служат одной цели — оплатить долги, рассказать о людях, которых мне посчастливилось встретить, о событиях, свидетелем которых я стал.

До свидания, читатель, до следующей встречи.

notes

Примечания

1

Слова М. Исаковского.

2

Стихи Ю. Друниной.

3

Я использовал, с разрешения автора — И. Френкеля, его стихотворение, так же, как несколько позднее будут использованы стихи Юлии Друниной — «Только что пришла с передовой», тоже, разумеется, с разрешения автора.